



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### **Usage guidelines**

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были поданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохраняются все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как наименование о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

### **Правила использования**

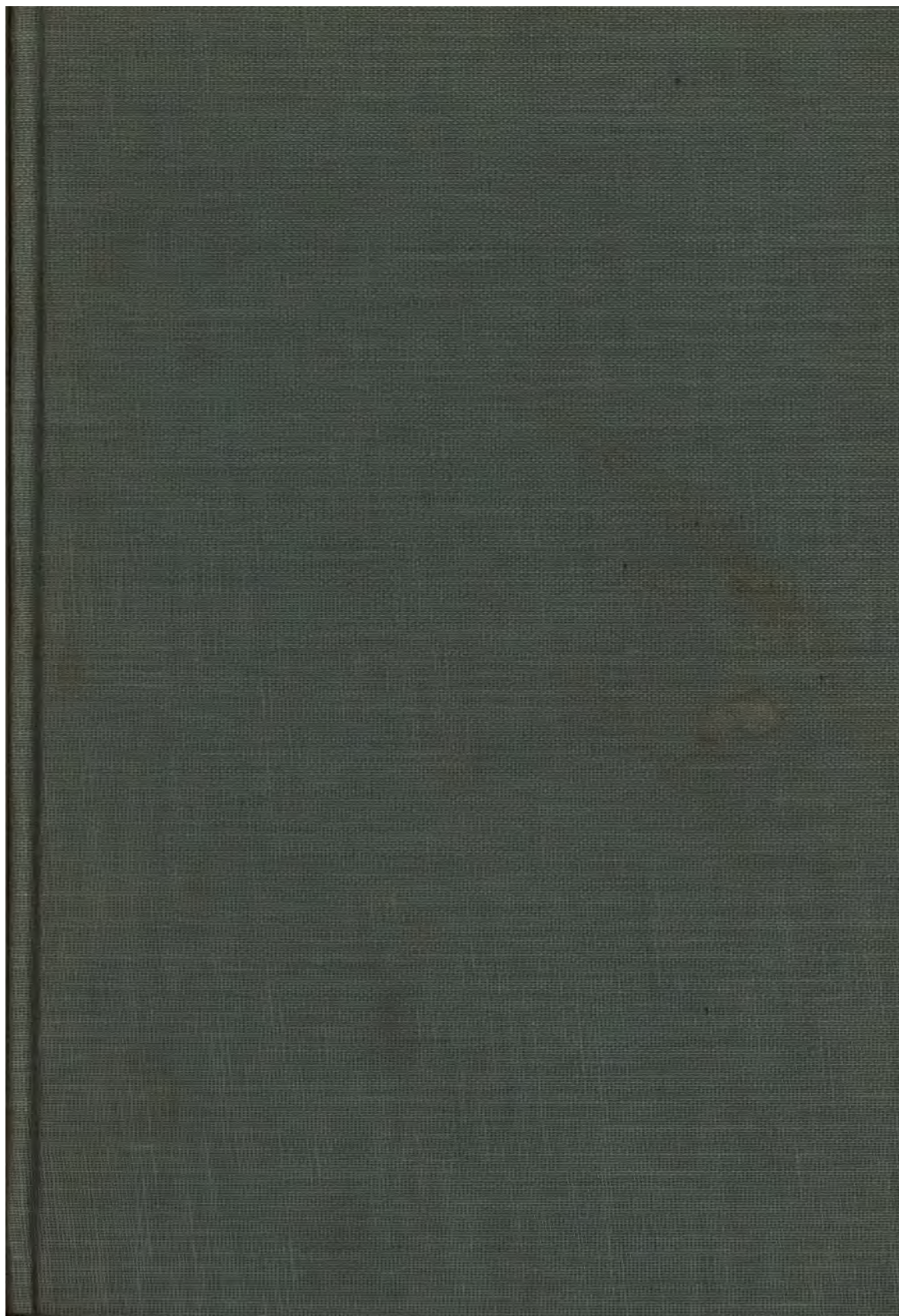
Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические запросы.

Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.  
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отключайте автоматические запросы.  
Не отключайте в систему Google автоматические запросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.  
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.  
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

### **О программе Поиск книг Google**

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>









Лит. Сиб.  
кн 311  
II - 1/58

00038 316р.

Ср. Д. Емелиной Мем.  
Н. НАУМОВЪ. Милитарь ~~1151~~

~~1124~~

# ВЪ ЗАБЫТОМЪ КРАЮ

РАЗСКАЗЫ

11-34

ИЗЪ

БЫТА СИБИРСКИХЪ КРЕСТЬЯНЪ

✓ 3782

18532  
110.4

## СОДЕРЖАНИЕ:

1. Посвотникъ.....	1	5. Святое озеро.....	151
2. Загора.....	38	6. Ночь на озерѣ.....	231
3. Горная идиллія.....	75	7. Одинъ изъ способовъ сближенія съ народомъ	277
4. Деревенскій аукціонъ..	139	8. Фургонщикъ.....	287

5999.  
5992

С.-ПЕТЕРБУРГЪ

Типографія С. Добродѣва, Троицкій пер., 32

1882

W

Handwritten text at the top left, possibly a date or reference number.

Handwritten text at the top right, possibly a name or title.

Handwritten text in the middle left area.

Handwritten text in the middle right area, possibly a signature or name.

Handwritten text at the bottom right, possibly a date or reference number.



А. Г. Енисейской Местной  
Империи

## ПОСКОТНИКЪ \*)

(РАЗСКАЗЪ).

Въ жизни не рѣдко случаются такія встрѣчи, которыя, не смотря на всю свою мимолетность, производятъ до того глубокое впечатлѣнiе, что спустя десятки лѣтъ сохраняются въ памяти съ поразительною яркостью и полнотою въ самыхъ мельчайшихъ подробностяхъ, какъ будто еще не давно, не далѣе, какъ вчера, ты видѣлъ эти лица и бесѣдовалъ съ ними. Такое впечатлѣнiе оставила по себѣ и встрѣча моя со старикомъ Ларіономъ...

Въ июлѣ мѣсяцѣ 186\* года я ѣхалъ по дѣламъ службы въ село Бунгуръ. Дорога вилась, какъ лента, среди полей, засѣянныхъ хлѣбомъ. Солнце только что закатилось и окрест-

\*) Въ Сибири выгонъ для скота окружаетъ обыкновенно село или деревню и обносится изгородью (выгонъ называется тамъ поскотниной), при въѣздѣ и выѣздѣ изъ села или деревни у воротъ поскотины лѣтомъ живетъ какой нибудь бездомный старикъ нанимаемый обществомъ за незначительную плату. Обязанность этихъ стариковъ заключается въ томъ, чтобы отворять проѣзжимъ и запираеть за ними ворота поскотины и чтобы скотъ пасущійся въ выгонѣ не могъ попадать на пашни, для этихъ стариковъ обществомъ крестьянъ всегда устраивается у воротъ поскотины избушка или землянка для жилья и старики эти называются обыкновенно «поскотниками».

ности слегка подергивались прозрачною синевой, придающей лѣтнему пейзажу мягкій, нѣжащій зрѣніе колоритъ. Вдали на горизонтѣ виднѣлись скучившіяся строенія села и темною массою обрисовывались на безоблачномъ небѣ высокая колокольня сельской церкви и въ безпорядкѣ разбросанныя вокругъ села вѣтряныя мельницы. Ямщикъ мой—молодой словоохотливый парень—въ продолженіи всего пути сообщавшій мнѣ длинную повѣсть о томъ, какъ медвѣдь разорилъ цѣловальника, открывшаго питейный домъ въ лѣсу на перекресткѣ трехъ дорогъ,—когда мы стали подъѣзжать къ изгороди поскотины, крикнулъ: „Эй... Ларивонъ, отворяй проѣзжающимъ!“ Скоро кони остановились уже передъ широкими воротами поскотины, а Ларіонъ и не думалъ показываться изъ своей низенькой землянки, походившей скорѣе на муравейникъ, чѣмъ на жильё человѣка. Ямщикъ соскочилъ съ облучка, сбросилъ сплетенную изъ вѣтвей петлю съ воротъ, растворилъ ворота, издавшія при этомъ пронзительный стонъ, провелъ въ нихъ лошадей и снова крикнулъ: „Эй, Ларивонъ Маркычъ, здоровъ-ли?..“

— Кто тутъ? слышалось изъ землянки.

— Проѣзжающіе!.. смѣясь, отвѣтилъ ямщикъ, выгребая изъ дымившагося костра, разложеннаго передъ землянкой уголекъ, чтобъ разкурить трубку.—Здоровъ ли, говорю? снова крикнулъ онъ.

— А коли хворъ скажу, такъ нѣшто ты поможешь мнѣ? спросилъ Ларіонъ, просунувъ въ узенькую дверь землянки голову, украшенную сѣдыми, рѣденькими волосами.

— Никакъ ты сердить нонѣ?.. смѣясь, спросилъ ямщикъ.

— Сердить, аль милостивъ—тебѣ опять таки дѣла нѣтъ!.. отвѣтилъ Ларіонъ, вылѣзая изъ землянки и вытягиваясь во весь ростъ. Это былъ высокій, худощавый старикъ, державшійся прямо по привычкѣ, привитой къ нему повидимому дисциплиной. Голова его была покрыта сѣдыми, спереди крайне рѣденькими волосами, завивавшимися въ кольца на вис-

кахъ и затылкѣ. Коротенькая, слегка окладистая борода и щетинистые усы скрывали нижнюю часть лица его, которое вообще было крайне блѣдно и изрѣзано морщинами. Сначала я не обратилъ вниманія на Ларіона и только случайно, пристально взглянувъ въ лицо его, неожиданно увидѣлъ легкую, едва почти замѣтную синеву на щекахъ его и на лбу, обозначающую роковыя буквы: на правой щекѣ К, на лбу А и на лѣвой щекѣ Т. Это былъ поселенецъ изъ каторжныхъ, отбывшій опредѣленный срокъ работъ. Замѣтивъ, что я пристально смотрю на него, старикъ нисколько не смутился и въ свою очередь не сводилъ съ меня своихъ сѣрыхъ, прищуренныхъ глазъ. Онъ былъ въ одной рубахѣ грубаго холста, довольно уже заношенной, въ портахъ, спускавшихся немного ниже колѣнъ, и босой.

— Ну што-жь ты сталь... што ты не ѣдешь-то?.. крикнулъ онъ, обратившись къ ямщику. Вишь, вѣдь молоко ишо на губахъ не обсохло, а ужъ табакъ сосеть... Трогай... чего безъ пути торчать-то! крикнулъ онъ и, поглядѣвъ плотно ли заперты ворота поскотины, почесалъ себѣ поясицу и полѣзъ въ землянку.

— Осерчалъ старина-то! Видать, кто ни на есть разбередилъ его за день-то, произнесъ ямщикъ, усаживаясь на облучекъ и трогая лошадей. Ужъ поворчать это любить, говорилъ онъ, поворачиваясь ко мнѣ. А душа, слышь, старикъ-то... не гляди, што бранчивый...

— Онъ поселенецъ? спросилъ я.

— Посельщикъ... изъ каторжныхъ, слышь... Годовъ ужъ пять будетъ время-то, какъ живетъ здѣсь... За убивство въ каторгѣ-то былъ... Мужики-то, слышь, здѣшніе сказывали, што поглядѣли разъ въ банѣ на спину-то его, такъ ужаси, говорятъ, подобно... такая эта страсть взяла ихъ, не доведи Господи, сказываютъ! горячо жестикулируя правою рукою, пояснилъ онъ.—Съ первоначалу-то какъ глянули, говорятъ, и не въ примѣту было—тѣло, какъ тѣло... а въ пару-то это,

слышь, въ тепломъ-то духѣ—оно, видать, отошло што-ли, такъ словно, говорятъ, спина-то вся кровью полита. Ну, какъ не возьметъ ужасть—по себѣ посуды.

— Отчего же это?.. прерваль я.

— Отъ плетей, сказываетъ... плетями вѣдь его бучили... пояснилъ парень. Не легкое же, видать, братъ, дѣло.... О-охъ... не доведи Господи! съ глубокимъ вздохомъ произнесъ онъ, покачавъ головою. Въ ину пору теперь сказываетъ... едва, говоритъ, ноги волочу... вотъ оно сколь легко видать, а!..

— Чѣмъ же онъ занимается, живя здѣсь?

— Старъ ужъ... чѣмъ заниматься-то?.. Силенки-то тоже, братъ, поубыло; въ каторгѣ-то, поди не миловали!.. Лѣто вотъ въ поскотникахъ бьется—десять рублей ему за лѣто общество-то платить—на готовомъ харчѣ... А зимой-то кое у кого по хозяйству подсобить, аль-бо што... ну и кормятъ... Тавлинки дѣлаетъ теперь...

— Какія тавлинки?..

— Подъ табакъ... вотъ что нюхаютъ... табатерки, штоль—сказать-то тебѣ!.. Мы-то ихъ тавлинками зовемъ... И столь-то онъ это, братецъ, наострился дѣлать ихъ... а-ахъ... ты шуть его... На иную, слышь любо глядѣть...

— Изъ чего же онъ дѣлаетъ ихъ?..

— Изъ бересты... да такъ-то приузорить, слышь, што любо-два!.. Нонѣ, сказываютъ, отцу Микитѣ, попу здѣшнему, такъ церковь, слышь, на тавлинкѣ-то вырѣзаль и домъ его, попа-то, какъ есть вотъ въ явѣ обнатурилъ. Мало ль дивились... и-искусникъ! Теперича у него этихъ тавлинокъ сколь торговцы-то покупаютъ, да въ городъ возять на продажу.

— И хорошо платятъ ему?

— Ужъ гдѣ, поди, не платять!.. Она вотъ и малая вещь, а тоже вѣдь за ней посидѣть надоть, покорпѣть... пла-а-тятъ!.. протянуть онъ.

— А не боятся его, а?.. Худаго за нимъ ничего не при-  
мѣчаютъ?.. полюбопытствовалъ я.

— Съ первоначалу-то оно, што грѣха таять, оглядыва-  
лись за нимъ... Узорь-то на лицѣ тоже всякому глазъ ко-  
лодь... остерегались!.. Вѣдь Богъ его знаетъ, каковъ онъ...  
въ каторгу-то, поди, не даромъ шлютъ. Но только, братецъ,  
все это занапрасно сумнѣніе на человѣка клали... ду-у-шев-  
ный старикъ, ворчливый—это поискать такихъ, а смиренный,  
погожій старикъ. Мужики-то здѣшніе, слышь, не нахвалят-  
ся имъ...

Въ это время мы подѣхали къ селу, и ямщикъ, по общей  
страсти всѣхъ ямщиковъ, съ гикомъ пустилъ лошадей въ  
скачь по широкой улицѣ села, устланной сплошною гатью,  
и не безъ усилія осадилъ ихъ передъ воротами земской квар-  
тиры. Дѣло, вызвавшее прїѣздъ мой въ Бунгуръ, задержало  
меня въ немъ на нѣсколько дней. Послѣ разговора съ ям-  
щикомъ, описавшимъ мнѣ въ такихъ привлекательныхъ чер-  
тахъ личность Бунгурскаго поскотника, я совершенно забылъ  
объ немъ... да и мало ли доводилось мнѣ на своемъ вѣку,  
при постоянныхъ разѣздахъ изъ села въ село на разстоя-  
ніи нѣсколькихъ тысячъ верстъ, слышать самыя разнообраз-  
ныя рассказы о личностяхъ, выдававшихся въ глазахъ кре-  
стьянъ, какими нибудь особенностями. Но случай совершенно  
неожиданно столкнулъ меня со старикомъ Ларіономъ. Спустя  
два дня послѣ прїѣзда моего въ Бунгуръ, прождавъ часовъ  
до двухъ крестьянъ, вызванныхъ мною для спроса изъ бли-  
жайшей къ Бунгуру деревни и убѣдившись, что они не при-  
будутъ ранѣе слѣдующаго дня, я пошелъ побродить отъ ску-  
ки по окрестностямъ Бунгура. День былъ жаркій. Выйдя за  
черту села въ поскотину, я пошелъ полемъ вправо къ опуш-  
кѣ березовой рощи, часть которой захватывалась изгородью  
поскотины и, войдя въ рощу, направился тропинкой, вы-  
шеяся среди густыхъ частыхъ березъ, листва которыхъ, пе-  
реплетаясь въ воздухѣ, образовывала надъ головою сводъ,

дававшій тѣнь и прохладу. Дойдя по тропингѣ до крутаго берега рѣчки Бунгуръ, я пошелъ берегомъ, любуясь бурливымъ теченіемъ ея, мчавшимся почти водопадами среди груды камней, заграждавшихъ ей путь. Крутые, глинистые берега, ежегодно подмываемые и осыпавшіеся, были очень живописны. Они спускались къ рѣчкѣ иногда отвѣсной стѣной, обнажая то синеватые, то желтые и розовые пласты глины, — и сочетаніе этихъ красокъ съ густой и сочной зеленью травы и росшихъ на вершинѣ деревьевъ придавали имъ чрезвычайно оригинальный видъ. Иногда берега были изрыты уступами, висѣвшими наклонно надъ потокомъ, и росшія на вершинѣ ихъ деревья, казалось, едва держались, такъ что обнаженные корни ихъ висѣли на воздухѣ, точно гнѣзда какой нибудь гигантской птицы. Повидимому, достаточно было промчатся болѣе порывистому вихрю, чтобы весь уступъ съ росшими на немъ деревьями рухнулъ въ потокъ. Порою рѣка круто заворачивала вправо или влево и совершенно скрывалась изъ глазъ въ густой заросли молодыхъ березъ, лѣпившихся внизу по берегамъ ея, и затѣмъ вновь выскакивала, какъ шальная, и пѣнистыя струи ея, казалось, катились съ удвоенною яростію. Увлеченной разнообразіемъ этого дикаго ландшафта, я не замѣтилъ, какъ зашелъ слишкомъ далеко, и глухой ударъ грома, неожиданно раздавшійся вдали, заставилъ меня остановиться. Съ востока медленно плыла совершенно черная, грозовая туча, и глухія, частыя раскаты грома предвѣщали одну изъ тѣхъ грозъ, какія рѣдко проходятъ безъ несчастій. Надо было спѣшить укрыться отъ дождя и грозы, которая всего опаснѣе въ лѣсу. Я спустился внизъ къ рѣчкѣ, съ трудомъ придерживаясь за сучья деревьевъ, росшихъ по склону. Перейдя Бунгуръ въ бродъ по камнямъ, я съ трудомъ поднялся на кручу противоположнаго берега, предпочитая идти прямымъ путемъ, который скорѣе привелъ бы меня къ селу, чѣмъ тотъ, которымъ я шелъ. Въ это время солнце скрылось уже за тучей, въ воздухѣ наступила

удушливая тишина, обыкновенно, предшествующая грозѣ... Я бѣжалъ по незнакомому мѣстѣ, поминутно спотыкаясь о валежникъ и толстые корни деревьевъ, выступившіе наружу и заросшіе густою травой, доходившей иногда до колѣнъ. Назойливое карканье воронъ, съ шумомъ ютившихся въ листьѣ березъ, также предвѣщало наступающую бурю. Меня скоро охватила мгла... раскаты грома становились все рѣзче и рѣзче... молнія, прорѣзывая лѣсную чащу, ослѣпляла глаза... Крупныя, хотя и рѣдкія еще капли дождя стали хлопывать по листьѣ, начинавшей уже трепетать отъ повѣявшаго теплага вѣтра. Въ это время я выбрался изъ лѣса на поляну; весь небосклонъ былъ сплошь охваченъ тучей... вдали за виднѣвшимся селомъ шелъ уже проливной дождь, спускаясь сплошною темною синевой. Не болѣе, какъ саженьхъ во ста отъ того мѣста, гдѣ вышелъ я, виднѣлась изгородь поскотины и землянка старика Ларіона. Я побѣжалъ къ ней, и только что успѣлъ войти въ ворота поскотины и постучатся въ низенькую дверь землянки, какъ хлынулъ дождь съ градомъ величиною почти въ горошину.

— Ой погодка... ну бѣ-ѣ-ѣда, кого захватить въ полѣ!— произнесъ старикъ, пропуская меня въ свое душеное, низенькое жилье. Войдя въ землянку, я ничего не могъ видѣть кругомъ себя, такъ какъ крошечное оконце или вѣрнѣе отдушина вѣроятно, и въ ясную-то погоду пропускала очень мало свѣта, при наступившей же почти ночной мглѣ, въ землянкѣ было темно, какъ въ могилѣ.

— Ну, счастливъ ты, баринъ, што во время добѣгъ!— съ худо-скрытой ироніей въ голосѣ произнесъ старикъ.— Постой ужъ я засвѣчу для твоей милости жировичекъ, вишь палаты-то у меня не шибко штобы свѣтлыя! говорилъ онъ, шаря въ углу землянки и бормоча про себя: „вишь, куда запало... штобъ тебя Богъ любилъ!“ Затѣмъ онъ сталъ вырубать огнивомъ огонь и, приложивъ къ труту длинную сѣрную спичку, зажегъ фитиль въ небольшой глиняной плошкѣ, наполненной жиромъ.

Все время, пока онъ вырубалъ огонь и зажигалъ жировикъ, я стоялъ на одномъ мѣстѣ, не смѣя пошевелиться въ темнотѣ изъ боязни споткнуться на что нибудь. Засвѣтивъ жировикъ, старикъ поднесъ его къ самому лицу моему, какъ бы желая лучше разсмотрѣть меня.

— Милости просимъ, батюшка... погости ужю, присядь, авось погодка-то и скоро перейдетъ на твое счастье... Не шибко, штобы красно у меня было здѣся!.. съ ироніей продолжалъ онъ, ставя жировикъ на доску, замѣнявшую столъ. Ну да все лучше, чѣмъ въ полѣ-то подъ капелью быть!..

Землянка, жильѣ Ларіона, была дѣйствительно, некрасна на видъ и могла удовлетворять только человѣка съ самыми неприхотливыми требованіями. Это, просто, былъ четырехугольный срубъ, не болѣе двухъ съ половиною аршинъ вышины. Стоя съ Ларіономъ другъ противъ друга, мы занимали почти все свободное пространство въ ней. У стѣны на правой сторонѣ лежали двѣ доски, а на нихъ—свѣженакопленная трава вмѣсто перины; въ изголовьи лежалъ полушубокъ и узелъ грязнаго тряпья, вѣроятно, замѣнявшей подушку. Доска, на которой стоялъ жировикъ, освѣщавшій тускло-багровомъ свѣтомъ только ближайшіе предметы, распространяя вмѣстѣ съ тѣмъ удушливый, сальный запахъ,—замѣняла повидимому столъ. На этой доскѣ валялись клочки береста, лоскутья синей, розовой и бѣлой фольги, осколки отъ простого стекла, ножъ, шило—и тутъ же въ кусокъ грубаго сѣраго сукна было воткнуто нѣсколько швейныхъ иголъ различныхъ величинъ. У стола стоялъ, вмѣсто стула, деревянный обрубокъ. Въ углу—небольшая кадушка съ водой, налѣ нею подочка, на которой виднѣлся берестяной туясъ, деревянная чашка и на ней краюха чернаго хлѣба. Сырой, затхлый воздухъ въ землянкѣ отъ плотно припертой двери, въ которую хлесталъ теперь дождь, сдѣлался невыносимо удушливъ. По бревнамъ сруба, слегка покрытымъ зеленоватою плѣсенью и небольшими гнѣздами мелкихъ, бѣлыхъ грибовъ, мѣстами уже просачивалась вода отъ



дождеваго ливня. Вода капала мѣстами и съ потолка, протекая черезъ дернѣ, которымъ была выкрыта землянка. Я сѣлъ по приглашенію старика на обрубокъ, стоявшій у доски, на которой были разложены его инструменты по выдѣлкѣ тавлинокъ. Самъ Ларіонъ прислонился къ стѣнѣ въ углу, и сѣлъ на кровать, уступая только моей просьбѣ.

— По дѣлу ходилъ... аль такъ погулялъ, батюшка... што непогодъ-то захватилъ? полюбобытствовалъ старикъ, пристально смотря на меня своими щурившимися глазами.

— Гулялъ, Ларіонъ Маркычъ!.. отвѣтилъ я.

— Откуда же ты, батюшка, узналъ это мое-то имя, отечество?.. удивленнымъ тономъ спросилъ онъ.

— Ямщикъ сказалъ прошлый разъ...

— Памятливъ же ты, погляжу... намятливъ!.. повторилъ онъ, покачавъ головой. „Ларивонъ Маркычъ“, снова повторилъ онъ и усмѣхнулся? „Д-и-иковина!“ протянулъ наконецъ онъ.

— Какая диковина, въ чемъ? спросилъ я.

— Я такъ... это, батюшка, про себя промолвилъ!.. уклончиво отвѣтилъ онъ. Вишь погодка-то какъ расходилась, а?.. началъ онъ, какъ бы желая избѣгнуть дальнѣйшихъ распросовъ. Ну, кому чего, а нашимъ мужичкамъ все—горе... Экой полой... да градъ о-о-о... не одного изъ нихъ безъ хлѣба оставить... Гляди, какъ хлѣбъ-то выбьетъ, али повалить... ну — да Божья воля. Я, признаться таки, съ утра чувалъ, што быть погодкѣ... Моя-то уже примѣта не обманеть!

— Какая же у тебя примѣта?..

— А такъ скажу, милостивецъ, што коли къ непогодѣ когда такъ всего-то тебя разломить, каждая ровно косточка въ тебѣ скрыпнеть, да ноеть... измучаешься весь...

— Старъ ужъ ты, Ларіонъ Маркычъ, а-а?..

— Не старъ бы еще... какіе года!.. Другой въ мои-то годы мншо женится, да робятъ плодить... успѣвай только баба поварачиваться... Какіе мои годы... полвѣка, не болѣ отмѣрял-то!... Муки-то не мало принялъ... вотъ и сказывается подь старость-то!

— Какой же муки!

— Азь не знаешь ты меня?... пытливо посмотривъ на меня, спросилъ онъ.

— Не знаю!..

— Ишь вотъ... Ямщикъ-то твой имя и отечество сказалъ небось тебѣ, а кто я и не повѣдалъ... Ну, я уже увижу его, соловую голову... погоди-и! не то съ ироніей, не то шутливо произнесъ онъ. Ну, коли не знаешь, такъ и я не скажу...

— Отчего?

— А не ровень часъ... еще испугаешься.

— Чего же пугаться-то мнѣ...

— Чего-о-о?.. насмѣшливо протянулъ онъ, и сѣрые глаза его сверкнули какимъ-то лучистымъ огонькомъ. Это нынѣ, батюшка, скажу тебѣ... началъ онъ послѣ непродолжительнаго молчанія... Ыхаль мимо не то купецъ, не то што... а полагать болѣе надоть, што купецъ... Тарангасъ это отмѣнный... такой... ну и все прочее при немъ по хорошему... видать, што богатѣ-ѣй! Ладно!.. Подъѣхаль это къ поскотинѣ-то и кричить: о-отворяй! А я-то, сказать тебѣ, позамѣшкался чего-то въ ту пору... Хорошо! Выхожу это, отперъ ворота,—отперъ это я ихъ, а онъ и напустился на меня: я тебя, говорить, тагой-сякой разьэтакой... развѣ ты смѣешь задерживать проѣзжихъ, а?.. На то рази приставленъ тутъ, штобъ спать, а?.. Да я тѣ, говорить, такъ и такъ... А я стою супротивъ его, слушаю... Выкричался онъ, утихъ. Ну, думаю, не великъ ты кобелекъ, да лай-то звонокъ!.. Глянулъ ему это въ самое, почестъ, лицо—да и молви: А ты, говорю, добрый молодець, погляди-ка наперво: какое тавро-то на мнѣ стоитъ, а?.. Эхъ, ты, говорю, кудельная Smyчка! Да вѣдь у меня, говорю, въ спинѣ-то восемьдесятъ плетей лежить, а што кнута межъ реберъ напратано и не сочтешь... и ты это меня испугать задумаль, а?.. Вѣдь мнѣ, говорю, такую-то ворону, какъ ты, пришибить-то легче, чѣмъ въ горсть воды за-

черпнуть... знаешь ты это, а?.. Помертвѣлъ вѣдь, батюшка, онъ, какъ глянулъ это на меня-то... вѣрь не вѣрь!.. Словко листъ вотъ на осинѣ—задрожалъ весь... лепечеть, лепечеть чего-то, а слово-то ровно не выходитъ у него... И разбери же меня смѣхъ... А-а-ахъ ты, думаю, аршинный воевода! Глотка-то шире котла, а сердце-то уже лапы заячей... Такъ вотъ ты, батюшка, у какого богатыря въ гостяхъ-то сидишь, да еще Ларивономъ Маркычемъ величаешь, а къ лицу-то мнѣ одна только кличка—варнакъ \*)... не то съ ироніей, не то съ горечью закончилъ старикъ.

Въ это время, казалось, надъ самою землянкой раздался оглушительный ударъ грома... Я невольно вздрогнулъ. Старикъ трижды перекрестился, произнося полушопотомъ „Святъ... Святъ... Святъ“...—Ну и пого-о-одка! протянулъ онъ, выдвигая изъ угла кадущку съ водой, такъ какъ у двери, по бревнамъ землянки, уже текла дождевая вода, мѣрно капавшая на земляной полъ.

— Ты давно живешь здѣсь, Ларіонъ Маркычъ?.. спросилъ я, когда онъ снова сѣлъ.

— Въ Бунгурѣ-то, а въ Сибирь-то давно ли пришелъ, спрашивашъ ты? переспросилъ онъ, скрестивъ на груди руки.

— Въ Бунгурѣ?

— Давненько ужъ, батюшка, народъ-то здѣсь порчу, а особливо бабъ, да дѣвокъ,.. никакъ годковъ пять, а въ и всѣ шесть будетъ время-то!.. Обжился ужъ! отвѣтилъ онъ.—Старожилъ!

— Какъ это, бабъ да дѣвокъ портишь? Чѣмъ?

— Колдую!..

— Ты колдуешь! да развѣ ты знахарь?..

— А ты какъ бы, батюшка, полагаешь, а?.. смѣясь, отвѣтилъ онъ. За мной, братъ, ремесловъ-то много водится... про-

---

\*) Варнаками называютъ въ Сибири каторжныхъ. Слово „варнакъ“—самое позорное, ругательное слово на языкѣ сибирскихъ крестьянъ.

мышленный человек! съ ѣдкой ироніей замѣтилъ онъ. Всякій наговоръ знаемъ, отъ какой хошь болѣзни ослобонимъ, и напустить сможемъ... Всякій грѣхъ водится...

— Я думалъ, ты только однѣ тавлинки дѣлаешь?

— Забавляемся и тавлинками... одно другому не препятствуетъ, батюшка...

— Покажи-ка мнѣ твою работу, попросилъ я.

— Изволь, изволь, кормилецъ... погляди... одобришь-ли!.. сказалъ онъ, вставая, и взявъ въ руки жировикъ, нагнулся и выдвинулъ изъ-за досокъ, служившихъ ему кроватью, небольшой деревянный ящикъ и раскрылъ его.

Я заглянулъ въ ящикъ: въ немъ хранилось свернутое въ трубку бересто, тщательно очищенное и приготовленное для работы; въ ящикѣ, какъ и на столѣ, валялись стекла, клочки бумажекъ, повидимому, съ рисунками, фольга, кисеть, спитый изъ ситцевыхъ доскутковъ, въ которомъ, можетъ быть, хранился и весь необширный капиталъ старика, и нѣсколько готовыхъ уже тавлинокъ различныхъ величинъ.

— На-ка, погляди, кормилецъ!.. произнесъ онъ, поднимаясь и подавая мнѣ двѣ выбранныя имъ тавлинки совершенно одинаковой величины и, закрывъ ящикъ, снова поставилъ жировикъ на доску, замѣнявшую столъ.

Обѣ тавлинки были не болѣе полутора вершка каждая въ діаметрѣ; крышки ихъ были сдѣланы изъ гладко-очищеннаго дерева. Болѣе всего, конечно, привлекли мое вниманіе замыселъ и выполненіе рисунка на такомъ неблагодарномъ матеріалѣ, какъ бересто. Глядя на эту работу, на обстановку, въ какой производилась она, и на лицо художника, отмѣченное роковыми буквами К. А. Т.,—мнѣ невольно пришла мысль: какъ много талантовъ гибнетъ въ нашемъ народѣ, не находя никакого исхода для развитія и проявленія себя—и кто знаетъ: можетъ быть, самый талантъ, скрытый въ человекѣ, брошенномъ судьбою въ темную среду, служить и роковою причиною его гибели.

На одной из тавлинок не было никакого рисунка, но она казалась сплошь покрытою тонко-плетенымъ кружевомъ. Узоръ кружева, тонкость работы въ выполненіи ткани, которая казалась прозрачною, выдѣляясь на фонѣ подложенной подъ бересту бѣлой фольги, — сдѣлали бы честь первоклассному художнику. На другой тавлинкѣ была изображена крестьянская изба съ рѣзнымъ коникомъ и двумя окнами, въ которыхъ были вставлены кусочки голубой фольги; пошатнувшійся нѣсколько досчатый заборъ сдѣланъ былъ до того отчетливо, что каждое бревно въ избѣ, тѣсина въ заборѣ и столбы носили на себѣ оригинальную особенность... Я залюбовался на эти вещи, не зная: которой изъ нихъ отдать предпочтеніе.

— Гдѣ ты учился этому мастерству, Ларіонъ Маркычъ? спросилъ я.

— Гдѣ?... усмѣхнувшись, спросилъ онъ въ свою очередь. Побывай, батюшка, въ каторгѣ-то, такъ всему научишься... Всякое художество спознаешь — и худое и доброе!.. со вздохомъ отвѣтилъ онъ...

— Ты долго былъ въ каторгѣ-то?

— Пятнадцать годочковъ, какъ одинъ денекъ выжилъ... Было время-то поучиться... бы-ы-было!.. протянулъ онъ...

— Какими же инструментами, Ларіонъ Маркычъ, ты работаешь... напимѣръ, вотъ это кружево ты чѣмъ дѣлалъ?.. спросилъ я, показавъ на тавлинку.

— Иголочкой...

— Неужели... одной только иглой, и болѣе ничѣмъ?

— Да чѣмъ болѣе-то?.. Болѣе-то ничего у меня и нѣту. Ну вотъ ножичкомъ поковыряешь въ ино мѣсто, гдѣ поглубѣе-то требуется, стекломъ, подпилочекъ въ дѣло тоже идетъ, а болѣе-то ничего батюшка, у меня нѣту... никакихъ инструментовъ! Да вѣдь я... такъ балую только этимъ, а не то, штобы заболѣ мастерилъ!.. Глаза-то ужъ вотъ плохи становятся, кормилецъ... съ грустью въ голосѣ пожаловался онъ.—А прежде и-и-и... мастеръ я былъ... чего сказать, не потаюсь...

— Ты и теперь мастеръ...

— Ну-у... ужь... гдѣ мнѣ въ мастера... Ты мастеровъ-то еще не видалъ, кормилецъ... Э... э... такіе ли мастера-то живутъ на свѣтѣ!—Вотъ у насъ мастеръ былъ—скажу тебѣ: въ одной со мной казармѣ жить... ну такъ-мастеръ... вотъ это ма-а-астеръ!.. воодушевленно произнесъ онъ—Изъ глины тебѣ патреть твой, бывало, слѣпить, такъ диву дашься... ровно живой, только вотъ не говоришь... Шибко его начальство-то баловало за это... А бумажки, братъ, это дѣлалъ онъ—ассигнаціи, такъ словно выльеть... што его бумажку возьми, што настоящую... не отличишь, хошь въ сто глазъ гляди... вотъ это ма-а-астеръ! снова протянулъ старикъ, — стоящій человекъ!.. Онъ вотъ тебѣ на бумажкѣ-то, въ коемъ мѣстѣ письмо полагалось, што ись рукой-то не писалъ... знаешь ли эта, а?..

— А чѣмъ же, машинкой какойнибудь?..

— Ногой!.. \*).

— Не можетъ быть...

— Ногой!.. вѣрь мнѣ... врать не стану... Возьметъ это, бывало, разуеъ правую ногу, вложить перо-то промежъ большого пальца, положить бумажку-то на полъ и пишетъ... вотъ и подиви!.. Такъ самонастоящіе-то мастера, глядя на него, бывало, съ диву ахали!.. Вотъ они, братъ, мастера каковы

---

\*) Подобный же фактъ былъ обнаруженъ въ военно-судной комисіи, учрежденной въ Томскѣ надъ поддѣльвателями фальшивыхъ кредитныхъ билетовъ, кажется, въ 1856 или 57 году. Одинъ изъ виновниковъ, бѣглокаторж-ный, на вопросъ слѣдователя: чѣмъ онъ писалъ текстъ на ассигнаціи, «по предъявленіи сего билета», рукою или какимъ-нибудь инструментомъ,—каторж-ный отвѣчалъ: «Ногою!». Сначала этотъ отвѣтъ былъ принятъ за насмѣшку, но онъ вызвался доказать на дѣлѣ проволоту его. Самъ очинилъ гу-синое перо и положилъ поданный ему листъ бумаги на полъ, прижалъ его лѣвой ногой.. Затѣмъ, разувъ правую ногу, сѣлъ на стулъ—и, вложивъ перо между большимъ пальцемъ ноги, написалъ по нѣскольку отрокъ круп-нымъ, среднимъ и мелкимъ почеркомъ. Члены комисіи были поражены и сознавались, что они въ жизни своей никогда не видали болѣе тонкаго, пра-вильнаго и изящнаго письма.

бываютъ... Ну, средь экого-то народа какъ поживешь, такъ всякую науку твердо выучишь...

— Гдѣ же теперь этотъ мастеръ, въ каторгѣ остался?

— Сгорѣлъ!

— Какъ сгорѣлъ... отчего?

— Живьемъ спалили!... Въ Сибири-то, батюшка, шибко любятъ экихъ-то мастеровъ приголубливать... только спасибо-то не всегда говорятъ имъ...

— Да кто же спалилъ его?

— Нашелся добрый молодець, што очистилъ отъ грѣха огнемъ его душу... Теперь ужъ онъ—купецъ, слыхаль я, почетный купецъ, со званіемъ человекъ сталъ!... Черезъ эстаго самаго мастера и въ купцы-то вышелъ, потому онъ ему капиталъ-то саморучно начеканилъ... Дѣло-то, сказывали, такъ было, милостивецъ: мастеръ-то этотъ, настоящаго-то прозванья его не скажу тебѣ, потому и самъ-то онъ путался въ немъ... Въ ино время скажется Перфильевымъ, въ другое Васьковымъ... а Васьковъ или Перфильевъ и самъ, пожалуй, не вѣдалъ... есть, братъ, тамъ и экіе молодцы! говорилъ старикъ, снова присаживаясь на кровать и скрещивая на груди руки.— Житье-то ему въ каторгѣ было бы не худое... Чего сказать напрасно!... Начальство-то баловало его... Вотъ энтими патретиками, да поддѣлками всякими угождалъ онъ имъ... иконстасы въ церкви писывалъ... мастеръ-то на всѣ руки былъ,— и денежки водились у него... допускало ему начальство эту льготу... Житье-бъ... Ну, сманилъ лукавый въ побѣгъ... Ладно! Ушелъ—и такъ тебѣ, какъ камень въ воду, ни слуху, ни духу... Опосля ужъ только... стали это поговаривать: спалили его..? Пробрался онъ, слышь, сказывали, въ городъ Т... уѣздный городишко-то... и съ компаніей, говорили, человекъ три ихъ артели-то было... Ну и снюхались они тамъ съ мѣщаниномъ... Щелваковъ его прозвище-то... Изъ худенькихъ это былъ онъ, изъ бѣдности—скотомъ маклачилъ... Сколотится какъ-ни какъ деньгой-то, скупить хлѣба, да въ степь киргизцамъ и сбудеть; намѣняетъ на скотъ—продасть, да съизнова

хлѣба закупить... Одно слово, малячили... Ну, какъ съ этой-то артелью спознался онъ, и не будь плохъ—подговори: иди-де жить ко мнѣ... вы деньги мнѣ куйте, а я-де сбывать стану, барышъ пополамъ... Ну тѣ... ужь народъ прожженный... плечь-то зря подъ сыромятную набойку не хотѣлось подставлять... да видятъ: парень онъ верткой, и глазъ и ухо вострѣй шила,—стало быть, дѣло вести съ нимъ можно, и ударили по рукамъ. Онъ и помѣсти ихъ, братецъ, на займку, куда, стало быть, лѣтомъ и по осени скупленный скоть на пастьбу сгонялъ... Бумагу, краски и все, што, значить, для энтаго мастерства требуется, онъ доставлялъ имъ, а они чеканили, да чеканили. Ладно! Купить это Шелваковъ хлѣба, ситцевъ, того-сего на настоящія деньги, свезетъ въ степь намѣняетъ у киргизовъ скота, да прикупить еще вдвое, втрое, на деньги своего завода, пригонитъ и распродастъ... Да годочка-то, можетъ, за два, за три, батюшка, такъ расторговался на эту комерцію-то, што и добрымъ тысячникамъ не въ мочь съ нимъ тягаться стало. Ну, видитъ онъ, што пока Богъ пронесъ—на грѣхъ не наткнулись, такъ надо дѣло улаживать... Приѣзжаетъ однава это на займку, будто съ угощеньемъ... Угостилъ... ихъ такъ, милый человекъ, што кто гдѣ сидѣлъ—тутъ и свалился... Какъ угостилися они, онъ приперъ дверь-то у избы коломъ, ставешки-то у оконъ приаклепалъ, обложилъ избу-то соломокой, пустилъ пѣтушка, да и пропѣлъ всѣмъ вѣчную память. Тѣмъ и порѣшилъ дѣло! Вотъ какія шутки съ мастерами изъ нашего брата шутятъ по Сибири-то!... закончилъ онъ...

— Отъ кого же ты узналъ эту исторію, если всё сгорѣли?..

— Слухомъ-то, батюшка, сказываютъ, земля полна!.. Экія-то дѣла тоже подолгу въ мѣшкѣ не залеживаются. Своя же братья... лѣсные лыцари дознались, да вѣсть-то принесли... И начальство опосля распознало все это, да ужь прискрестись-то не могло... А ѣздили: слыхъ-то былъ... и подъ пожарищемъ-то копались: не осталось-ли гдѣ слѣдовъ какихъ! Нѣтъ... все прикрыть сѣумѣлъ... л-ловкой... А теперъ, слышь, ска-



зываютъ, въ орденѣ ходить... да-а... Много по Сибири, батюшка, народу съ капиталомъ стало отъ нашего-то брата—вольныхъ мастеровъ... мно-о-ого!..

— Ты за что судился-то, Ларіонъ Маркычъ? спросилъ я.

— Э... э... батюшка, што ужъ старое перегривать! О покойникахъ, сказываютъ, не къ ночи, а ко дню вспоминать-то надоть... За убійство!.. отвѣтилъ старикъ, но тонъ, какимъ произнесъ онъ послѣднее слово, звучалъ такою болью, что я изъ понятнаго чувства деликатности не сталъ болѣе распрашивать. По всему было видно, что я догронулся до тяжелой душевной раны, которой и время не успѣло еще залечить.

Разговоръ невольно смолкъ между нами. Снаружи долетали до насъ учащенные раскаты грома и шумъ ливня. Внутри же нарушалъ тишину только однообразный звукъ капель, падавшихъ съ потолка и стѣнъ въ лужицы, образовавшіяся на полу землянки.

— Вотъ ужъ шестой годочикъ, батюшка, на покоѣ-то живу... на вольной-то волѣ... неожиданно началъ онъ, качая головою. — А все ровно воли-то не вижу... все, слышь, муки-то не избавился...

— Теперь-то какая же у тебя мука, Ларіонъ Маркычъ?..

— А хворь то, кормилецъ, нешто легкое, думаешь, дѣло, а?.. Въ ину пору вѣдь такъ изниметь, особливо къ погодкѣ-то, што жизни не радъ... ноги едва волочишь...

— Простужены... вѣрно?

— Отбиты!.. Ременная это прослуда-то сказывается, вѣрь!.. Сколь этой ломки. — битвы кости-то приняли... дивую, какъ это иешо Господь Богъ живымъ-то вынесъ... Умири я теперь, да ужъ коли небесный Творецъ судилъ и на томъ свѣтѣ муку терпѣть, такъ ужъ эта мука-то будетъ ровно и не въ муку. О-обтерпѣлся!.. О-охъ, каторга-то энта, родимый, шибко увѣчить нашего брата!..

— Тяжелыя работы тамъ, а?

— Што работа!.. прогнесь онъ. — Рабочему человеку къ



работѣ-то не навывать, милостивецъ .. и на волѣ-то мужику работа не всласть... не работой мучить каторга, нѣ-ѣ-ѣтъ!..

— А чѣмъ же?..

— Тиранствомъ... битвой... вотъ чѣмъ каторга-то губить. Утро-то, бывало, встанешь — да только и думаешь: не въ послѣдній ли Божій-то свѣтъ видишь... Прошелъ коли день, не стеганъ, не битъ ты — ну и слава тѣ Господи, да вѣдь такихъ-то деньковъ немного выпадало кому, сердешный. Ужъ не тебѣ говорить, знаешь поди — сколь народу изъ каторги-то бѣжить, да звѣрствуешь по Сибири. Не вини ихъ, батюшка, — люди изъ нихъ звѣрей-то сдѣлали, люди!.. Возьми ты собаку, къ примѣру, да учни ее бить, да бить... развѣ не станеть она бросаться да кусать встрѣчнаго и поперечнаго!..

— Ну, конечно!

— И не вини человѣка, коли онъ звѣрю сталъ подобенъ... не принимай энтаго грѣха на душу!.. Вотъ къ слову скажу тебѣ, батюшка, не погнѣви, коли оно не подстать будетъ. Гляжу я теперь на тебя, да и дивую... Какіе нонѣ чиновники-то пошли... ровно, слышь, и не чиновники...

— Почему такъ?

— Сурбодинацей-то нѣту въ нихъ надлежащей...

— Какъ такъ? произнесъ я, невольно улыбувшись.

— Да такъ... энто-бы прежній чиновникъ сталъ тебѣ стварнакомъ разговаривать... да еще Ларивономъ Маркычемъ величать его. У-упаси Господи! На прежняго-то чиновника, батюшка, взглянешь, бывало, такъ оторопь возьметъ... Мужику, ровно, и мать-то Богъ на то только давалъ, штобъ у чиновниковъ на концѣ языка безъ пути мотаться... Не знаешь ли вотъ ты, не слыхалъ ли: живъ, аль померъ теперь Федоръ Семенычъ Р—севъ? Смотрителемъ онъ былъ у насъ на Карійскомъ золотомъ промыслѣ...

— Не знаю, не слыхалъ!..

— Вотъ чиновникъ былъ, такъ чино-о-вникъ...

— Хорошій?

— Сыра-то земля, поди, дрогнетъ... да не приметъ въ себя, коли умреть онъ. О-охъ, батюшка, какъ только уродятся экіе люди на свѣтѣ — подивить бы! Ужъ каторжникъ — послѣдній человѣкъ на свѣтѣ, ну и въ немъ, милый, сердце есть... есть!.. А экій человѣкъ, какъ Федоръ Семенычъ, Господь его знаетъ — кто: тигра не тигра, змѣй не змѣй, а только не человѣкъ... Сколько на его душенькѣ животовъ лежитъ, и-и-и счету нѣтъ... Лютый убивецъ былъ... Ни за што, ни про что въ гробъ людей вбивалъ. Р—ія розги, батюшка, по всей Сибири въ славу вошли; кнутъ легче на спину ложился, чѣмъ лоза его... Битый и перебитый вѣдь народъ былъ подъ началомъ-то у него... У него въ спинѣ-то по двѣнадцати тысячъ палочекъ лежало; кажись, отерпѣлся человѣкъ... ну, а съ его лозы горькими плакивали!.. Не въ моготу были!.. У него порядокъ-то былъ, штобъ лоза-то ворохами парилась день и ночь въ горячемъ соляномъ разсолѣ; такъ — какъ ножъ въ тѣло-то врѣзывалась... Ну и дра-а-аль! протянулъ старикъ вздохнувъ. — Ужъ кого кликнуть, бывало: иди въ сборную къ смотрителю, — такъ могучей человѣкъ, што малъ малоденець, изъ лица-то помертвѣетъ, да идучи-то у всякаго прощенья попросить... не поминать зломъ... На смерть шли...

— Неужели на смерть задирали!..

— Задирали...

— Правда ли это, Ларіонъ Маркычъ?..

— Э... Эхъ, не спрашивалъ бы ты — правда ли, а спросилъ бы лучше: то ли еще бывало!.. Суди: человѣкъ ли былъ али тигра: дере-е-еть, дереть бывало — видитъ ужъ голосу не даетъ человѣкъ, изъ памяти вышибло. Стой, скомандуетъ: всыпь ему соли, очнется... Ну и очнется... какъ по живому-то мясу солью посыплютъ... завоюетъ... А-а-а, говорить, запѣ-ѣ-ѣль... ну-ко, вспрысни еще лоземъ-то... ну и начнутъ съизнова прыскать... Мясо вѣдь, батюшка, лоскутьями легло — вотъ какъ вспрыскивали! Ну, послѣ экой-то вспрыски и зачнетъ тебѣ человѣкъ чахнуть... чахнетъ — чахнетъ, да и Богу душу от-

дасть... Перекрестись только, бывало, за поминъ души да и ждешь своей очереди. Вотъ она, безсудная-то каторга, какова!...

— За какіе же проступки онъ наказывалъ такъ?

— Проступки!.. произнесъ старикъ, улыбнувшись съ какою-то грустью. — Жилъ со мной, батюшка, въ одной казармѣ арестантъ, Антонъ Дрожкинъ... Старъ ужъ былъ человекъ и до скончанья-то срока не долго ужъ оставалось ему... человекъ былъ — такъ тебѣ скажу — воды не замутишь... и за што онъ только судился, Богъ его вѣдаетъ. Одно только всё почестъ примѣчали за нимъ, не въ своемъ онъ ровно умъ былъ — все, бывало, бормочетъ чего-то, а чего человекъ бормочетъ, никому невдомекъ. Киластый онъ былъ... грыжей, слышь, маялся. Изниметь энта грыжа-то его, бывало, такъ, вѣрь мнѣ, дерево зубами грызъ... сдавить это кулаками животъ, а самъ-то, словно, вотъ уголь изъ лица-то выглядить. Въ ину пору по землѣ это катается... мученикъ былъ!.. набожно перекрестившись, произнесъ Ларіонъ. Ну вотъ однова поскажу тебѣ... дѣло-то на работѣ привелось... воду изъ шакты откачивали... А былъ у насъ въ тѣ поры приставомъ дозорнымъ за нами Мозжухинъ Митька... Головной мы звали его болѣ... Сколько это отъ него утягченья народъ-то терпѣлъ... и — и языкъ не вымолвить... Последній-то грошъ у кого бывало подмѣтить, и тотъ изъ тебя вытянетъ... Аспидъ былъ, по его навѣтамъ болѣ и отъ Федора-то Семеныча страждали мы... Што вѣдь, батюшка, дѣлывалъ этотъ Митька, послухай: ужъ знашь, поди, не легко кандалы-то таскать, — треть ногу-то... ну такъ обручь-то у ноги и обматывашь тряпками... подкандальники, кабы сказать тебѣ... Такъ энтотъ Митька-то чего выдумалъ: какъ на работу идти и командуетъ: разувайся!.. Подкандальники, говорить, долой, живо!... Батюшка! взмолимся... Снизойди! Чего они тебѣ доспѣли... не утягчай...

— А-а, говорить, такіе-сякіе... вы думаете, каторга на утѣху вамъ дана... Долой!.. А то перековать велю, штобъ въ

тѣло обручь-то врось... Ну и сбросать вѣдь... власть!.. Такъ вѣдь обручами... кожу-то на ногѣ до живаго мяса сотреть тебѣ... Свѣтъ-то изъ глазъ у тебя выкатывается, а ты робь, коль лозы не отвѣдалъ. Вотъ чего дѣлывали, батюшка!.. Ну такъ вотъ, бишь, началъ-то я обсказывать тебѣ... толи ужъ Митька-то не въ духѣ былъ, аль ужъ зубъ точилъ на Антона што ли — не могу тебѣ доказать... только какъ увидалъ онъ въ тѣ поры, што Антонъ-то отъ боли упалъ на землю и подскочи къ нему и ну его палкой встряхивать. „Знаю я, говорить, такъ и такъ тебя... энту болѣзнь твою я тѣ, говорить, вылечу!“ Поднялся Антонъ да, видать, его изъ памяти вышибло, аль ужъ Богъ ему такъ судилъ — только ухвати онъ камень съ земли, да и свисни Митьку-то... да такъ-то, братъ, засвѣтилъ, што у того голова только затрепала...

— Убилъ?.. прервалъ я.

— Отдо-о-охъ... Убьешь экаго сразу... Ну, только мы и видѣли Антона, скажу тебѣ, братецъ мой... такъ его на нашихъ глазахъ и заполыхали...

— Безъ суда?

— Суда захотѣлъ!.. да развѣ надъ нашимъ братомъ есть судъ?.. О-о-о, батюшка, кабы тебѣ все-то рассказать, чего глаза видѣли, да плечи вынесли, такъ ты бы подивилъ: какъ испо живы люди-то выходятъ!.. И суди теперь, суди ты по Божьи — какого добра отъ человѣка ждать, коли онъ вырвется изъ эстакой-то жизни на волю, да знаетъ, што не сегодня — завтра съязнова туды же угодить... Иной вѣдь такъ на смерть-то и лѣзетъ... Себя ли ему убить, другого ли кого — все единственно. Былъ у насъ, скажу тебѣ, вотъ этакій-то козырь... изъ солдатъ званьемъ-то!.. На двадцать пять годовъ сроку сужденъ былъ... Такъ на него иной разъ находила болѣзнь... Такъ ужъ, бывало, какъ начнетъ онъ скучать — запримѣтять это — такъ и стерегутся его, какъ звѣря... у-убьеть...

— Какая же болѣзнь-то находила на него?

— Крови, стало быть, человѣку хочется... убить кого ни на есть надоть ему... тоску отвести...

— Неужели ты думаешь, что есть такая болѣзнь, а?..

— Есть, батюшка, вѣрь — не вѣрь, твое это дѣло!.. а я тѣ доподлинно говорю: есть этакая болѣзнь... Не дай-то Господи никому ея. За родительскіе грѣхи, можетъ, Господь наказываетъ иного, а есть — помни мое слово. Скажу я тебѣ, батюшка, послушай: какова эта болѣзнь-то, чего она съ человѣкомъ-то дѣлаетъ! Въ мое это время бѣжало у насъ двое молодцовъ — Золотовъ Максимъ, изъ мѣщанъ онъ сказывался, и Антроповъ Василій... опосля ужъ Золотовъ-то на вѣчную былъ осужденъ и къ тачкѣ прикованъ... Дружили это они промежъ себя все время, ну и бѣжали... Хорошо! Идутъ это лѣсомъ, идутъ не день, не два и напади вотъ эта смертная-то тоска на Золотова. Чуетъ онъ бѣду, самъ опосля сознавался. Ну, идутъ. Вотъ Максимъ-то и говоритъ Василью: „Уйди, говорить, ты отъ меня, уйди съ глазъ моихъ, а то быть, говорить, бѣдѣ — убью я тебя!“ А тотъ, слышь, возьми да подними его съ дуру-то на смѣхъ. Максимъ, слышь, объ одномъ молить его: уйди!.. Не послушалъ онъ его... ну и сложилъ свою голову... Зарѣзалъ его Золотовъ-то, испилъ его крови и словно, говорить, въ себя пришелъ... словно рукой, говорить, тоску-то сняло \*).

Много лѣтъ прошло со времени встрѣчи моей со старикомъ Ларіономъ, передававшимъ мнѣ такимъ спокойнымъ голосомъ возмущающія душу сцены изъ жизни отверженниковъ... Я никогда не забуду этихъ разсказовъ. Мнѣ было больно въ ту минуту, такъ же больно, какъ и теперь, когда я пишу эти строки, больно за участь этихъ душевно больныхъ людей, подвергаемыхъ вмѣсто леченія—мукамъ, людей, которые сами сознаютъ, что они больны и не имѣютъ силъ преодолѣть въ себѣ болѣзненныхъ симптомовъ, проходящихъ, по ихъ понятіямъ, отъ

\*) Истинное происшествіе.

плотка свѣжей крови, вышитої изъ раны убитаго ими брата. Кромѣ разсказаннаго я приведу еще слѣдующій фактъ: Въ 1865 году въ Тобольскѣ ходилъ по домамъ, продавая булки и крендели, крестьянинъ Сметанинъ. Наружность этого человѣка была весьма степенная и даже симпатичная; онъ былъ сдержанъ въ рѣчахъ и замѣтно не любилъ даромъ тратить словъ. Принося мнѣ ежедневно къ утреннему чаю булки, Сметанинъ не разъ пилъ по моему приглашенію чай со мной и иногда, разговорившись, выказывалъ обильный запасъ юмора. Однажды, утромъ, Сметанинъ не явился съ булками и въ тотъ же день я узналъ, что онъ задержанъ ночью полиціей вмѣстѣ съ своими единомышленниками, намѣревавшимися ограбить чиновника А-ва. При производствѣ слѣдствія по этому дѣлу обнаружилось, что Сметанинъ въ короткое время убилъ девять человѣкъ и, между прочимъ, показалъ слѣдующее: по дорогѣ въ г. Тобольскъ онъ убилъ крестьянина, который велъ въ городъ лошадь. Убивъ несчастнаго, онъ никакъ не могъ оойдти отъ него, такъ какъ ему постоянно слышалось, что убитый гонится за нимъ съ крикомъ: „добей меня!“ Какъ ни добивалъ его Сметанинъ, возвращаясь къ трупу, крикъ этотъ все-таки преслѣдовалъ его. Тогда Сметанинъ, напившись крови убитаго, положилъ на грудь ему копѣечку за поминъ души и послѣ этого, съ успокоенной совѣстью, отошелъ отъ трупа, не преслѣдуемый болѣе галлюцинаціею. Преданный военно-полевому суду Сметанинъ былъ растрѣлянъ.

Живя въ Сибири и слыша чуть не каждый день рассказы о преступленіяхъ, совершаемыхъ бѣгло-каторжными, мнѣ невольно приходили на память слова старика Ларіона: „не вини человѣка, что онъ сталъ подобенъ звѣрю!“ И дѣйствительно: можно ли ждать состраданія отъ людей, къ которымъ никто въ свою очередь не имѣетъ состраданія, которые стоятъ внѣ законовъ, ограждающихъ жизнь и права другихъ, съ которыми обращаются самымъ варварскимъ образомъ за ничтожное слово, сказанное предъ начальникомъ, сказанное иногда не съ цѣлью

нагрубить ему, а по невѣжественной наивности, или за поступокъ вызванный злоупотребленіями самой же надзирающей за ними власти. Послушайте разказовъ бѣгло-каторжныхъ, содержащихся въ сибирскихъ тюрьмахъ, о причинахъ вызывающихъ побѣги ихъ—и у васъ волосы станутъ дыбомъ на головѣ отъ этихъ простыхъ, незатѣйливыхъ разказовъ, въ которыхъ кнутъ, палки, розги представляютъ самое обыкновенное явленіе. Должно быть, мало же привлекательнаго имѣетъ жизнь для человѣка, если онъ для избѣжанія всѣхъ этихъ пытокъ нарочно совершаетъ преступленіе, зная, что погибнетъ страшною, мучительною смертію подъ кнутомъ или палками, но по крайней мѣрѣ погибнетъ сразу. Это лучше, нежели изо дня въ день постепенно, въ теченіе, можетъ быть, долгихъ лѣтъ испытывать эти муки.

Я знаю, найдутся такіе знатоки русской жизни и порядковъ, которые прямо заявятъ, что все сказанное мною—ложь, но такихъ любителей казовыхъ сторонъ нашей жизни не прошибешь никакимъ фактомъ. Для нихъ и письмо бывшего прокурора Павлова-Сильванскаго и „Записки изъ мертваго дома“ г. Достоевскаго представляются, можетъ быть, плодомъ разстроеннаго воображенія, хотя г. Достоевскій, по всей вѣроятности, по независимымъ отъ него причинамъ, умолчалъ о многихъ подвигахъ такого дѣятеля, какъ бывший въ Омскѣ плацъ-маіоръ Кривцовъ, котораго вѣрнѣе всего можно характеризовать выраженіемъ старика Ларіона „тигра не тигра, змѣй не змѣй, а только не человѣкъ!“ И такимъ-то личностямъ, какъ Р—евъ, Кривцовъ и т. п. ввѣрялась почти безконтрольная власть надъ несчастными отверженниками.

Лѣтъ тридцать тому назадъ въ г. Омскѣ существовала суконная фабрика, устроенная по инициативѣ бывшего генералъ-губернатора Западной Сибири, князя Горчякова, для снабженія мѣстныхъ войскъ сукнами. Фабрика находилась въ чертѣ города и работы на ней производились каторжными. Бывшій въ то время смотрителемъ этой фабрики капитанъ Кобылянскій до того безчеловѣчно обращался съ несчастными, что



однажды днем нѣсколько человѣкъ каторжныхъ, высочивъ изъ зданія фабрики на улицу, закричали: „Суди насъ Богъ и Государь, но у насъ нѣтъ больше силы терпѣть!“ Они бросились на платформу, схватили лежавшія въ сошкахъ ружья караула и кинулись на Кобылянскаго съ цѣлю убить его. Но карауль успѣлъ удержать и обезоружить каторжныхъ. Весь городъ ходилъ потомъ смотрѣть, какъ этихъ несчастныхъ гоняли сквозь строй на смерть. Все это совершалось въ виду главнаго начальства края, и Кобылянскій все-таки былъ оставленъ зрителемъ этой фабрики. А между тѣмъ большинство преступниковъ осужденныхъ влечить подобную жизнь, несомнѣнно, люди душевно больные, совершающіа преступления въ какомъ-то болѣзненномъ состояніи. Неужели найдется человѣкъ, который признаетъ душевно-здоровымъ каторжника Золотова, умолявшаго своего товарища уйдти отъ него, предупреждая, что иначе, онъ убьетъ его? Неужели здоровымъ человѣкомъ назовутъ Сметанина, который, убивъ человѣка безъ всякой побудительной причины, не руководясь даже цѣлю грабежа, подъ вліяніемъ преслѣдующей его галлюцинаціи—пить кровь убитаго и кладетъ ему на грудь копѣчку за усноженіе души. Не каторга, но больница должна бы быть удѣломъ этихъ, дѣйствительно, „несчастныхъ“ людей какъ и называетъ ихъ народъ нашъ; здѣсь я приведу примѣръ, слышанный мною въ дѣтствѣ отъ человѣка, производившаго слѣдствіе по очень странному дѣлу. Въ селѣ Боготолъ, Томской губерніи лѣтъ пятьдесятъ тому назадъ жилъ поселенецъ, отбывшій срокъ каторжной работы. Выйдя на поселеніе, онъ женился, занялся хлѣбопашествомъ, торговлей—и дѣла его пошли такъ удачно, что подъ старость онъ нажилъ крупное состояніе, прекрасный домъ и хозяйство. Дочь его была выдана замужъ за богатаго купца. Старшій сынъ также вышелъ въ купцы и торговалъ въ городѣ, младшій завѣдывалъ по дряхлости отца дѣлами его. Старикъ пользовался общимъ почетомъ и уваженіемъ, отличался добротой и набожностью. Въ теченіи

нѣсколькихъ лѣтъ онъ былъ церковнымъ старостой и сдѣлалъ крупныя пожертванія на церковь—и вдругъ этотъ дряхлый старикъ убиваетъ ночью двухъ церковныхъ сторожей и крадетъ изъ церковной кружки нѣсколько копѣекъ, крадетъ; имѣя тысячи и сдѣлавъ крупныя пожертванія на ту же церковь... Неужели это не большой человѣкъ, нуждающійся въ глубокомъ психическомъ анализѣ, вмѣсто кары?

Въ Сибири не рѣдкость встрѣтить людей, отбывшихъ двѣнадцать, пятнадцать лѣтъ каторжной работы и водворенныхъ на поселеніе. Многіе изъ нихъ отличаются примѣрнымъ трудолюбіемъ, трезвою жизнью и пользуются хорошимъ благосостояніемъ и отличною репутаціею въ обществѣ. Значить, не всѣ же изъ этихъ несчастныхъ—неисправимые злодѣи, достойные только мукъ, совершаемыхъ надъ ними людьми, повидимому, утратившими, въ свою очередь, всѣ лучшія человѣческія чувства.

Гроза постепенно стихала, хотя время отъ времени до насъ доносились еще глухіе раскаты грома; но проливной дождь не переставалъ лить, какъ изъ ведра. Старикъ не разъ уже, свертывая изъ береста трубки, втыкалъ ихъ въ землю въ углы, въ которыхъ сквозь пазы сруба и сквозь дернъ на потолокъ образовалась течь.—Э... эхъ, хоромина-то совсѣмъ сквозная стала! произнесъ онъ. Того и гляди—размоетъ ее.

— А не холодно тебѣ въ ней по ночамъ-то? спросилъ я.

— Привышны!.. Я вѣдь въ ведро-то на улицѣ болѣ сплю... блоха выживаетъ; блохи этой страсть сколь здѣсь... А въ ведро-то на улочкѣ хорошо... Просто-оръ кругомъ тебя... тихо все... а подь зорьку-то птахи тебѣ стрекотъ иоднимуть... ровно и развѣешься...

— Какъ это развѣешься...

— Отъ тоски-то батюшка... тоска сосетъ въ иную пору... Есть тоже о чемъ подумать-то!.. Ужъ какая теперь моя жизнь... на што она мнѣ... Посуди... Ни силы-то во мнѣ нѣту, ни кола, ни двора... Всѣмъ-то я чужой на свѣтѣ! говорилъ онъ слегка

дрожащимъ голосомъ.—Спасибо хоть добрые-то люди ишо не сторонятся, да кормятъ меня...

— Ты откуда же родомъ-то, изъ какой губерніи? спросилъ я...

— Костромичъ, батюшка... Костромской...

— Есть родные на родинѣ?...

— Надо бы быть-то... братъ есть—живъ, аль померъ теперь, не знаю... сестры... племянники...

— Переписываешься съ ними?

— Нѣтъ!.. отрывисто отвѣтилъ онъ.

— Отчего?

— Не пишется чего-то, батюшка. Сначала-то, какъ на волю-то вышелъ, оповѣстилъ ихъ о себѣ... два письма послалъ... да ни отвѣту, ни привѣту не дождался... И старикъ, не докончивъ, махнулъ рукой.—Вѣдь только богатыхъ сродственникововъ любятъ; да помнятъ... а бѣдный-то и-и-и хошь вѣкъ его не будь... съ болью въ голосѣ произнесъ онъ.

— Худо же ты думаешь объ людяхъ, Ларіонъ Маркычъ!

— Не повелось какъ-то подумать-то лучше, не суди!

— А на родину тебя не тянетъ?..

— Въ ину пору, чего таить, береть, слышь, скука-то такъ бы вотъ хоша бы глазкомъ глянулъ на родимыя-то мѣста. Што кто ни говори, а своя сторона завсегда мила. Ну да, подумаешь, подумаешь—и махнешъ рукой... Не дологъ ужъ вѣкъ-то мой—скоротаю, какъ ни на есть... Знать ужъ судьба такая, предѣлъ!.. Одному ужъ оно такъ и отъ Бога написано: живи въ покоѣ, будь талантливъ и удачливъ во всемъ; а иному одно только заповѣдано: терпи! Ужъ за родительскій грѣхъ, што-ли, Богъ наводитъ на человѣка экую заповѣдь—не мнѣ судить, батюшка... темень!.. Не дологъ мой вѣкъ-то, да горемъ избыточень... всячины я насмотрѣлся—о-о-охъ, всячины!.. Суди меня Богъ, а вчастую сумлѣньемъ задаюсь... Пошто это невиннымъ-то Богъ страждить попускаетъ. Съ грустью въ голосѣ спросилъ онъ.

— Какъ это такъ?..

— Да какъ... Вотъ у насъ въ каторгѣ-то на нашихъ глазахъ извѣлся человѣкъ, неповинно всю жизнь свою, страждившій... совсѣмъ неповинно...

— Кто же это? прервалъ я его.

— Старикъ одинъ былъ... крестьянинъ, какъ сказывался... Онуфрiемъ его звали! Я ужь, прийдя-то, засталъ его почестъ на послѣдяхъ, двадцать одинъ годочикъ онъ, милостивецъ, тиранство-то безвинно несъ, да такъ и въ землю ушелъ, недождавшись суда праваго. А всѣ знали, што невинно гибъ человѣкъ. Вотъ и помышляй!..

— За что-же онъ былъ сосланъ-то?

— За убивство судился-то, а тутъ же вмѣстѣ съ нимъ робилъ и настоящій-то убивецъ, за кого онъ грѣхъ несъ, и всѣ это знали.

— И начальство знало?

— Знало; и просьбу онъ подавалъ... и убивецъ-то винился; искупить его хотѣлъ...

— И неужели ничего этого не приняли во вниманiе?

— Знать, не приняли, коли по гробъ своей жизни муку несъ... Онъ тутошнiй былъ сибирякъ... Жить-то, сказывалъ, не бѣдно—жена, дѣти большiя на мѣстѣ-то остались... Хозяйство, говорить, въ большой исправности было. Да, вишь, грѣхъ-то какъ подкатилъ, произнесъ Ларiонъ, глубоко вдохнувъ:— „Въ деревнѣ-то, гдѣ жилъ онъ, былъ, слышь, крестьянинъ,—помнится, Бурановымъ звалъ онъ его,—тоже не бѣдный былъ мужикъ, но верткой, говорить, такою разбитной—на всѣ руки. Жили-то они промежь себя—это, стало быть, Онуфрiй-то и Бурановъ—не то, штобы въ ссорѣ, сказать тебѣ... ну, и дружбы-то не было, а все болѣ усобицы, да перекоръ шель межъ ними... и все изъ того, будто бь, што Бурановъ за все, почестъ, поперекъ дороги Онуфрiю-то становился... Оба, видать, богатенькiе были, стяжанiемъ заимствовались, ну, и вѣстимо—завидовали другъ дружкѣ. Старикъ-то Онуфрiй не разъ плакался, што, можетъ, Господь за то на него и участь такую

надѣль, што онъ завидоваль Буранову, што всякое-то дѣло у него въ трижды спорилось, а у тебя, говорить, чего ты не дѣешь, все ровно клинь кто вобьетъ! Возьметъ, говорить, это въ ину пору зло, особливо какъ Бурановъ-то зачнетъ, бывало, подскрывать, и не разъ это въ сердцахъ-то при всемъ обществѣ говариваль ему: „Ужь я тѣ, пса, дожду когданибудь... жди!..“ — Эхъ, ты, соломенная голова, тебѣ ли меня дождать, смѣхомъ огрызнулся Бурановъ, — ты ишо и колесъ-то у телѣги не успѣшь смазать, а ужъ я тѣ пыли въ носъ пуцу, штобъ чихаль, да не прочихался. „Ну, кто допрежь чихнетъ, поглядимъ ужъ, дай время“. А общественники, извѣстно, глядя на эту усобицу да перебранки, только гоготали. Ужь не скажу тебѣ, батюшка, долго ль, коротко ль время шли эти перекоры межъ ними и изъ-за чего сыръ боръ загорѣлся, только Бурановъ-то шибко подѣль, слышь, Онуфрія въ какомъ-то дѣлѣ... „Ужь такъ-то мнѣ, говорить, было обидно въ тѣ поры“, сказываль старикъ-то, покойная головушка, дай ему Господи царство небесное, свѣтлое мѣсто, — „такое-то, говорить, горе взяло меня, што хотъ хлѣба лишись, такъ въ ту же пору... и не стерпѣль это я однова и скажи ему при наредѣ: „Ну.. Иродь, помни ты меня... ужъ заткну я тѣ глотку, отучу тебя изъ чужого рта кусокъ вырывать!“ Съ этихъ-то словъ, говорить, я и на страду пошелъ. Вотъ оно, слово-то батюшка, сколь его съ оглядкой выпущать-то надоть изъ рта!.. потому, говорить, обчество-то онося подъ присягой энти похвальныя слова мои и вывело... Ну и жили они такъ-то до поры до время, ни въ ладу, ни въ сеорѣ. Подошелъ, говорить, Успенъ-евъ день — праздникъ на селѣ-то, связжій по здѣшнему-то зовется, у всякаго, говорить, гости, гульба... хорошо! И встрѣтятся гдѣ-то Онуфрій-то съ Бурановымъ за чарочкой, какъ обсказываль старикъ, и пойди у нихъ похвальба... Рѣчь-то, вишь, о томъ, быдто, зашла, што есть-де на свѣтѣ экіе молодцы, што вотъ разболочутъ тебя до ниточки и ты не улынишь, потому-де „слово“ экое знаютъ усыпляющее... „Э-э... все, говорить, энто пустое, бабья

брехля одна...“ Бурановъ-то говоритъ. „Энто штобъ меня раздѣли, да я не слыхаль бы; а-а... Да я еплю-то, такъ слышу какъ муха летить... Раздѣнька вотъ поди... сунься“...—Раздену!.. Онуфрій-то говоритъ ему внезапно это... „Ты говорить, это раздѣнешь меня!“—Я... Ужь коли раздѣтъ, говорить, не раздѣну, такъ ужь подушку изъ-подъ головы навѣрняка унесу и ты не услышишь, не трахнешься—ажъ потому, говорить, я энто слово-то знаю... „А-ахъ, ты, говорить, вяленный языкъ... ты бы, говорить, это унесъ у меня изъ-подъ головы подушку и я бы не слыхаль, а!.. Н-ну, говорить это ему Бурановъ-то,—коли ты взаболъ энто слово знаешь и унесешь у меня подушку изъ-подъ головы и я не услышу, то вотъ тебѣ обчество въ поруку—проси тогда, чего хощь... все твое будетъ все отдамъ“...—И соловаго жеребчика отдашь? спрашиваетъ Онуфрій. „Не постою... твой!.. только унеси подушку изъ-подъ головы! говорить Бурановъ.—Но мотри, говорить, парень, коли ты да прохваснешь, то, говорить, при энтомъ же обчествѣ дегтемъ ужь я тебя вымажу... знай!“..—Мажь!.. говорить Онуфрій.—Ну, ударили это по рукамъ, по смѣялся надъ ними народъ-то и разошлись. Ужь зналъ-ли точно Онуфрій этакое слово, аль ужь такъ съ дуру сбрехнулъ—грѣхъ-то его путаль!.. не скажу тебѣ... и самъ-то онъ опосля спознавался, што, можетъ, Богъ-то и отвелъ бы, говорить, меня отъ энтой участи, кабы Бурановъ-то словно на зло не подскрывивалъ. Ровно, слышь, кто толкалъ его на бѣду-то мою: гдѣ бы ни встрѣлись мы съ нимъ, сичасъ это на смѣхъ вздыметъ меня. „Ужь я, говорить, запасъ лагушку, што ни есть самолучшаго дехтю... ужь моего дехтю, говорить, не смо-о-оешь, Онуфрій... нѣ-ѣ-ѣтъ!.. де-еготъ—первый сортъ... самъ его, говорить, на твою милость куриль!“ Ну, ладно!.. Осень ужь это подошла. Однова—сказать, дѣло-то, говорить, это подъ хмѣлькомъ было—и взбреди мнѣ... подшутить-то надъ нимъ... Семъ-ка, думаю, будетъ уже смѣху-то на міру!.. Ходы-то и выходы въ избѣ-то его зналъ, говорить, какъ въ своей. Самъ-то онъ, Бурановъ,

завсе спалъ въ избѣ... въ повалку на полу, на войлокѣ... Ночь-то выпала темная... Я и говорю Федюшкѣ, старшему сыну: дай-ка уже топоръ мнѣ!— „На што, говорить, тебѣ топоръ-то въ экую пору зандобился?“ — Не твое, говорю, это дѣло знать! А топоръ-то, говорить, взялъ я на тотъ случай, што въ ино время Бурановъ-то свычку имѣлъ окна то съ улицы ставешками припирать, такъ, можетъ, думаю, не зандобилось бы ставешекъ-то отодрать... Хорошо! Разудя, говорить, это— взялъ топоръ, подошелъ къ избѣ, а изба-то его, сказать, стояла почестъ посередь деревни и задворками-то выходила въ поле... а за полемъ-то, неподалечку и лѣсокъ шелъ. Ну, ладно!.. Подошелъ, говорить, къ избѣ-то... вижу, не приперты окна ставешками. Послухаль... тихо все въ избѣ, спять только одно, говорить, мнѣ маненько чудно показалось въ тѣ поры... собака на дворѣ-то жила у него злющая... и—и, бѣдовая собака... одно слово... не чуетъ—не даетъ это голосу... Ну, да ладно, думаю, мнѣ же лучше... Потрогалъ это створки у окна-то: вижу веревочкой одной приперты... просунулъ, говорить, это топоръ подъ нихъ... натянулъ одну-то створку, перерѣзалъ топоромъ веревочку и растворилъ окно... спять, слышу, спять и не чухаютъ... „Вотъ тѣ и чуткой, думаю, а!“ Влѣзъ это тихо— тихо... пошарилъ его, Буранова-то, у лавки спить!.. Въ головахъ-то полушубокъ... вынулъ я энтотъ полушубокъ и назадъ... назадъ... лѣзу это опретью... Не спустился ишо изъ окна-то на землю... слышу: „стой, говорятъ, што за человекъ!..“ А староста это ѣздилъ за чѣмъ-то въ волость, да какъ разъ на энтотъ случай и подкати на вершной съ крестьяниномъ однимъ изъ ихней же деревни. Увидѣлъ это, што онъ изъ окна-то лѣзеть—спрыгнулъ съ вершной-то и крикнулъ: „стой!“ — Пуст-и-и!.. говорить Онуфрій-то.—О-о, штобъ тѣ, неужъ не узналъ меня, Онуфрія-то? „Да што ты, говорить, парень, въ умѣ-ль... по ночамъ-то задумалъ въ чужія избы въ окна лазить?.. спрашиваетъ его староста.—Молчи:... Онуфрій-то говорить ему.—Выпивка-то уже будетъ здо-о-оровая!.. Теперь ужъ, говорить, со-

ловой-то жеребчикъ мой, хошь не хошь, а будь слову вѣренъ!.. ну, обсказываетъ старостѣ, што про закладъ-то бились... Ну и староста-то зналъ про энтотъ споръ ихъ. Смѣются... И не пошевельнулся, говорить, какъ я у него изъ-подъ головы полушубокъ-то вынулъ... вотъ сколь чутко дрыхнеть!.. Не токма разболоти, а хошь за ноги-то выволоки, такъ не услышитъ! Ну, съизнова, говорить, это посмѣялись и пошли было. Только староста-то остановись, да и говорить... „Вернемся-ка, говорить, парень, да побудимъ его... ладно-ли такъ-то уйти?— Пойде-е-емъ, говорить Онуфрій.—Ужо завтра полушубка-то хватится... будетъ смѣху-то... „Не взѣлся бы, слышь...—А и взѣстся, такъ што жъ—неужь укусить... иди-и! „Нѣтъ, парень, побудимъ!.. Ловчѣй, говорить, дѣло-то будетъ... настаиваетъ староста,—и вернись... Ну, вѣстимо, и Онуфрій-то съ нимъ же вернулся... подошли къ окну, изъ котораго Онуфрій-то вытѣзъ... староста и крикни Буранову-то смѣхомъ: „Эй, надѣнька, говорить, ужо полушубокъ-то, да выдѣ-ка на улицу-то!“ Отвѣта нѣтъ... „Ну и спи-и-ить же парень“... говорить себѣ, смѣясь, Онуфрій-то съ мужикомъ. Вотъ староста и вдругоредь крикни и примись стучать, не въ шутку ужъ кулакомъ-то замыкаль... но въ избѣ слышь, хотъ бы шелохнули тебѣ... Тутъ ужъ и изъ сусѣдскихъ избъ на стукъ-то окна поотворялись... народъ сталъ показываться, а въ избѣ Буранова не щелкнетъ што ись!.. „Што за диво!“ говорить староста-то.—„Разоспался-то какъ нашъ Бурановъ... ужъ ладно ли дѣло-то, братцы? Давай-ка ужо огоньку, да буди народъ-то!..“ Ну, взбудили кое-кого, кто поближе... огню-то принесли, глянули... А полушубокъ-то, што въ рукахъ у Онуфрія, былъ весь въ крови... „Такъ я, говорить, братцы, сказывалъ Онуфрій-то,—какъ стоялъ это на мѣстѣ-то, такъ и обомлѣлъ весь, такъ и похолодѣлъ... и куды это хмѣль изъ головы дѣвался!“ Ну, вошли, говорить, какъ въ избу-то и примолкли. Бурановъ убить... Жену его подъ кроватью нашла ужъ безъ дыханья... Дочь была на возрастѣ тутъ же ус-



покоена... Сынокъ, говорить, паренекъ лѣтъ десяти... и што нсь собака-то на дворѣ и та пришиблена. Слыхаль экое диво? спросилъ Ларіонъ, пристально посмотрѣвъ на меня.

— Кто же убилъ?..

— Кто?.. переспросилъ онъ.—Кто убилъ, тотъ руки-ноги не оставилъ... Вотъ и посуди: куды его шуточка-то привела... Ну чего жъ рассказывать даль-то! И пошло судъ, да дѣло— и клялся, и божился, покойникъ-то Онуфрій; сказывалъ, што не мой-де это грѣхъ, не повиненъ я въ ихъ крови... да рази дадутъ тебѣ вѣру, коли свидѣ на лицо, а?.. Его у окна поймали, топоръ, какъ онъ положилъ на окно, отворивъ его, такъ и оставилъ, какъ въ поныхахъ-то въ обратній лѣвъ... и самъ отъ полушубка-то въ крови выпотрался... и обчество, говорить подъ присягой доказало, што не одна Онуфрій-то похвалялся заткнуть ротъ Буранову. Такъ ужъ дадутъ ли вѣру твоей слезѣ въ эфтомъ случаѣ, по себѣ посуди, а?.. Ну и смазали его... только не дегтемъ, какъ сулилъ ему Бурановъ, а плетями... да ужъ такъ-то, што во вѣкъ не смоешь... да на двадцать годковъ каторги осудили сердешнаго... Вотъ сколь легко пошутить-то!..

— А какъ-же открылось, что не онъ виновникъ?

— Открылось-то?.. а случай, батюшка, подошелъ такой... Съ пустого разговора дѣло-то зашло. Лѣтъ за пять исмо до моего прихода, пришелъ на заводы-то молодецъ одинъ... Онъ ужъ и ранѣ былъ въ каторгѣ-то, да убѣгъ... и лѣтъ, никакъ, болѣ десяти въ бѣгахъ-то по каторгѣ скучалъ... Ефимъ Козловъ прозывался... изъ дворянъ исмо выдавалъ себя... Ну и съизнова попалъ въ тоже гнѣздо... И выпадѣ разъ такое дѣло: отрядили, слышь, партію изъ нашихъ-то верстъ за пятнадцать отъ завода дрова рубить и попади жъ въ эфту партію и Онуфрій-то старикъ, и Ефимъ. А партія-то энти иной разъ по мѣсяцу живутъ въ лѣсу безсмѣнно. Ну, ладно... Тамъ-то одна и разговорись Ефимъ-то съ Онуфріемъ. Откуда, да што, да какъ... На повѣрку-то и выйди, што Ефимъ-то всѣ

тѣ мѣста знаетъ, изъ конхъ Онуфрій-то... и деревню-то знаетъ... проживаль, говорить въ ней, хоша и не въ явь. — „У кого?“ спрашиваетъ тотъ—„У Буранова“, говорить... „Когда?“ „Въ такое-то время“... да внезапно, кабы сказать тебѣ, и спроси Онуфрія-то: „да ты говоришь, изъ тѣхъ мѣсть, што ли?“— „Изъ тѣхъ, Онуфрій-то говорить, изъ той самой деревни, гдѣ Бурановъ жилъ“. — „За што судился?“—За убійство говорить,— будто бы самого этого Буранова“... Посмотрѣль, говорятъ, на него Ефимъ-то... долго столь посмотрѣль да и говорить: „Ну, сердешный, никакъ ты тутъ безпричинно муку несешь... не твой это грѣхъ... не твое бы здѣсь и мѣсто...— „Не мой говорить Онуфрій-то, видитъ Богъ не мой!“.. „Не твой говорить Ефимъ.—За нашъ, говорить, грѣхъ ты муку несешь... знай!.. Мы, говорить, Буранова-то уходили.“.. И повѣдай онъ тутъ, што Бурановъ-то этотъ станъ имѣль у себя: стало быть бѣглые тайно проживали у него... и занимались конокрадствомъ... Ефимъ-то съ двумя молодцами и проживали у Буранова въ лѣсу на пасѣкѣ... да што-то и повздорили съ нимъ однова... Бурановъ-то и пригрози выдать ихъ... Какъ угрозу-то эту онъ вымолвилъ имъ, они, не запуская дѣла, и порѣшили уходить его, да ночью проберись это полемъ-то и войди въ домъ—задворками... и только, говорить, порѣшили съ нимъ... стали деньги, было, да худобу искать въ избѣ... слышимъ... съ улицы-то стали створку у окна подергивать... и видимъ—человѣкъ въ окно-то съ улицы глядитъ. „Бѣ-ѣда!“ думаемъ... знать, мужики-то возню услышали, спохватились, да избу окружили... И давай Богъ ноги—въ бѣгъ!.. Ну и ушли съ этихъ мѣсть... Одинъ-то изъ товарищей—отшатнулся, говорить, опосля... да безъ вѣсти пропаль... Другой-то ужъ въ острогѣ померъ, а Ефимъ-то и угоди съязнова въ каторгу.

— Ну, что же, заявилъ Ефимъ о своемъ преступленіи прервалъ я.

— Заявилъ!.. Повинился предъ начальствомъ... Обсказалъ все, какъ дѣло было... и што ранѣ-де не винился въ

эфтомъ грѣхѣ единственно, штобъ не утягчить своей участи... Ну, да не приняди, вишь, повинной-то его... оставили втунѣ... Полагали, можетъ статья, што энто сказки все... потому вчистую это, батюшка, бываетъ, што наша братья за деньги принимаетъ на себя чужіе грѣхи... Бывали и такіе случаи... А ужъ убивался же Онуфрій-то... и сказать тебѣ не могу, какъ убивался... инда вчужѣ жалость брала... съ грустью въ голосѣ произнесъ Ларіонъ Маркычъ.

— Онъ такъ тамъ и померъ?...

— Въ скорости почестъ послѣ вѣтаго и конецъ принялъ... Старъ ужъ былъ... ну и сокрушенья-то не мало было ему... Все анто тосковалъ, все убивался—почестъ до послѣдняго часа дѣтокъ все вспоминалъ, мѣста свои... Вотъ и подумай, кормилецъ, снова началъ Ларіонъ послѣ минутнаго молчанія. Ну, грѣшенъ... ужъ кто... повиненъ... такъ по дѣломъ вору и мука, сказываютъ... А каково оно энти муки-то терпѣть... неповинному-то человѣку, а-а?...

— Ужасно...

— Ужасъ... вѣрно ты это сказаль... согласился онъ.— Э... эхъ... батюшка... не радъ я, што и языкъ-то свой расчесаль съ тобой... право!.. вдругъ неожиданно заключилъ онъ, махнувъ рукою...

— Отчего?

— Молчать-то лучше бы... грѣха меньше... а то вотъ разбогташься какъ, такъ ровно дрожжа въ пивѣ дума-то бурлить въ тебѣ почнетъ... Сколько этаго непотребства въ голову полѣзеть. А кто бы и говорилъ-то... хоша бы человѣкъ!... съ нескрытымъ презрѣніемъ въ голосѣ произнесъ онъ.

— А развѣ же ты не человѣкъ, Ларіонъ Маркычъ?

— Человѣкъ-ль... Ужъ какой я человѣкъ... червь пресмыкающій...

— Ну, полно... для чего ты такъ унижаешь себя!

— Вѣрно тебѣ говорю... вѣрь!... Ужъ униженнымъ какое исхо унижанье звать... Ужъ одну мнѣ только думу надо ду-

мать теперь. „Прости Господи прегрѣшенія раба твоего Ларивона“. А я еще въ помыслы пуцаюсь, гдѣ не моего ума дѣло... и то бы-де не такъ надоть... и другое бы не этакъ... Ндравятся тебѣ, батюшка, тавлинки-то мой, што ли? какимъ-то отрывистымъ, сердитымъ тономъ спросилъ вдругъ онъ...

— Нравятся... хороши...

— Ну и за те спасибо, што похвалилъ... все утѣха...

— Продай-ка мнѣ ихъ, Ларіонъ Маркычъ? спросилъ я.

— О-о-о!... Неужь и взаболъ они тебѣ любы?...

— Я, не шутя, тебѣ говорю...

— Продай! усмѣхнувшись произнесъ онъ... А што, сердешный баринъ, не почтешъ ты моего слова за обиду?... ласково спросилъ онъ, и на лицѣ его отразилось что-то безза-вѣтно доброе...

— Не знаю... какое вѣдь слово...

— Прими ты ихъ отъ меня, будто бы какъ въ даръ, не погнушайся... а-а?

— Да за что же ты даришь меня, Ларіонъ Маркычъ?..

— Прими... окажи эту милость!..

— Ежели ты этого хочешь... изволь...

— Прими... сердешный ты человекъ... прими... Дарю-то я ихъ за привѣтъ... за привѣтъ твой, за доброе твое слово, што не погнушался вотъ ты варнакомъ, не презрилъ его.

Старикъ заплакалъ.

Я растерялся и, положительно, не нашелся, что сказать въ отвѣтъ ему.

— Э... эхъ... батюшка! снова началъ онъ... Для меня ласка-то, доброе-то слово—дороже горы золота. Мнѣ вотъ въ радость, што ты, вотъ, поговорилъ-то со мной, какъ съ путнымъ... по Божьи... не погнушался вотъ клеймомъ-то... говорилъ старикъ.

. . . . .

Было около девяти часовъ вечера, когда я возвратился на занимаемую мною квартиру, и на другой же день уѣхалъ изъ

Бунгура... Миѣ не довелось быть болѣе въ этомъ селѣ и встрѣчаться со старикомъ Ларіономъ. Несмотря на всѣ мои разпросы крестьянъ изъ той мѣстности, о дальнѣйшей участи Ларіона я ничего не слыхалъ. Вѣроятно, вѣкъ его былъ недологъ...



## ЗАЖОРА \*).

(РАЗСКАЗЪ).

Живя въ деревнѣ во время службы моей въ Сибири, я обыкновенно разъ въ недѣлю получалъ съ почты иногда болѣе сотни пакетовъ: съ донесеніями волостныхъ правленій и предписаніями и подтвержденіями различныхъ начальствъ и вѣдомствъ о скорѣйшемъ окончаніи находившихся въ производствѣ у меня слѣдственныхъ дѣлъ. Въ числѣ этихъ пакетовъ каждый разъ находилось два-три съ надписью: „о происшествіи“, и эти пакеты, конечно, прежде всѣхъ распечатывались и прочитывались мною. Невеселыя думы навѣвало на меня чтеніе донесеній о найденныхъ мертвыхъ тѣлахъ, о повѣсившихся, объ убійствахъ, совершенныхъ въ моемъ участкѣ. Я смотрѣлъ на эти донесенія какъ на скорбные листы, вырванные изъ обширной книги народной жизни; и это дѣйствительно были скорбные листы, которые, помимо желанія, у самыхъ черствыхъ людей будили что-то въ родѣ состраданія и раз-

---

\*) Зажорой народъ называетъ глубокую рытвину, образующуюся по санной дорогѣ весной, во время таянія снѣга. Подобныя зажоры бывають крайне опасны на пути, пролегающемъ по льду, такъ какъ имѣють свойство, вслѣдствіе рыхлости льда или снѣга, засасывать въ себя и лошадей, и экипажъ. Нередко бывають случаи, что засосанная зажорою лошадь гибнетъ.

душья. Нашли, напримѣръ, мертвое тѣло, повидимому, бѣжавшаго арестанта, такъ какъ на спинѣ смураго зипуна казеннаго образца вшитъ былъ черный четырехугольникъ; нашлось оно въ погребу, за кадками съ солеными огурцами и капустой, куда забился несчастный бѣглець, гонимый морозомъ, голодомъ и страхомъ. „Уши, носъ, губы повреждены, повидимому крысами; въ кулакѣ сжатъ огурецъ, часть котораго откушена“, гласитъ полицейскій осмотръ, замѣняющій некрологъ для этихъ людей, безслѣдно гибнущихъ иногда въ самомъ разцвѣтѣ силъ и жизни. Навѣрно каждый прочель-бы между строкъ сухого формальнаго донесенія тяжелую повѣсть пережитыхъ страданій во время жизни этого человѣка на волѣ, въ бытность въ острогѣ и во время безпріютнаго скитальчества. Въ другой деревнѣ повѣсился крестьянинъ изъ ссыльно-поселенцевъ, занимавшійся столярнымъ мастерствомъ. По показанію однодеревенцевъ: „въ послѣднее время онъ тосковалъ о женѣ, оставшейся на родинѣ и вышедшей замужъ“. Немного, кажется, сказано въ этихъ строкахъ донесенія волостного правленія, а вникните въ нихъ, и передъ вами развернется потрясающая драма, надломившая силы человѣка и сдѣлавшая жизнь для него невыносимымъ страданіемъ.

Послѣ полученія подобныхъ пакетовъ, мнѣ всякій разъ приводилось скакать въ ту или другую сторону моего обширнаго участка, скакать безостановочно, несмотря ни на какую погоду, чтобъ производить судебныя дознанія и осмотры. За то, во время скучнаго пути по узкимъ проселочнымъ дорогамъ, было много досуга раздумывать, подъ однообразный звонъ колокольчика и топотъ лошадей, объ участи всѣхъ этихъ Ивановъ, Трофимовъ, Агафоновъ, которыхъ печальная жизнь, начавшаяся, можетъ быть, съ пленокъ, привела къ не менѣе печальному концу гдѣ-нибудь въ погребу или подъ навѣсомъ...

Часто среди пакетовъ встрѣчались пакеты съ надписью: „секретное“; въ нихъ обыкновенно доставлялись мнѣ фальши-

вые кредитные билеты съ подробною повѣстью о странствованіи ихъ изъ рукъ въ руки до минуты открытія незаконнаго происхожденія. Получивъ въ ноябрѣ 186... года подобный пакетъ, я былъ вполне увѣренъ, что, распечатавъ его, найду какую-нибудь пятирублевую кредитку; но каково-же было мое удивленіе, когда, вмѣсто кредитки, въ рукахъ моихъ оказалось предписаніе произвести строжайшее разслѣдованіе: „не заключается-ли въ пророчествахъ крестьянина деревни Клушиной, Анисима Матвѣева Королькова, чего-либо возмутительнаго противу властей и существующаго порядка“. Въ подробномъ донесеніи волостного правленія, приложенномъ къ этому предписанію, говорилось, что „Анисимъ Корольковъ, во время бывшей въ іюлѣ мѣсяцѣ сего года сильной грозы, слышалъ гласъ съ неба, обращенный къ нему, и гласъ сей былъ столь зыченъ, что Корольковъ оглохъ отъ онаго и до нынѣ чувствуетъ шумъ въ правомъ ухѣ, и при семъ онъ видѣлъ яко-бы ангела, держащаго въ рукахъ огненную метлу, кою онъ мель по воздуху“. Подобный случай, въ то время еще первый въ моей практикѣ, сильно заинтересовалъ меня, и я въ тотъ-же день отправился въ путь. Въ глухую полночь, прозябшій и усталый, въѣхалъ я въ деревню Клушино, заброшенную далеко въ глушь Т. округа. Ямщикъ мой, пожилой человекъ, одѣтый въ шубу мѣхомъ вверхъ, съ половины дороги началъ усердно похлопывать рукавицей о рукавицу и нѣсколько разъ, желая отогрѣть окоченѣвшіе члены, соскакивалъ съ облучка и бѣжалъ рысью, рядомъ съ лошадью. „О-ой, мо-оро-озъ завернулъ!“ произнеслъ онъ, вскакивая на облучекъ послѣ подобнаго моціона и, оборачивая ко мнѣ свое красное лицо съ густо-заиндевѣвшей бородой и усами, улыбался самой добродушной улыбкой, по всей вѣроятности вызываемой пріятнымъ ощущеніемъ теплоты, разливавшейся по тѣлу его.

— Завезь-бы тебя къ Максиму Арефьичу: изба-то у него большая, просторная, чистая изба, произнесъ онъ, обратившись ко мнѣ, когда мы въѣхали въ околицу деревни;—да не знаю,



покажется-ли тебѣ: тараканъ одолѣлъ его, совсѣмъ, слышь, изъ избы выживаетъ; поѣдешь-ли? спросилъ онъ.

— Вези; чего-же таракана бояться? отвѣтилъ я?

— И я-то говорю, что чего-бы таракана бояться, не съѣсть; да вишь, нонѣ писарь у него останавливался, такъ тараканъ-то, слышь, въ ухо заполѣ ему, слыхаль?..

— Случается...

— Такъ писарь-то это, съ сердцовъ-то, слышь, оплеушинъ съ десятокъ никакъ Максиму-то накидалъ. Вотъ оно!.. Суди, и не великъ-бы гнусъ тараканъ, а сколь неприятностей за него стерпишь въ ино время...

— Да какое-же право имѣлъ писарь бить его?

— Ужъ гдѣ тутъ право разбирать, когда бьютъ-то тебя, суди! Ты, говорить, долженъ по закону жить, въ избѣ-то блюсти чистоту, а не плодить гнуса; я, говорить, съ тебя еще за таракана-то убытки возьму!

— Убытки-то какіе-же? прервалъ я, заинтересованный разсказомъ его о похожденияхъ писаря.

— По службѣ убытки-то! Я, говорить, на то, можетъ, и приставленъ теперича, штобы мнѣ все слышать, чего гдѣ говорить и дѣютъ, а ты меня тараканомъ отравилъ. Могу-ль я, говорить, опосля того быть вѣрнымъ слугой начальству, а-а? Вотъ и толкуй, какіе убытки-то! Пять рублей ему на мировую Максимъ-то пожертвовалъ, знаешь-ли вотъ это?

— Ну и глупо сдѣлалъ, что пожертвовалъ.

— Глупо, извѣстно испужался! Съ испугу-то и десять отдашь, да нескоро образумишься. А можетъ, оно и въ заболѣ въ законѣ-то писано, штобъ таракана-то не плодить въ избахъ, почему знать!

— Законовъ про это не пишутъ.

— А-а... ну, вишь вотъ, темнота-то наша, хе!.. И за таракана бьютъ, да деньги берутъ! произнесъ онъ, покачавъ головой. Такъ Максимъ-то, слышь, только спровадилъ это писаря-то, такъ сейчасъ это, съ сердцовъ-то, распахнулъ окна и

двери въ избѣ и ну ихъ морозить, таракановъ-то... Извель!.. Да не болѣ, слышь, мѣсяца по закону-то прожилъ. Съ изнова, говорить, набилось ихъ, никакъ болѣ прежняго; вотъ и способись поди съ ними. Я на то и спрашиваю тебя: поѣдешь-ли?

— Вези!..

— Писаря-то я-же, слышь, къ Максиму-то привезъ, такъ Максимъ-то на меня никакъ съ мѣсяцъ серчалъ. Вотъ я и боюсь, милый, кабы съизнова не подвести его подъ грѣхъ, и спросилъ тебя, поѣдешь-ли?.. Ну, да ни кто какъ Богъ! заключить онъ и, хлопнувъ рукавицами, крикнулъ: „Эй, вы, соколики“.

Соколики пустились крупною рысью, и не болѣе какъ черезъ четверть часа я сидѣлъ въ просторной и теплой избѣ Максима Арефьича, освѣщенной двумя сальными свѣчами, при тускломъ свѣтѣ которыхъ все-таки можно было разсмотрѣть полчища таракановъ, копошившихся въ пазахъ стѣнъ, въ углахъ и по потолку. На другой день утромъ, вслѣдъ за поданнымъ самоваромъ, ко мнѣ вошелъ и хозяинъ дома, Максимъ Арефьичъ. Войдя въ комнату, онъ, по обычаю, помолился въ передній уголь и затѣмъ, пожелавъ мнѣ добраго здоровья, остановился у порога. Это былъ широкоплечій, низенькаго роста человекъ, съ легкою просѣдью, пробивавшеюся въ темно-русыхъ волосахъ на головѣ, подстриженныхъ съ скобку, и съ окладистой бородой, придававшей лицу его шарообразный видъ. Въ крупныхъ и даже грубыхъ чертахъ его лица было разлито наивное добродушіе. Глядя на него, такъ и казалось, что любой проходимецъ могъ обратъ его не только за таракана, но даже за блоху, и ни малѣйшаго протеста не оказалъ-бы на требованія его этотъ приземистый человекъ, обладавшій мускульною силой и цвѣтущимъ здоровьемъ.

— Садись-ко, Максимъ Арефьичъ, гость будешь! пригласилъ я.

— Постоймъ, ваша милость; благодаримъ покорно на словѣ; намъ што; мы и постоймъ! отвѣтилъ онъ, кланяясь.

— Садись! повторилъ я.

— Не привышны будто, снова отвѣтилъ онъ; — ну ужь, коли твоей милости угодно, такъ што-же, пожалуй, и сядемъ, только оно... того, говорилъ онъ, заноса руку къ затылку, — зазорно, слышь, сидѣть-то...

— Отчего зазорно?

— Дѣло-то наше подначальное... Ну, да што-жъ, посидимъ, все будто компанія, отвѣтилъ онъ, слегка присаживаясь на скамью и точно опасаясь, что, при малѣйшемъ неосторожномъ движеніи его, она разсыплется. — Знать по дѣлу къ намъ заглянулъ, сударь? спросилъ онъ. — Ужъ не Анисимъ-ли Матвѣичъ мучить тебя, — а?

— Какой Анисимъ Матвѣичъ?

— Корольковъ, што-ль, пишется-то онъ... мы-то его, признаться, Зажорой кличемъ болѣ... Зажорой все зовемъ.

— За что-же вы его Зажорой прозвали? полюбобытствоваль я.

— А Богъ его знаетъ! Какъ тебѣ скажешь, за што какую кличку на мужика міръ повѣситъ? Теперя меня вотъ взять: съ измальства почестъ стали Корчагой кликать... Корчага да Корчага, ну и подь вотъ—доспрашивай, за што прошто въ Корчаги произвели!.. съ добродушной ироніей пояснилъ онъ. — Такъ ужъ сязстари повелось; вотъ и Анисима Матвѣича окрестили Зажорой и зовемъ теперъ: Зажора да Зажора!.. Оно, коли въ правду-то сказать, такъ, пожалуй, што кличка-то эта и по шерсти ему: заѣдливый человекъ.

— Неуживчивый? прервалъ я.

— Нѣ-ѣтъ!.. Пошто грѣхъ на душу брать, худое-то говорить про него: уживчивый, изъ міру его клиномъ не вышибешь; а такъ это, кормилецъ, обсказать-бы тебѣ, не натуральной, ровно, человекъ-то онъ...

— Помѣшанный, што-ль, по-твоему?

— И этого не говори: въ умѣ мужикъ, какъ есть въ полномъ разумѣ.

— Такъ чѣмъ-же онъ, по-твоему, не натураленъ?..

— А такъ-бы тебѣ, батюшко, обсказать надо, началъ онъ, заикаясь, — што не за свое, ровно, дѣло берется. Теперича возьми ты мужика, къ примѣру меня возьми,—ну, мало-ли что гдѣ дѣется, а? Ну и видишь въ ино время, чего таить, што оно и не такъ-бы слѣдовало, не по порядку будто клинъ въ ино мѣсто вбить, да вѣдь чего ты доспѣешь! Не съ тебя повелось, не тобой и кончится. Вѣдь и тесницу теперь возьми, къ слову скажу: гладкую-то въ рѣдкость ты найдешь, все нѣтъ-нѣтъ да сучекъ и выглянетъ... Такъ и жизнь-то наша! Вѣрно-ль я говорю?.. А онъ, сказать тебѣ, Зажора-то, сейчасъ это въ думу вдарится: почему да отчего все это, да гдѣ законъ экой? Ну, мужичье-ли это дѣло думать-то, суди!

— А развѣ мужикѣ, по-твоему, не слѣдуетъ думать, а?

— Какъ ты, милый, безъ думы-то проживешь? И хотѣль-бы, можетъ, въ ину нору жить безъ думы, да вишь дума-то не спрашиваетъ, надоть ее или нѣтъ, а сама тебѣ безъ спросу въ голову лѣзетъ. Безъ думы жить тоже нельзя, да дума-то думѣ розная! По-моему, теперича, разуму, одну ты думу свободно въ себѣ допускай, а другую, блажную-то, и придави. Теперича я такъ скажу тебѣ, возьми ты вино: чего говорить, вредительности отъ него много человѣку бываетъ и на міру идетъ, да слѣдь-ли мнѣ добираться, отколь оно повелось на свѣтъ, по какому закону допускають его потребление? А Анисимъ сейчасъ тебѣ въ думу вдастся. „Почему, говорить, коли отъ Бога закона нѣтъ вино пить, а ты пьешь, вредительность себѣ приносишь?“ Да рази оно такъ можно, а?..

— Отчего-же не можно, объясни ты мнѣ?!

— Не стать, не мужичье дѣло въ экія думы входить, горячо отвѣтилъ онъ. — Мужичье дѣло, батюшка, одно знать: паши, сѣи, блюда хозяйство, соблюдай—чего съ тебя начальство требуетъ, и не вникайся, ни Боже мой!..

— Ни во что не вникайся, чего-бы ни дѣлалось кругомъ тебя, а?..

— Ни въ малую соринку!

— А Зажора вникаль?

— Про то и говорю, что-заѣдался! Дума-то, батюшка, што калать на голодные зубы, приманчива; вдайся только въ нее, и не услышишь какъ облопаешься.

— Думой-то?

— Ну, помысломъ-то про то да про се, чего тебѣ вовсе не слѣдъ знать и вѣдать. Вотъ ты посуди, скажу тебѣ, хоша-бы про того-жъ Анисима Матвѣича: человекъ онъ — окромя хорошаго ничего не скажешь; бѣденъ — чего тамъ, не богато его дѣло, а все колотился, чего съ него слѣдъ отбываль, помочи ни у кого не просилъ; и жилъ-бы да жилъ, тихо, смиренно, въ степенномъ образѣ, а вотъ какъ вдарился въ думу — и пошло оно, круженіе-то! Пошто, вишь, дѣвки да бабы ситцевыя платья носятъ, да платы шелковые на головѣ; а не самодѣльную пряжу?.. Надо, говорить, не тѣло рядить-то, а душу, а сталь, говорить, ты о тѣлѣ радѣть — и будешь только думать о тѣлесномъ; отъ этого, говорить, и дѣвки, и бабы въ блудъ идутъ.

— Это онъ проповѣдываль, Зажора?

— Ну... ну... онъ! Вино, говорить, теперича тоже послѣднее дѣло, звѣриная услада, потому, говорить, человеку оно звѣриный обликъ даетъ... шатаніе. Отколь, говорить, весь грѣхъ по міру идетъ?.. Отъ вина! Вино-то, говорить, слюна дьявольская, а мы ее пье-е-емъ! Кабы не вино, говорить, такъ рази Иванъ Афанасьичъ оправдался-бы, говорить, передъ міромъ? Развѣ мы-бы, говорить, заплатили другія денежки, а?

— Какія это денежки? прерваль я.

— Мірскія, што Иванъ Афанасьичъ съѣлъ да и спасибо не сказалъ.

— А кто-же это Иванъ Афанасьичъ?

— Иванъ-то Афанасьичъ? повторилъ онъ. — Аль ты не знаешь его? удивленно спросилъ онъ, какъ-бы предполагая, что Ивана Афанасьевича всѣ должны знать.

— Нѣтъ, не знаю...

— А-а а!.. Вишь оно, а я полагаю, ты знаешь его: прежде-то начальство всё его знали, да и всегда къ нему приворачивали. Мужикъ онъ, батюшка, нашъ-же братъ, да съ кабака, вишь, жить-то пошелъ. Кабакъ держалъ, грѣха-то этого за нимъ—и-и-и! протянулъ Максимъ Арефѣичъ, махнувъ рукой, и отвернулся. — Иванъ-то Афанасьичъ и струну-то эту подъ Анисима подвелъ, што его въ волость-то заперли. Писарь-то нашъ на дочкѣ его женать, ну, вмѣстѣ и мухлюють. А Зажора-то Анисимъ Матвѣичъ возьми да и распиши его.

— Кого, писаря-то?

— Нѣ-ѣтъ, Ивана-то Афанасьича, козыря-то нашего!

— Какъ же онъ его расписывалъ?

— Хе!.. Письма-то тутъ, батюшка, не шибко много; пожалуй, и письмо-то писать не устанешь. Одну ему пѣсенку Зажора-то въ уши дулъ: что ты, говорить, съ зятемъ-то своимъ, писаремъ, мірскія деньги съѣлъ... Иванъ-то Афанасьичъ, скажу тебѣ, годовъ пять тому время, засѣдателемъ по ховянской части въ волости ходилъ; ну, и собиралъ это деньги по волости на земскую гоньбу, и многонько што-то насобиралъ, а фитки-то кому выдавалъ, а кому все сулилъ сегодня да завтра выдать, — такъ и шло время. А какъ пришлось, слышь, ему деньги-то сдавать, онъ и отопрись, што не бралъ и въ глаза-то не видывалъ, какія они, деньги то. Мало ли судьбища-то тогда было... Начальство-то, слышь, приказало описать Ивана-то Афанасьича, а онъ будь не промахъ, да весь свой скоть, — и коровъ, и лошадей, — и сгони отъ описи-то къ писарю на дворъ, будто-бы весь этотъ скоть онъ въ приданое за дочерью выдалъ ему... И фитокъ такой подстроили съ писаремъ-то.

— Какой же это фитокъ?

— Фитанцію, сказать-бы тебѣ, што весь скоть онъ даль писарю въ приданое за дочкой, а у него на дворѣ онъ стоялъ будто-бы для кормежки одной; а народъ-то смутилъ показать,

слышь, подь присягой, што онь точно скоть-то этотъ въ приданое за дочкой отдалъ.

— И тѣ присягнули?

— Цѣловали крестъ... Вина-то этого выполль имь никакъ безъ счету!.. Вотъ какія дѣла-то!..

— Такъ его и не описали?

— И по-сейчасъ цѣль!... Ну, чего-жъ тутъ дѣлать будешь, а? Подумали мужики-то, видять, што ваять тутъ нечего, махнули рукой да и внесли вторительныя деньги, а его будто-бы простили.

— А много внесли?

— Рублевь семьсотъ, коли не болѣ. Ну, Зажора-то вотъ при всемъ обществѣ и окрести его мошенникомъ, введи въ сердце, — потому правда-то глаза вѣдь колетъ, — а Иванъ-то Афанасьичъ не стерпи обиды, да и научи писаря: донеси-де на него! Вотъ и пошелъ сыр-боръ, горѣть, туши-ко теперь... Что ему будетъ теперь, батюшка, Анисиму Матвѣичу, знашь иль нѣтъ? неожиданно спросилъ онъ, пристально посмотрѣвъ на меня.

— За что?

— За тревогу-то, што начальство-то потревожилъ.

— Да тѣмъ-же онъ начальство-то потревожилъ? спросилъ я.

— Ну, что народъ-то мутить будто сталь... Мы то, признаться, полагаемъ, што за экое дѣло каторги-то, поди, не минуешь. Мало-ль разговору-то было межъ насъ... Онъ вѣдь, Анисимъ-то Матвѣичъ, признаться тебѣ, свойственнигъ мнѣ доводится: и не близка родня, а все какъ-бы обидно. Мужики-то теперь, со словъ-то Ивана Афанасьича, на меня, слышь, налегають. Вашъ родъ, говорить, такой: смутьянъ на смутьянѣ; тревоги-то, говорить, и намъ, и начальству отъ васъ не обобраться. Да я-то, говорю, мѣръ честной, при чемъ-же тутъ? Ты, говорятъ, коли видишь, што въ мужикѣ круженіе пошло, долженъ бы унимать его, не допускать до всякой-то думы. Оно точно, чего говорить, я и видѣлъ, что съ нимъ ровно чего-то

не ладно дѣется, да полагаю, што дума-то эта у него съ горя пошла.

— Съ какого-же горя?

— Обида будто маненькая встрѣлась ему: двѣ дѣвки у него дочери и, не потаясь скажу, загульныя. Одна-то, Авдотья-то, меньшая-то, родила, слышь, въ лонскомъ году. Съ цѣловальникомъ снюхалась и, такъ бы сказать, отъ дому отбилась. Цѣловальникъ-то, вишь, женатый, съ женой-то живетъ несо-вѣтно, жена-то въ городѣ у него при домѣ, а Авдотья то здѣсь, кабы замѣсто супружницы — хозяйство у него при кабакѣ-то блюдетъ. Ему-бы, Анисиму-то Матвѣичу, гдѣ бы поучить дочь-то, порядку наставить, а у него, вишь, рука не вздымается, а попрекъ-то, вишь, на сердце ложится. Съ этого болѣть, полагаю, и круженіе-то у него пошло, а мужики-то вотъ на меня не сугъ, пошто я не блюю. А я, прости ты меня Господи, хоба-бы зналъ и вѣдалъ, чего у него на умѣ! произнесъ онъ, разведя руками. — Диво! Вижу, што скучаетъ человекъ, людей сторонится, особливо какъ Авдотья-то родила, да пошелъ это говоръ да толкъ на деревнѣ. Ну, чего-же, думаю: извѣстно — отецъ, сердце-то болить, поди! Ну, такъ это и шло время... Только однава это, лѣтомъ нонѣ, и поднялась гроза — страхъ Божій какава: по небу-то словно сполохъ отъ молоньи-то шолъ. Только, вдругъ это, слышимъ, кричать на деревнѣ: „Анисима громомъ убило!“ Почестъ старый и малый сбѣжались къ избѣ-то его: видимъ, какъ стоялъ онъ на дворѣ, обтесывалъ это бревно, такъ тутъ и лежитъ у бревна-то замертво... Храни это Богъ, какъ онъ топоромъ-то ишло не повредился. Спужались-было сначала-то, думали — убило его, только нѣтъ, глядимъ — дышетъ ровно. Ну, тутъ кто говорить, што парнымъ молокомъ отпаивать его надо, бабъ-то посылають коровъ доить, а то и не въ домекъ, што скоть-то въ поскотинѣ ходить. Другіе велютъ парнымъ коровьимъ пометомъ обложить его, — молонью-то будто пометомъ изъ человека вытягиваетъ, а кто твердитъ, штобы въ землю Анисима-то по шею закопать, — скорѣй-де



отойдетъ онъ... Ну, и староста Миронъ Антонычъ на томъ-же стоять сталъ, шгобъ закопать его въ землю. Принесли это вастуны, начали яму рыть, а онъ и сталъ это очунять будто. Притихли, ждемъ чего будетъ. Дочки-то его тутъ-же стоять, воютъ надъ нимъ, ну, уняли ихъ: не пужай, мошь. Ну, видимъ — это глаза открылъ, озирается... „Слава Тебѣ, Господи!“ думаемъ... Водицы ему изъ ковшичка дали холодненькой, попилъ и словно будто въ память вошелъ, — приподнялся это, сѣлъ на бревно то... Мы и говоримъ ему: „пошелъ-бы ты, Анисимъ Матвѣичъ да прилежь, скорѣе-бы, можеть, отдохъ!..

— „Посижу, говорить, не нудьте.

— „Ну, сиди, мошь, шгожь; Слава Богу и то, што отдохъ, отпустилъ Богъ душу на покаяніе,

— „О-охъ, говорить, други, отпустилъ Господь мою душевну, да никакъ не къ добру: лучше-бы, говорить, помереть мнѣ.

— „Окрестись, говоримъ, Анисимъ Матвѣичъ, въ умѣль ты? Сейчасъ только замертво лежалъ, да сьязнова смерть накликаешъ на себя! Аль, говоримъ, разумъ-то у тебя отшибло? Што ты, одумайся, говори Слава Богу, што Господь у тебя вѣку не отиалъ!

— „Лучше бы, говорить, глазоньки-то мои закрылись, а не глядѣли-бы болѣ на свѣтъ-то Божій, лучше-бы!.. твердить онъ.—Быть, говорить, большой бѣдѣ надъ нами, многогрѣшными; быть, говорить, други, такой бѣдѣ, што мертвымъ-то позавидуешь! И началъ это креститься да вздыхать. Народъ-то тутъ, братецъ мой, и поиспужался, особливо бабы-то, и въ плачь было ударилась... Ну, уняли ихъ, депытываемъ его, съ чего-бы надъ нами бѣдѣ быть, съ чего онъ непутныя слова говорить, только на думу народъ наводитъ... И староста это, Миронъ Антонычъ, мужикъ толковый, въ полномъ качествѣ, и говорить ему: подь, говорить, Анисимъ, сосни; никакъ, говорить, тебя сердешнаго стряхнуло небеснымъ-то сполохомъ.

— „Встряхнуло, говорить, точно; Зажора-то отвѣчаетъ ему.

— „То и есть, говорить, што встряхнуло; а ты подь-ка— прилягь, отдохни; сонъ-то, говорить, въ разумъ челоуѣка вводить, коли его и встряхнетъ въ ину пору! Иди-ко, говорить.

— „Не войду! Зажора-то твердить.—Потому, говорить, на меня Ангель Божій заповѣдь наложилъ — сказать крещеному люду, што много слезь прольете вы, што горемъ, что горой, придавить васъ.

— „Гдѣ-ты его видѣль-то? спросилъ староста.

— „На небѣ!

— „Мы такъ это, батюшка; какъ сказалъ онъ это слово, ровно ужаснулись и не того, штобы неподобное чего говорилъ онъ, а чудно всёмъ стало, што Анисимъ-то, мужикъ умный, степенный, ни въ чемъ незамѣченный и на слово-то не шибко-бы бойкой, вдругъ экую бѣду заговорилъ! А што, моль, какъ и въ заболъ трягнуло его Божьей-то милостью? Ну и опаска взяла. Съ одной стороны, и жаль его стало, а съ другой — опасно: какъ ни какъ, а ужъ коли не въ здоровомъ умѣ челоуѣкъ, стерегись!... А староста все его допытываетъ: при какомъ онъ, стало быть, случаѣ Ангела-то Божьяго видѣль?

— „А тесаль, говорить, я, други, бревно, какъ гроза-то настигла, Анисимъ-то отвѣчаетъ;—мнѣ-бы идти, говорить, надоть въ ту пору въ избу, а я думаю, чтожь, вѣдь не глиняный я, дождемъ не размочить... Штобъ время-то не терять, взялъ это бревно-то, подтащилъ подъ навѣсъ и тешу... Только, вдругъ, какъ громъ-то ударить, говорить, плехнула молонья-то, я и лба окрестить не успѣлъ, такъ и замеръ, такъ и замеръ, говорить, вижу только искры-то, словно вотъ отъ пожара, такъ и ходять, такъ это и крутятъ около меня, а Ангель-то Божій, весь кабы въ огнѣ, говорить, мететь это по небу и приговариваетъ: „Смету, говорить, съ земли-то всякую неправду, и судей неправедныхъ, и кабашиковъ!“ И пошелъ это Зажора припѣвать въ ту пору, кабы со словъ-то Ангела, и пошо-о-оль: „и горе будетъ вамъ, говорить, неизбывное, и моръ, и гладь, и всякія болѣсти“... плель, пле-е-ель онъ тогда,

што и не перескажешь! Съ диву мы только дались, слушая его: кто это охаает да крестится, а другіе, што потолковѣй, только головой покачиваютъ...

— „Встряхнуло, братцы, мужика-то! говорить староста:

— „И видать, говоримъ, што встряхнуло!.. Ну, нѣтъ-нѣтъ, его въ тѣ поры спать уложили, думали—отдохнеть придетъ въ себя, успокоится. Староста-то хотѣль-было въ волость бѣжать съ объявкой, да мы-таки, признаться, уняли его: обожди, молъ, обойдется мужикъ-то! И обошлось-бы оно, кабы не наткнулся на Ивана-то Афанасьича“.

— Онъ тогда-же и поспорилъ съ нимъ?

— Нѣ-ѣ-ѣтъ! Въ долго ужъ время-то послѣ того. Иванъ-то Афанасьичъ, сказать тебѣ къ слову, шибко блудливъ на языкъ-то: все это наровить, кабы кого словомъ-то щипнуть, ну и подними Зажору-то на смѣшки. Смѣялся, смѣялся, да и до-смѣялся. Тотъ это подбери случай, да и вывори все его нутро: какъ онъ и съ волостными мошенничаетъ... да много онъ напѣлъ ему въ тѣ поры, помянулъ таки и начальство-то легкимъ словомъ.

— А чѣмъ-же онъ начальство-то помянулъ? прервалъ я.

— Одни, батюшка, на мужичьемъ-то языкѣ поминки про начальство живутъ; не суди ужъ, не мнѣ энтому словцу вторить, ослобони! уклончиво отвѣтилъ онъ.

— Отчего-же ты не хочешь сказать мнѣ? спросилъ я.— Чего-же боишься?

— Уволь, сдѣлай милость! Ужъ лучше Зажору спрости; мужикъ-то онъ откровенный; его былъ грѣхъ, его и отвѣтъ будеть, а наше дѣло, батюшка, сторона; вникаться-то во што не слѣдъ—не доводится, отвѣчалъ мнѣ Максимъ Арефьичъ, не смотря на всѣ мои увѣренія, что слова его останутся между нами.

Не много новаго сообщили о Зажорѣ однообщественники его, спрошенные мною въ тотъ-же день. На мои вопросы они

отвѣчали одно: „говорилъ онъ, что вино худо пить, что вино— дьявольская слюна, худо, что бабы и дѣвки любятъ рядиться... Ну, чего таить, и начальство не одобрялъ!“ Но за что не одобрялъ Зажора начальство и въ какихъ выраженіяхъ высказывалъ это неодобреніе,—они или умалчивали, или давали уклончивые отвѣты, въ родѣ того, что „балагуръ мужикъ,—гдѣ все упомнишь, чего когда благовоѣстилъ!“ Для меня не оставалось болѣе сомнѣнія, что Зажора принадлежалъ къ разряду тѣхъ людей, какіе часто встрѣчаются среди сибирскаго населенія и, можетъ быть, только исключительно среди сибирскаго. Говорю „исключительно“ потому что только въ этой печальной „странѣ изгнанія“ до сихъ поръ еще самая ничтожная полицейская власть, если ей напомнить о законѣ, гордо отвѣтитъ вамъ: „здѣсь я законъ?“ Подъ гнетомъ этого произвола Сибирь и вырабатываетъ въ народѣ особенные типы страстныхъ, энергичныхъ людей, смѣло протестующихъ, среди всеобщаго безмолвія и апатіи, противъ золь, развѣдающихъ народную жизнь. Формы протеста, избираемыя подобными личностями, бываютъ разнообразны. Въ Сибири нѣсколько разъ появлялись, на примѣръ, оригинальные разбойники, грабившіе только богатыхъ чиновниковъ, разжившихся взятками, и купцовъ, прославившихся безопасной эксплуатацией рабочаго народа. Все отнятое у этихъ купцовъ и чиновниковъ разбойники раздавали неимущимъ крестьянамъ. Я зналъ многихъ крестьянъ, отданныхъ подъ надзоръ общества и волостныхъ правленій въ качествѣ неисправимыхъ „ябедниковъ“, которые, отрѣшившись отъ хозяйства, толклись съ утра и до ночи въ переднихъ различныхъ начальниковъ и присутственныхъ мѣстъ, держа въ рукахъ просьбы, которыхъ отъ нихъ никто уже не принималъ. Они жаловались не за себя не за свои личныя обиды и нарушенные интересы, нѣтъ, они являлись ходатаями за общество, задавленное насиліями. Я нерѣдко удивлялся самоотверженію, съ какимъ выносили эти люди обрушивающіяся на нихъ гоненія. Подобныхъ „ябедниковъ“ обыкновенно сѣкутъ въ полиціяхъ и отправляютъ изъ городовъ подъ конвоемъ

на мѣсто жительства, гдѣ волостные начальники, писаря, кулаки, священники, чины земской полиціи, всегда бичуемые ихъ обличеніями, мстятъ имъ при всякомъ удобномъ случаѣ. Будь другой человѣкъ на мѣстѣ ихъ, онъ давно-бы палъ въ неравной борьбѣ, но эти люди неспособны падать. Заслышать они, что ѣдетъ какой нибудь „генералъ“, какой нибудь новый начальникъ края, видятъ они, что земскія и другія власти суетятся, ожидая пріѣзда этого лица и стараясь замести слѣды всевозможныхъ злоупотребленій,—„ябедники“ тайно ликуютъ, въ ожиданіи пріѣзда новой власти, ликуютъ отъ мысли, что власть услышитъ ихъ мольбы, раскроетъ злоупотребленія и воздастъ каждому по дѣламъ его. Но увы, земскія власти тоже не дремлютъ: за „ябедниками“, какъ нарочно, усиливаютъ въ это время надзоръ, и ко дню пріѣзда начальствующаго лица, ихъ запираютъ, нерѣдко безъ всякой вины, въ волостныя тюрьмы. Проѣхало лицо, съ трекетомъ ожидаемая буря прончалась благополучно, не вырвавъ не одного подгнившаго въ корнѣ дерева и не колыхнувъ молодыхъ побѣговъ, высасывающихъ изъ почвы всѣ жизненные соки,—„ябедниковъ“ безопасно выпускаютъ на свободу и ослабляютъ за ними надзоръ. Стойкій въ достиженіи своихъ цѣлей, хотя наивный какъ дитя, „ябедникъ“ снова начинаетъ поднимать принакшую голову: улучшивъ удобное время, онъ тайно скрывается изъ мѣста своего жительства, достигаетъ до того города, гдѣ живетъ благодѣтельный „генералъ“; какой-нибудь досужій приказный сочиняетъ ему обличительную просьбу, но сила не въ просьбѣ! „Ябедникъ“ упорно убѣжденъ, что „генерала“ внимательно выслушаетъ безсвязную рѣчь его и его горькія сѣтованія, вникнетъ въ суть ихъ и, разгромивъ лихоѣвъ народа, водворитъ повсюду добро и справедливость. Нерѣдко „ябеднику“ удается добратъся до пріемной „генерала“, но... дѣло все-таки кончается тѣмъ, что его вновь высѣкутъ и снова подъ конвоемъ или по этапу препроводятъ въ волость, подъ надзоръ ея и общества, а тамъ онъ ужъ знаетъ, что ждетъ его. „Нѣтъ, это не тотъ генералъ!

сь сокрушеніемъ сѣтуеть протестантъ-ябедникъ. — Настоящій генераль выслушалъ-бы меня, а этого ужъ успѣли опутать и обвести наши-то лиходѣи!“ И томится подобный протестантъ-ябедникъ, томится иногда долгіе, долгіе годы, въ ожиданіи приѣзда такого генерала, который-бы вникнулъ въ положеніе крестьянъ, смель-бы опутавшее ихъ зло и водворилъ справедливость...

Людямъ, бывшимъ въ Сибири, доводилось, я думаю, встрѣчать и въ городахъ, и въ селахъ, особенно стоящихъ на большой трактовой дорогѣ, крайне своеобразныхъ людей, на которыхъ обыкновенно никто не обращаетъ вниманія: это „дурачки“, или, какъ называетъ ихъ народъ, „Божьи люди“. Чаще всего это — бездомные, перебивающіеся милостыней старики. Припрыгивая на одной ногѣ или выкидывая какія-нибудь дурачества, „Божій человекъ“ вертится около повозки и проѣзжающихъ, забавляя ихъ и получая за подобную забаву иногда щедрое подаваніе. Дурачковъ этихъ всегда отгоняютъ отъ людей имущихъ власть; если-же они не идутъ, то ихъ бьютъ и, несмотря на ихъ крикъ и сопротивленіе, уводятъ и запираютъ въ какой-нибудь избѣ. На вопросы начальствующихъ, — что это за человекъ? — волостной старшина, писарь или земскій засѣдатель категорически объявляютъ, что это „дурачекъ“, „Божій человекъ!“ Но если-бы хоть одно имущее власть лицо заинтересовалось этимъ „Божьимъ человекомъ“ и поговорило-бы съ нимъ, то оно изумилось-бы, какъ много ума и наблюдательности скрывается въ этихъ людяхъ, которые, напуская на себя глупость ради невѣяемости, сплошь и рядомъ высказываютъ горькую, рѣзкую глаза правду. Эти люди — воплощеніе гласности, задушенной въ народѣ бюрократическимъ произволомъ. Однажды подобный дурачекъ, котораго удостоиле бесѣдой важное лицо, пересыпая свою рѣчь шутками да прибаутками, раскрылъ передъ нимъ крупное убійство, скрытое лихоимцемъ-слѣдователемъ, и вывелъ массу злоупотребленій мѣстной администраціи, которая безъ этого случая навѣрное остались-бы не раскрытыми.

Дня через два послѣ моего приѣзда въ Клушино, я вытребовалъ Зажору изъ волости, гдѣ содержался онъ все время до моего приѣзда, подъ строгимъ арестомъ, въ камерѣ, почти лишенной свѣта и воздуха. Къ нему не допускали даже дочь, нѣсколько разъ приѣзжавшую для свиданія съ нимъ. Зажору доставили ко мнѣ подъ конвоемъ двухъ сотскихъ,—мѣра, принимаемая только относительно важныхъ уголовныхъ преступниковъ, обнаруживавшихъ попытку къ побѣгу. Злоба къ этому старику доходила до того, что его лишали даже нитя и подавали ему затхлую, теплую воду, отъ которой, какъ выражался онъ, его „нутрило“.

Когда его ввели ко мнѣ, онъ молча перекрестился и, поклонившись мнѣ, остановился у порога, пристально глядя на меня. Наружность его была оригинальна. Исхудалое, блѣдное лицо было покрыто морщинами, точно мелко-сплетенною сѣтью; темно-русая борода съ густою просѣдью прядями надала на грудь; широкій, низкій лобъ былъ открытъ, точно шапкой, густыми всклокоченными волосами, къ которымъ гребенка прикасалась, повидимому, весьма рѣдко. Глубокая, прямая морщина, легшая между бровей, придавала лицу его сурово-серьезное выраженіе, которое, вѣроятно, не сглаживалось и улыбкой, если улыбка когда-нибудь озаряла лицо этого старика; выраженіе это смягчалось отчасти голубыми, спокойными и ясными глазами старика. Невозмутимо спокойная фигура его инстинктивно подсказала-бы каждому, что этотъ человѣкъ сознаетъ свою глубокую правоту и далеку всякого страха какой-бы ни было ответственности.

— Здравствуй, старинушка! сказалъ я.

— Здравствуй, батюшка, отвѣтилъ онъ, снова поклонившись мнѣ;—будь ко здорově!..

— Садись-ко, побесѣдуемъ, пригласилъ я.

— Уволь ужъ, батюшка, отъ этой милости, не сяду! рѣшительно отвѣтилъ онъ.

— Отчего-же не сядешь?

— Насидѣлся ужь въ клѣтушкѣ-то; постоять-то, пожалуй, и радъ тебѣрь. Подросту испно, можетъ, коли годы-то не ушли, съ насмѣшливымъ отгѣнкомъ въ голосѣ добавилъ онъ.

— А давно ужь ты сидишь въ волости-то?

— Утѣха вѣдь, батюшка, старымъ-то костямъ, коли до мѣста доберутся: сколь ни сидѣль-бы—не ропчу. „Зачѣмъ пошелъ, то и нашель“, на міру-то говорятъ. Кабы путныя рѣчи говорилъ, такъ не посадили-бы; ну, а коли задумалъ подѣ старость околесную нести, такъ ужь, сколь-бы терпка ни была путинка-то, оглядываться не слѣдъ!

— Какую-же ты околесную-то несъ, а?

— Вѣдь тебѣ ужь, чай, отписали, батюшка; не даромъ-же поди пріѣхалъ; въ бумагѣ-то сказано, поди, такъ чего-жъ ты пытаешь меня? спросилъ онъ.

— Въ бумагѣ не сказано, что ты околесипу несъ.

— А-а!.. Не домолвились вѣрно!.. съ ироніей произнесъ онъ.—Чего-же тебѣ писали-то обо мнѣ? Скажи, коли милость будетъ...

— Писали, что ты народъ смущаешь пророчествами.

— Вишь какое дѣло затѣялъ старый грѣховодникъ, а! насмѣшливо произнесъ онъ, точно будто относясь къ какому-нибудь постороннему лицу.—А чѣмъ-же сомущаю я народъ-то,—писали аль нѣтъ? спросилъ онъ послѣ непродолжительнаго молчанія.

— Говоришь, напримѣръ, что скоро міру конецъ...

— Наткось, поди! тѣмъ-же тономъ произнесъ онъ.—А пишутъ аль нѣтъ, за што. Господь-то у нихъ отвѣта спросить при сокрушеннѣ-то міра, а?

— Нѣтъ.

— Забыли вишь, а а?! Ну, коли они запомнили, такъ я потружусь—доложу твоей милости, за што ихъ рано иль поздно найдеть Господь.

— За что-же?

— За то, што утопи въ грѣхѣ выше волоса на головѣ,



што ни правды, ни совѣсти ни въ комъ нѣтъ, — вотъ за што, батюшка, найдеть ихъ Господь своимъ гнѣвомъ! серьезнымъ и слегка даже дрогнувшимъ голосомъ отвѣтилъ онъ.

— Ужь будто ни въ комъ? прервалъ я.

— Ни въ комъ!.. Мужикъ ее пропалъ, чиновникъ-то продалъ, — батюшка, не гнѣвись за это слово мое, — а у кушца и сыскаони ее не водилось!.. Бога-то всѣ забыли, а святое имя его только въ лживую рѣчь безъ пути суютъ. Глянь ты теперь на собаку: тварь, а и та, коли корку хлѣба стащить у тебя, то совѣсть у ней зазреть, — и хвостомъ-то она виляетъ передъ тобой, и глаза-то отводитъ отъ тебя, словно вотъ стыдно ей въ глаза-то тебѣ глядѣть... А человекъ-то, батюшка, послѣдній кусокъ у тебя урветъ, да тебѣ-же въ глаза смѣется, тебя-же дуракомъ обзоветъ; што въ обманъ дался. Такъ гдѣ-же она совѣсть-то? Укажи!

— Ты это только и говорилъ крестьянамъ?

— Говорилъ, уличалъ ихъ, ну и не понравилось, — правда то вѣдь глаза колеть... Вотъ и описали, што бунтовщикъ!

— А въ чемъ-же уличалъ ты ихъ?

— Въ непорядкахъ, — въ чемъ болѣе-то уличишь нашего брата?.. Оглядись только кругомъ, во тьмѣ-то нашей, такъ позабудешь и про Божій свѣтъ, и возлюбишь тьму-то, цаче дня и солнца...

— Ты грамотный? спросилъ я, удивленный складомъ его рѣчи.

— Нѣтъ, не умудрилъ Господь, батюшка, а любилъ вотъ съ измалства любилъ, родимый, о Божьемъ словѣ рѣчи вести. Не праздно оно, это слово-то!.. Скажи ты мнѣ, коли ты добрый человекъ, не погнушайся: есть Богъ у насъ аль нѣтъ?.. неожиданно спросилъ онъ.

— Конечно, есть! отвѣтилъ я.

— Есть? стало-быть, если Господь чего заповѣдалъ намъ, должны мы исполнять Его слово аль нѣтъ? пытливо посмотрѣвъ на меня, спросилъ онъ.

— Должны..

— Пошто-жь мы не исполняемъ этого, а? Пошто мы вту-не-то слово Его покидаемъ, а? Вотъ Богъ-то заповѣдалъ намъ: не воруй, не блуди, не желай другу худа, а чего мы только не дѣлаемъ? Неужь это порядокъ, а?

— Ну, конечно, не порядокъ.

— И всё, кого ты не возьми, презрѣли Его заповѣды? Ну, по-Божьи-ли мы живемъ, скажи?.. Коли ты видишь, къ примѣру, што слѣпъ человекъ, заблудился, по Божьи-ли ты сдѣланы, коли поможешь ему на путину выйти, а?

— По-Божьи всякій обязанъ помочь ближнему.

— По-Божьи, стало-быть, сдѣлаетъ онъ, коли правый путь ему укажетъ, а? продолжалъ старикъ, все такъ-же пытливо глядя на меня.

— По-Божьи.

— Такъ по што-же, батюшка, экого-то человекъ, што путь слѣпому указываетъ, въ смутьяны-то производить, въ узы-то заточаютъ? Скажи ты мнѣ, коли ты праведный человекъ! Ну, вотъ я повиненъ въ этомъ грѣхѣ, — суди-же меня! и глаза старика засвѣтились при этомъ такимъ теплымъ, мягкимъ свѣтомъ, что мнѣ невольно пришло на мысль въ ту минуту, что, по всей вѣроятности, глаза апостоловъ и первыхъ мучениковъ имѣли именно подобное выраженіе, когда они отставали передъ своими гонителями высокіе догматы правды и любви къ ближнему.—Пошто ты, батюшка, крестьянъ-то нашихъ допытывалъ,—чего я говорилъ имъ, скажи ты мнѣ? неожиданно спросилъ онъ.—Неужь ты думалъ—я запыраться буду да таиться, а? Нѣтъ, родимый, не отопрусь! Мужики-то наши не скажутъ тебѣ правды, а я скажу.

— Отчего-же ты думаешь, что мужики не скажутъ? спросилъ я.

— Опасливы!.. Всякій свою шкуру бережетъ, а мнѣ ужь беречь ее, батюшка, не приводится,—изношена? насмѣшливо

произнесъ онъ.— Не долготъ мой вѣкъ; коли и приведетъ Богъ постраждить-то, не возропщу!

— Да за что-же ты постраждить-то собираешься, а?

— За правду, батюшка; за Божью-то правду вѣдь болѣ; чѣмъ за зло, люди-то терпятъ, тихо отвѣтилъ онъ.— Ну, я и положилъ въ умѣ: коли доведеть Богъ крестъ нести, не убоюсь и всякому скажу ее, какимъ хошь судомъ суди, не убоюсь!.. Не смущаю я народъ, родимый, а про Божье слово говорилъ ему; завязъ онъ въ грѣхѣ, што въ тинѣ, Божье слово и крестъ въ винѣ утопилъ! Ну, какъ ты его не попрекнешь въ этомъ?

— Какъ въ винѣ утопилъ?

— Утопилъ!.. Пагуба— вино это крещеному міру, пагуба, родимый! За вино онъ тебѣ всякую присягу приметъ, виноватаго оправить и невиннаго загубить!.. Сѣдой ужъ я чело-вѣкъ, не къ лѣтамъ мнѣ, батюшка, лукавить, не къ лѣтамъ и правду таить! Опиши-ка вотъ въ бумагѣ-то своей, пошто имъ попустили за быка-то фальшивую присягу принять...

— Кто-же попустилъ?

— Начальство!

— Какъ-такъ, расскажи...

— Изволь, пошто не сказать!.. Вишь, родимый, людская-то правда какова: я вотъ бунтовщикъ, народъ смущаю, а пошто они не написали, чѣмъ я смущаю народъ-то, какими дѣлами? Не они-ли больше смущаютъ его своими неправдами, а?

— Кто-же это они, старикъ,—растолкуй мнѣ.

— Кто они-то? переспросилъ онъ.— Долго батюшка, сказывать. Послушай лучше, какую я тѣ притчу скажу, уклончиво отвѣтилъ онъ: жизнь-то мужичья што плетнемъ огорожена,—потревожь ты одно только звенышко, качни его, такъ и весь плетень повалится; такъ и это дѣло. Съ мужика, родимый, не великъ-бы спросъ, темень онъ. А большой, батюшка, грѣхъ — кто блюдетъ его, да неправду изъ выгоды попускаетъ, бо-о-ольшой тому отвѣтъ передъ Богомъ! А што

правду-ль я говорю, — суди: живетъ у насъ здѣсь хрестьянинъ Посылинъ, Федоръ Иванычъ; голова-то нашъ племянникомъ ему по матери приводится; такъ сынокъ, слышь, у него, у Федора-то Иваныча, есть, — Севастьянъ Федорычъ, такой-то не-путевый человекъ, што суди его Богъ, а не я! Ну, вотъ и поѣхалъ онъ однова въ городъ на базаръ, Севастьянъ-то Федорычъ этотъ, — поѣхалъ-то пустымъ порожнемъ, а вернулся-то съ прибылью, ни мало ни мене какъ быка въ поводу привелъ. Ну, а въ деревнѣ, чего говорить, и самъ поди знашь, што не только-што живность, а сколь и волосъ-то у каждаго на головѣ, на перечетъ знаютъ. Ну, мужики-то и спрашиваютъ его, Севастьяна-то: „гдѣ Богъ эту животину послалъ?“ Купилъ, говорить, на племя, за семь рублей!.. Ну, купилъ, такъ что-жъ, давай Богъ болѣ. Ладно! Живетъ бычекъ у новаго хозяина да кормъ жуеетъ. Только деньковъ черезъ пять, тебѣ, время и найди къ намъ слѣдствіе: мѣщанинъ изъ городу, у котораго Севастьянъ-то, стало-быть, на повѣрку-то вышло, быка угналъ, со свидѣтелями, што быкъ этотъ точно его и съ явкой отъ полиціи, што быкъ этотъ въ заболѣ у него угнанъ. Засѣдатель-то нашъ наѣхалъ, и пошолъ спросъ да допросъ. Видитъ Федоръ-то Иванычъ, што сынку-то неминуче дѣло подошло, и давай изъ бѣды его выкручивать! Сколь, слышь, вина-то обществу выполлъ, чтобы доказали подъ крестнымъ цѣлованіемъ, што быкъ-то этотъ его будто, Федора, што онъ велѣлъ сыну въ городу его продать, а тотъ-де непродалъ, да назадъ привелъ... И засѣдателю-то двадцать рублей пожертвовалъ, штобы сына-то его отстаивалъ. Ну, общество и показало подъ присягой, что быкъ этотъ Федора, что родился и выросъ на его дворѣ, и крестъ цѣловали и евангеліе.

— И ты цѣловалъ? спросилъ я.

— Ослобонилъ Богъ, не мѣшался я въ это дѣло, батюшка, сторонился отъ нихъ, не кори меня этимъ словомъ, обидчиво отвѣтилъ онъ.

— Отчего-же ты, видя, что крестьяне поступают несправедливо, не остановил их тогда-же, а?

— Останови-ка пьянаго-то, испробуй; аль бить не былъ?

— Ну, чиновнику-бы заявилъ.

— Заявлялъ, батюшка, насунулся-было да и не радъ сталъ..

— Отчего?

— Искровянилъ онъ меня, думалъ и скулу-то мнѣ своротить. Вотъ запиши-ко въ бумагъ-то своей, чего за правду-то съ нашимъ братомъ дѣють! Я-жъ хотѣлъ отъ грѣха людей ослобонить, да я-же и въ доказатели попалъ: со вздохомъ произнесъ онъ.—О-хъ, кормилецъ, душой и тѣломъ ужъ мы за правду-то становили, не навязать... видели гоненья-то этого, ви-да-ли!

— Отъ кого-же гоненье ты видѣлъ?

— Отъ кого? повторилъ онъ усмѣхнувшись.—Лихо замараться человѣку-то, родимый, а ужъ разъ на немъ есть пятнышко, такъ ужъ кому-бы про чего ты не говорилъ, ему все кажется, что ты въ его пятно мѣтишь. Ну, и не любь... Молчи, потакай всякому, и всѣмъ ты милъ на свѣтѣ будешь; а скажи только правду, то хуже тебя не будетъ лиходѣя и ворога! За што меня теперь утѣснили, за какія провинны въ тюрьмѣ-то хуже разбойника держали,—хошь-ли ты знать это, а?

— Мнѣ даже слѣдуетъ это знать, говори...

— За то, вишь, батюшка, што не въ добрый часъ спросилъ у Ивана Афанасьича, куда онъ дѣвалъ деньги, што собиралъ съ мужиковъ на царскую одежду! Есть-ли у тебя это, въ бумагъ-то, прописано-ль?

— Нѣтъ.

— А-а, чего ни хвати, вѣрно все нѣтъ да нѣтъ, все не вписано!..

— А какія-же деньги онъ на царскую одежду собиралъ? прервалъ я, заинтересованный подобнымъ открытіемъ, въ то время составлявшимъ для меня еще новость.

— А вотъ и слушай, батюшка, какъ войлоки-то съ нашего

брата валяютъ! Дѣлу этому ужъ годовъ шесть теперь время будетъ. Объявили намъ одна, што пришелъ будто въ волость указъ изъ царской конторы: собрать по двадцати копѣекъ съ души на царскую одежду, што Царю-де одежду-то черезъ сто годовъ шьютъ, ну такъ, вишь, будто время пришло новую шить изъ самоцѣннаго золота... Ну, и платили...

— И никто изъ васъ не спросилъ, законно-ли это, а?

— Мужикъ-бы тебѣ спросилъ! Э-эхъ, батюшко, видать далеко ишло то времячко, когда мужикъ тебя пытать начнетъ, чего съ него по закону просять, а чего сверхъ закона! Ты погляди теперь, сколь съ насъ этихъ поборовъ идетъ—и не сочтешь: подушной-то съ оброкомъ съ тебя по раскладкѣ-то семь аль восемь рублевъ на душу придется, а ты пятнадцать аль двадцать рублевъ съ души тяготы-то несешь, и все, чай, болѣе на чужіе карманы... А про плакаты упомянуто, што я плакатами его попрекнулъ? спросилъ онъ.

— Нѣтъ.

— Ну, вотъ и на плакаты тоже сколь мѣръ денегъ передавалъ, стра-астъ!

— А что это такое плакаты?

— Богъ его вѣдаетъ, батюшка; мы такъ и не видывали какіе они! Говорили тогда, што плакаты выходятъ, што законы экіе пишутъ—плакатомъ зовутъ; што у кого-де будетъ плакать въ рукахъ, такъ ужъ того безъ причины не могли шевелить... Ну, и платили! Лестно было всякому законъ-то экой имѣть. Вишь вѣдь, сторонущка-то у насъ дикая, до закону-то не скоро доберешься въ ней; ну, мужики-то и полагали, што ужъ коли законъ-то будетъ въ рукѣ у тебя, такъ ужъ житье-то особенное пойдетъ, не въ примѣръ. Опосля только спохватились, што подвохъ это былъ одинъ! Ну, да чего-жъ... помотали, помотали головой да и плюнули: сколь, молъ, собаку ни корми — все голодна! Чего-жъ это, стало-быть, писали-то тебѣ про меня, родимый, скажи мнѣ, коли того ты не знаешь да другого не вѣдаешь? спросилъ онъ.

— Писали, что будто-бы ты ангела видѣлъ...

— А-а, написали-же! Я думалъ, што и этого ужь нѣтъ у тебя. Видѣлъ, родимый, видѣлъ; было мнѣ это видѣніе, удостоился, и гласъ былъ! утвердительно качая головой, произнесъ онъ.

— Какой-же гласъ-то былъ тебѣ?

— Ужаси подобный, родимый, не человѣческой гласъ! Вижу, летить это по небу сила-то небесная, гляжу я на нее и не вѣрю глазамъ-то... и вся-то она въ полымѣ была, вся-то блестомъ блестить. „Горе, говорить, будетъ живущимъ на землѣ, кто Бога и правду забылъ!.. Смету, говорить, съ лица земного и судей неправедныхъ, и лиходѣевъ, и блудъ творящихъ!“... А сама-то это такъ и мететь, такъ и мете-е-еть, кормилецъ.

— А чѣмъ-же мела-то?

— Метлой огневой, метлой, словно какъ-бы снопомъ!

— Какой-же изъ себя-то былъ ангель-то, Расскажи мнѣ толкомъ...

— Огневой, говорю тебѣ; ужасъ была глядѣть-то!

— А не померещилось-ли тебѣ, старикъ?

— Не грѣши, родимый; старъ ужь я экія шутки шутить, старъ! укоризненно произнесъ онъ, качая головой.—Я вина-то и отъ роду почестъ въ ротъ не бралъ, — съ чего-бы мнѣ мерещиться-то стало? Шестьдесятъ-семь годовъ ужь мнѣ, родной,—стать-ли грѣшнить-то на склонѣ лѣтъ, и себя-то и людей морочить? Видѣлъ, батюшка; видѣніе это было мнѣ грѣшному, удостоился! произнесъ онъ глубоко-убѣжденнымъ тономъ, и въ сѣрыхъ серьезныхъ глазахъ его отражалось столько искренности и прямодушія, что нечего было и думать разубѣждать его. Онъ вѣрилъ, вѣрилъ искренно въ свою галлюцинацію, такъ могъ-ли кто поколебать въ немъ эту вѣру, составлявшую для него въ скорбной страдальческой жизни, можетъ-быть, единственную отраду и единственный источникъ, въ которомъ онъ черпалъ нравственную опору для себя.—Не шель я пророчить, родимый снова началъ онъ послѣ минутнаго молчанія,

я свою только душу да совѣсть блюлъ; а коли стали вынуждать меня—не смолчалъ и накликалъ, вишь, бѣду на себя! произнесъ онъ.

— Кто-же вынуждалъ тебя, старикъ?

— Міряне на смѣшки все поднимали, батюшка. Все говорили вишь, что умъ у меня пошатывало. Ну, я и сталъ имъ говорить, што отъ вашихъ дѣловъ непотребныхъ хошь какой умъ пошатнется! А какъ заговорилъ про дѣла-то ихъ, такъ и не любо стало,—къ попу повели.

— Къ попу-то зачѣмъ-же водили тебя?

— Увѣщать... въ обманѣ уличить хотѣли! Тотъ на меня накинулся... Да мало-ль грѣха-то родимый, было со-мною, э-э-э! протянулъ онъ, махнувъ рукой... Ну тутъ и порѣшили меня въ волость посадить.

— Кто-же порѣшили-то?

— Писарь, голова—Иванъ Афанасьичъ... вѣдь цѣлое слѣдствие, сердешный, о ту пору надо-мною-то было, судили!

— Какъ судили?... Какое-же имѣли право судить тебя?

— Міромъ судили! Сначала-то присудили-было постегать, да вишь—изъ лѣтъ-то выпелъ... Голова заступился, ну и рѣшили въ волость запереть да описать начальству, пушпай-де за бунтъ судять, потому онъ начальство корилъ.

— А ты точно корилъ начальство?

— Корилъ, не такъсь!

— Чѣмъ-же?

— Неправдами ихними, непотребствомъ, чего таить-то, батюшка! Ну, снимай съ меня голову, суди! Похвалишь развѣ, штоль, коли вышняго чина люди, замѣсто того, чтобъ мужика научить по закону жить да правду блюсти, въ явѣ торгуютъ ей! Какой ты ни будь мошенникъ, какой ты ни будь воръ, да коли ты денежный человекъ, то за все сухъ изъ воды выйдешь... Чегоже, милый, вѣдь глазъ-то не завяжешь у людей; всё это видятъ да только молчать... а вѣдь молчать, молчать, да придетъ пора и взворчать. А отъ кого теперь на міру



«Блудъ идетъ, скажи-ка?» спросилъ онъ, замѣтно все болѣе и болѣе воодушевляясь:

— Ты больше меня знаешь, старикъ, — ты и скажи мнѣ, отъ кого...

— Отъ нихъ, батюшка, отъ вышняго чина людей, знай! Ты гляди, чего у насъ дѣется: своль этихъ дѣвокъ, честныхъ отцовъ дочерей, на блудную-то дорожку вывели... Развѣ не болить сердце-то, а? Мужикъ — мужикъ, батюшко, и темный человекъ, да вѣдь душа-то въ немъ есть, какъ и у всякаго другого человека: тоже о дѣтицѣ-то своемъ болить-поди. Гдѣ подарочкомъ да ушеченіями, а гдѣ и силкомъ берутъ... Ну, статья это, ты вотъ чего скажи мнѣ, батюшка, осуди — путно адь нѣтъ говорю я. Вотъ въ деревнѣ Куземиной крестьянинъ есть, Пудъ Власычъ Жабинъ; дочка у него была неповинная грѣху, ну и сманили ее къ исправнику, сманили! Ну, извѣстно, дите испо было, — какой у дѣвки разумъ? На перстенекъ, можетъ, позарилась, а грѣхъ-то и не пройди ей даромъ: увидѣла какъ она, што животь-то лунить стало, спужалась да и сунула голову-то въ петлю.

— Удавилась?

— Захлестнулась сразу!.. Ну, чего-жь? Отець-то поплакалъ, поплакалъ, хотѣлъ-было съ жалобой кинуться да уняли его: одно дѣло пугащали, а вторичальная причина — пятьдесятъ рублей ему исправникъ-то выдалъ... Ну, и взялъ онъ, — чего достигъ? Судомъ-то развѣ возьмешь чего? Самого же мужика-то и обвинили-бы поди: Што-жь по пути это дѣють, батюшка, адь нѣтъ? По пути это дѣяли, штоль: какъ найдеть, бывало, исправникъ-то, а притонъ-то онъ за все имѣлъ у Ивана Афанасыча, такъ, первымъ это дѣломъ было, нагонять ему бабъ да дѣвокъ, — утѣшай его милость плясомъ да пѣснями, да хоровамъ... Виномъ это хопъ захлестнись, перепоятъ всѣхъ и доведуть хоровадь-то въ натуральномъ видѣ. Вотъ и гляди-поглядывай честной миръ: Учись у вышняго чина людей уму да разуму, какъ на свѣтѣ жить! А разинулъ коли

ты ротъ, заикнулся только и—бутовщикъ вышелъ, цѣпей-то да каторги насулятъ, што и жизни не радъ станешь. Такъ гдѣ-же, родимый, отколь просвѣту-то ждать намъ?.. Научи! произнесъ онъ и, глубоко вздохнувъ, сложилъ на груди руки какъ-бы въ ожиданіи моего отвѣта.

Но что-же я могъ сказать старику въ отвѣтъ на подобный вопросъ его?

Освободивъ Зажору изъ подъ ареста, я вытребовалъ въ Клушино волостного голову, писаря и обязалъ не отлучаться изъ деревни Ивана Афанасьевича Степного, обвиняемаго Зажорой въ незаконныхъ поборахъ во время служенія его хозяйственнымъ засѣдателемъ въ волости. Въ сущности, мнѣ поручено было произвести только дознаніе, — не заключается-ли въ пророчествахъ Зажоры чего либо противозаконнаго. И такъ-какъ ничего противозаконнаго, по отзыву спрошенныхъ мною крестьянъ, въ словахъ и дѣйствіяхъ его не находилось, и если онъ дозволилъ себѣ укоризненно относиться къ некоторымъ дѣйствіямъ земскихъ властей, то укоризны эти, ни коимъ родомъ не нарушая чувства справедливости, не могли быть поставлены ему въ вину, потому-что были только слабой иллюстраціей той дѣйствительности, которая существуетъ въ Сибири въ невѣроятно грандіозныхъ размѣрахъ, то я могъ-бы ограничиться только произведеннымъ мною дознаніемъ и тѣмъ покончить это дѣло. Но въ то время я былъ еще молодъ и смотрѣлъ на службу какъ вообще смотрѣли на нее многіе идеалисты шестидесятыхъ годовъ. Эти люди не ограничивались однимъ только формальнымъ исполненіемъ предписаній. Они смотрѣли на службу не какъ на средство существованія. Принявъ на себя служебную миссію, они стремились приносить народу осязательную пользу, изучать его нужды, защищать его интересы, преслѣдовать всѣми зависящими отъ нихъ средствами зло, разъѣдающее жизнь народа, и по возможности указывать

на тѣ средства, которыя вѣрнѣе всего-бы могли уврачовать язву, скопившіяся вѣками на его организмѣ. Большинство этихъ людей, столкнувшись съ неодолимыми препятствіями, потерпѣли полное разочарованіе, и многіе изъ нихъ, обвиненные въ политической неблагонадежности единственно потому, что не брали взятокъ и мѣшали брать ихъ другимъ, покинули навсегда служебное поприще.

Существованіе темныхъ поборовъ, производимыхъ съ народа различными способами, теперь уже ни для кого не составляетъ секрета. Съ перваго-же дня моего служебнаго поприща, меня поразило это зло, тяготящее надъ народомъ, зло во многомъ неуловимое и съ трудомъ поддающееся самому зоркому контролю. Воспользовавшись показаніемъ Зажоры, я снова спросилъ крестьянъ деревни Клушиной, дѣйствительно-ли собирали съ нихъ деньги на шитье царской одежды и на плакаты. И снова мнѣ пришлось убѣдиться въ той горькой истинѣ, что лицо, облеченное властью, никогда не узнаетъ отъ народа правды. Я не разъ задавалъ себѣ вопросъ: почему это? Почему крестьянинъ, обладающій замѣчательной наблюдательностью, способный сразу увидѣть, что человекъ, задающій ему подобные вопросы, руководится добрымъ желаніемъ принести ему-же пользу, оградить на будущее время его интересы, — никогда не откроетъ истины? Одинъ на одинъ, въ пріятельской бесѣдѣ за чайкомъ, онъ расскажетъ вамъ такіе факты, отъ которыхъ буквально волосъ становится дыбомъ, но попробуйте придать этимъ заявленіямъ его не господственный характеръ, и онъ тутъ-же, въ вашихъ глазахъ, беззастѣнчиво отопрется отъ своихъ словъ. Почему?.. Въ отвѣтъ на этотъ вопросъ я приведу слова старика Якова Сысолова изъ деревни Кокуй, Тарсминской волости, Кузнецкаго округа, Томской губерніи, который, во время производства мною слѣдствія по убійству, видя всѣ мои старанія открыть убійцу тщетными, пешнулъ мнѣ на ухо, когда сидѣлъ со мной одинъ на одинъ: „не ищи лучше, батюшка:

ничего ты не найдешь! У насъ всё знаютъ, кто убилъ, да никто тебѣ не скажетъ!“

— Да почему-же не скажутъ,—объясни ты мнѣ ради Бога? спросилъ я, пораженный его словами.

— Э-эхъ! словно ты малое дитя, родимый, погляжу я! улыбнувшись, отвѣчалъ старикъ Сысоловъ и покачалъ головой.—Ну, посуди самъ: сегодня ты здѣсь, а завтра уѣдешь да и былъ таковъ, а вѣдь намъ-то здѣсь жить доводится. Кому-же любо грѣхъ-то на себя накликать? Вѣдь тѣ-то, кого грѣхъ-то въ этомъ дѣлѣ попуталъ,—богатые, властные люди, чиновники-то съ ними за панибрата живутъ, а мы-то што? Любой изъ нихъ дунеть только—и нѣтъ тебя. Вѣдь кабы, батюшка, вашъ-то братъ, чиновникъ-то, всё-бы на одинъ покрой были, такъ оно што-бы правду-то тайтъ, для чего? Резону нѣтъ! А то, вишь, вѣдь на тыщу-то чиновъ развѣ одинъ только добродѣтельный выищется, да и тотъ, родимый, недолговѣшнень въ нашихъ мѣстахъ. Приѣхалъ сегодня, повернулся, а тамъ, гляди, ужъ и нѣтъ его...

Неужели найдутся скептики, что не увидятъ въ этихъ словахъ старика Сысолова выстраданной народомъ мудрости?

Какъ и слѣдовало ожидать, на заданные мною вопросы, и волостной голова, дослуживавшій третью трехлѣтне, и писарь, чуть-ли не выросшій въ этой волости, и Иванъ Афанасьевичъ, почтенный, представительный старичекъ, въ манерѣ обращенія котораго и въ способѣ выраженія, проглядывала большая опытность въ сношеніяхъ „съ образованными людьми“,—отвѣчали, что ничего подобнаго съ искони не бывало у нихъ, что Зажора совсѣмъ негодный человекъ, который и самъ-то запутался да и другихъ только зря путаетъ. При этомъ, какъ водится у подобныхъ людей, Иванъ Афанасьевичъ тотчасъ-же съумѣлъ къ слову предувѣдомить меня, что его всякое начальство знаетъ даже очень хорошо и „завсегда къ нему было расположено въ самомъ лучшемъ видѣ“...

Болѣе изъ любопытства, чѣмъ для достиженія своей цѣли,

я потребовалъ Зажору, для дачи ему очной ставки съ Иваномъ Афанасьевичемъ, головой и писаремъ, призвавъ при этомъ въ свидѣтели нѣскольکو человекъ крестьянъ. Войдя въ избу, старикъ Зажора нисколько не смутился, увидя людей, отъ которыхъ, по выраженію его, онъ терпѣлъ гонекія. Помолвившись на икону и поклонившись мнѣ, онъ съ самымъ незлобивымъ видомъ поклонился и Ивану Афанасьевичу, и голове, и писарю.

— Ну вотъ, старикъ, началъ я, обратившись къ нему, — я спрашивалъ и крестьянъ вашей деревни, и голову, и писаря, и Степнова, правда-ли, что они собирали деньги на шитье парекоѣ одежды и на плакаты, но они говорятъ, что ты лжешь, что ничего подобнаго никогда не было, что если-бы были подобныя поборы, то были-бы и мірскіе приговоры, такъ-какъ ни одна копейка не можетъ-быть взята съ крестьянъ безъ мірскаго ихъ приговора!

— А-а-а! протянулъ онъ, и на губахъ его, чуть-ли не въ первый разъ съ тѣхъ поръ, какъ я увидѣлъ его, мелькнула улыбка. — Наужь всѣ отперлись? спросилъ онъ.

— Всѣ... Я затѣмъ тебя и мовалъ, чтобъ ты уличилъ ихъ, доказалъ имъ, что все, что ты ни говорилъ про нихъ — правда; докажи имъ!

— Это имъ-то доказать? спросилъ онъ, ткнувъ пальцемъ по направленію къ голове, писарю и Степнову.

— Ну да, имъ...

— Не докажешь, батюшка! и онъ махнулъ рукой.

— Почему-же?

— Кабы совѣсть у людей была, такъ куда-бы исцо ни шло, межир-бы потрудиться побудить ее, а ужь у нихъ про совѣсть-то, родимый, давно слыху не слыхать; чай и мѣсто-то, гдѣ лежала она, мохомъ заросло. Правду аль нѣтъ говорю я, Иванъ Афанасьевичъ? спросилъ онъ, впирились въ него своими сѣрыми, ясными глазами.

— Говори, говори, слушаемъ!.. Порожь! отвѣтилъ, тотъ, не глядя на него.

— Ну, братъ; Иванъ Афанасьевичъ! Одно я тебѣ скажу, сердешный старичекъ, што заплаточки-то изъ пороку тебѣ ужъ и нашивать некуда: весь ты ими увѣшанъ съ головы до ногъ не гнѣвие!.. Глянь-ко ты мнѣ въ глаза-то...

— Нѣшто не видывали тебя?

— Да гля-я-янь, не укушу вѣдь!

— У тебя и зубовъ-то нѣтъ, да кусаешь-то больно, нечего добро-то говорить про тебя, спасенный человекъ! отвѣтилъ Иванъ Афанасьевичъ, искоса, съ презрѣніемъ посмотрѣвъ на него.—Ишь вѣдь, ты самъ людей во всемѣ укоряешь; о Божьемъ словѣ да заповѣди языкъ-то чешешь, а путное-ли ты дѣло затѣялъ теперь: вводишь напраслины и на мѣръ, и на людей, что въ трижды чище тебя?

— Не ты-ль это чище-то меня?

— Не возьму я вниманія урекаться-то съ тобой, знай!

— О-о!.. Ну чего-же подѣлаешь... извѣстно, ты вышнего званія человекъ, гдѣ-жъ намъ съ тобой равняться! Ты вонъ въ суконномъ халатѣ ходишь, да чиновникамъ бабъ и дѣвокъводишь,—исшобъ не почетный человекъ!..

— А ты помолчи лучше, Анисямъ Матвѣичъ, ой, помолчи!.. Не ровень часъ—худое-то слово про начальство сказать.

— Аль, думаешь, отвѣта боюсь?

— Не опасливый, чего говорить, знаемъ!

— Охъ, Господи, Господи! Што этого уреканья-то межъ людьми; и неслушалъ-бы! вздохнувъ, произнесъ голова и провель ладонью правой руки по усамъ и бородѣ.

Писарь стоялъ молча, относясь, повидимому, совершенно безучастно къ происходящему. Крестьяне-свидѣтели молча сидѣли на лавкахъ, понуривъ головы и избѣгая, повидимому, глядѣть и на Ивана Афанасьевича, и на Зажору.

— Што-жъ вы, общественники, обратился вдругъ Зажора къ крестьянамъ свидѣтелямъ,—сидите словно васъ морозомъ пришибло? Въ избѣ-то вѣдь тепло; промолвите словечко, скажите его милости: аль не правду я говорю, што съ насъ сби-

раки денеги на царскую одежду да на плакаты? Алё Иванъ Афанасьичъ не спустиль въ карманъ нѣрскихъ денежкаль, а, ижъ еписъ вышля, не перевель все скотинку къ писарю? Не грѣхъ-ли вамъ, други, глазами-то половини считатьъ, а-а? Очнитось, живые вы люди аль нѣтъ?

— Говори, ишь, всё, чего ему хочеться... хе... криви совѣстью, а? проишесь, усмѣкнувшись, Иванъ Афанасьевичъ, посмотрѣвъ и на голову, и на писаря, который улыбулся при этомъ; а голова покачалъ головой и глубоко вздохнулъ.

— Што-жь, отвѣйте ему, братцы, чего ни на есть! проишесь Иванъ Афанасьевичъ, обратившись къ крестьянамъ-свидѣтелямъ. — Я тутъ стою, — обмывайте!

— Чего ужъ теперь проишнее переворачивать, Иванъ Афанасьичъ! Было время, трясли, трясли его, да ничево не вытрясли! со вздохомъ отвѣтилъ одинъ изъ свидѣтелей, пожилой уже крестьянинъ. — А только надо-бы сказать, что совомъ занарасно Анисима-то Матвѣича подъ слѣдствіе подвеши, да въ волоку-то содержали: ничего худого-то не было отъ него... Што болталъ будто, да мало-ли кто чего болтаеть на міру, и пиши про всёхъ?

— Значеть, по-твоему, на него напрасно донесли? спро-силъ я.

— Заннапрасно, баяюшка, чете ужъ такъ теперь...

— Отчего-же вы не вступились за него, если знали, что его напрасно обвиняють, а?

— Темные мы люди коршалець; можетъ, и законъ такъ велеть... какъ ты впутаешься-то? отвѣчалъ уже другой свидѣ-тель. — Нане-ли это дѣло?

— Ты писалъ донесеніе? спросилъ я писаря.

— Я-съ!

— Ты самъ производилъ дознание?

— Никакъ нѣтъ... Голова приказалъ, бойко отвѣтилъ онъ.

— Слажки-ко лучше — тещышка! вышлался вдругъ Валера, обратившись къ писарю. — Всё-то вы грибки изъ одного кузова.

„Голова“!.. Вотъ онъ голова-то стоять... только мѣсто топчуть да печатъ водить. Скажи на свою голову прилежить печатъ, — сейчасъ приложить. Ты все съ тестюшкомъ дѣло-то вертишь, знаешь, а какъ отвѣтъ спросить и за спину головы прятаться. Онъ все, твоя милость, писалъ это!.. Донесами-то застраивалъ всѣхъ тутъ, чтобъ глазу и обществу и начальству отводить, что, видишь, до перадохъ блуду. А вотъ равняль-бы ты ихъ съ тестемъ-то, такъ гляди-бы какъ кафтаны не только не швамъ, а и по цѣлому мѣсту, перотья попили, бы у нихъ. Созмайся, што фитоку-то заднимъ числомъ поддѣлать, какъ опись-то тество пришла! Ну-ка, говори, сколько ведеръ вина-то обществу выполли, што бь крестнымъ-то цѣлованьемъ закрѣпили рукоблудство ваше, а-а?

Писарь стоялъ красный, какъ ралъ, но мужественно глядѣлъ на меня, стараясь даже не мигнуть.

— Слышишь, чего говорить про тебя? спросилъ я.

— Слышу-съ! отвѣтилъ онъ. — Я войду съ особнымъ прошеніемъ и потребую формальнаго свидѣнія, ваше благородіе, и проверки всѣхъ этихъ выводовъ, какъ касающихся моей чести.

— Не пода-а-ашь! отвѣтилъ Зажора. — Только снихни тебя съ писарей-то, такъ хвостъ-то длиннѣй версты за тобой потянется, не думай!.. Теперь-то всѣ молчатъ, потому говорить-то опасаются, а тогда вѣдь, братъ, ртовъ-то не завяжешь! И прытокъ козель да не на всякую горку всночить!.. Не пода-а-ашь! Не больно храберъ; на пажости то только мастеръ! Ну што-же, тествошна, зятенька-то не выручишь? Промолви словечко!.. Ишь онъ, сердешный, подумянился-то, словно въ банькѣ побывалъ! насмѣшливо произнесъ Зажора; обратившись къ Ивану Афанасьевичу.

— Наговоримся испро съ тобой, не ушло время-то!..

— А-а! Съ духомъ соберешься... Ну, что-жъ, подавай тебѣ Господи подспорья! Теперя колышковъ-то понадергалъ съ міра, есть чѣмъ правду-то свою подпереть!



— Это ты чего-же касательно говоришь?

— Аль не смѣнуль, разжевать надо!

— Не смѣнуль...

— Изволь, коль сухого не жуешь, размочимъ! Не думай! Иванъ Афанасьевичъ, не всегда правду-то деньгами замажешь! Можетъ, и на насъ, за наши слезы. Господь оглянется, и надъ нашимъ краемъ солнышко взойдетъ да иссушитъ всю плѣсень, што въ потемочкахъ-то наросла! пророческимъ тономъ произнесъ старикъ Загора среди всеобщаго безмолвія окружающихъ.

Представивъ но принадлежности произведенное мною дознание, я обнаружилъ всѣ выводы Загоры, но такъ-какъ они не были удостовѣрены опрошенными мною крестьянами, то, конечно, имъ не дали и надлежащаго движенія. Когда я увѣждалъ изъ Клушина, то въ избу ко мнѣ неожиданно вошелъ Загора и, помолвычисъ по обычаю въ передній уголъ, упиалъ мнѣ въ ноги.

— Заступись, заступись за меня, родимый! тихо заговорилъ онъ, когда я поднялъ его, и на глазахъ его сверкнули слезы.— Не отвѣта я боюсь: въ острогѣ-то мнѣ можетъ луччебы было, спокойнѣй, остаться-то я здѣсь боюсь!

— Чего-же ты боишься, старикъ?

— Боюся!.. Люди развѣ это, батюшка, самъ видѣлъ ихъ... О-охъ, Господи, не суди ты ихъ! произнесъ онъ, перекрестившись.— Не увѣчья я боюсь отъ нихъ, дологъ-ли вѣкъ-то мой!.. Все равно ужъ, батюшка, впереди-то могилка одна,—днемъ-ли позже аль ранѣ,—не минуешь ее! За душу, родимый, боюсь, душу утоплю среди этого содома! Отпусти ты меня, не держи!

— Куда-же тебя отпустить?

— Уйду, батюшка, уйду, куда глаза глядятъ; скороню свою душеньку отъ грѣха и соблазна, въ пустынь уйду!

— Въ какую-же пустынь?

— Обрѣту гдѣ ни на есть Божье слово, излечуся имъ и укрѣплюся!

— А хозяйство, домъ-то на кого-же оставишь?

— Што мнѣ домъ и хозяйство! Неужь они дороже души-то, милостивецъ? Пусть дѣтки владѣютъ всеѣмъ. Не участливилъ меня Господь дѣтками, батюшка, — есть у меня двѣ дочки да непутѣвыя! Слова-то мои презрели и Господь съ ими! Не сужу я ихъ; одумаются и сами, слова-то отпа попомнить... Отпусти! и онъ снова упалъ въ ноги мнѣ. — Одно у меня сокровище теперь, батюшка, осталось: душа; не попусти растратить его... Сберегу я душу, укрѣплю ее Божьимъ словомъ, и Господь не оттолкнется отъ меня сирота! и старикъ зарыдалъ, зарыдалъ, какъ дитя.

Я приказалъ выдать Зажорѣ увольнительный отъ общества видъ, въ случаѣ требованія его. Общество безпрепятственно уволило Зажору, и онъ ушелъ изъ Клушина, какъ послѣ услышалъ я, но куда, — этого никто не зналъ.



## ГОРНАЯ ИДИЛЛИЯ.

(ОЧЕРКЪ).

Красивѣе мѣстности, окружающей О—ій улусъ, мнѣ рѣдко доводилось встрѣчать, несмотря на мои частые разъѣзды въ предгорьяхъ Алтая. Улусъ, имѣющій до семидесяти дворовъ, раскинулся въ живописномъ безпорядкѣ на высокой горѣ, заросшей лѣсомъ, и по уступамъ ея. Со всѣхъ сторонъ его окружаютъ гряды горъ, постепенно возвышающихся одна надъ другою, поросшихъ густымъ чернымъ лѣсомъ, и самыя дальнія изъ этихъ грядъ, или, вѣрнѣе, волны застывшаго каменнаго моря, всегда почти покрыты синеватою дымкой. За послѣднею синѣющею чертою этихъ горъ въ лазурномъ безоблачномъ небѣ уже рѣзко вычерчиваются снѣговыя вершины Алтая. На первый взглядъ онѣ кажутся скорѣе цѣпью прихотливо клубящихся на горизонтѣ облаковъ. Я и принялъ ихъ за облака, когда, не дожидая двухъ верстъ до улуса, мы поднялись на гору, называемую Архирейскою, и передъ моими глазами раскинулась эта поразительная картина, чарующія красоты которой можно передать только кистью, а не словомъ. Я слѣзъ съ телѣги и долго не могъ оторваться отъ этого зрѣлища. Впереди тянулись гряды горъ съ прихотливыми очертаніями, а сзади раскинулась широкая долина, и разбросанныя по ней

села и деревни казались какими-то крошечными муравейниками. Долина замыкалась широкою серебристою лентою рѣки Томи, за которою снова начинались горы, и тянулись... уже Богъ вѣсть куда.

Ямщикъ, пожилой крестьянинъ, тоже слѣзъ съ облучка тельги, поправилъ сбившуюся сбрую на лошадяхъ, прикрѣпилъ ремешкомъ гайку у одного изъ колесъ, на задней оси, и остановился рядомъ со мной.

— Сколь мнѣ ни доводилось возить господъ, произнесъ онъ, — всѣ, слышь, подолгу останавливаются на этой горѣ да любятъся. А разъ это Архерей проѣзжалъ, такъ ужъ такъ-то ему понравилось тутъ, што приказалъ, слышь, коверъ разложить на землѣ-то, сѣлъ на него, да и говорить: „ставь самоваръ“...

— Бому же сказалъ онъ это? Тебѣ? спросилъ я.

— Пошто мнѣ. Своимъ прислужникамъ. Мало-ль съ нимъ тогда народу-то ѣзало: почитай на пяти повозкахъ; разгонъ-то лошадиамъ не малый былъ въ тѣ поры, пояснилъ онъ, — Ну, меня сейчасъ же это на вершкѣ отправили въ улусъ, за самоварамъ, псеудой и водой. Часа три онъ потѣлъ тутъ за чаемъ-то. Такъ съ той поры мы эту гору и зовемъ Архерейской. И чудакъ-же, слышь, былъ! Подозвалъ это меня къ себѣ и говоритъ: „Понимаешь ли, — говоритъ, — ты, сколь вы счастливые люди, а!“

— Чѣмъ, — говорю, — это, ваше степенство, участливились-то?

— А што въ этакихъ мѣстахъ, — говоритъ, — живете, пѣ, — говоритъ, — куды значить теперича ни взглянь, за все перездъ тебою Богъ... И долго, слышь, это поучалъ.

— Кого же, тебя?

— Оно ужъ должно такъ подгадать, што всѣхъ съобча!

— Чему же поучалъ-то?

— Мудрено оно, если рассказать-то тебѣ, братецъ, — а только о Богѣ все это поучалъ: и какъ оно, стало быть...

знать должно... и почему; а опосля, слышь, того... заплакаль.

— Отчего?

— Богъ его знаетъ пошто... Должно сторона своя вспомнилась ему штоль. Слезно заплакаль!.. Ну, сколь, значить, народу тутъ ни было, всё стоять это... молчать да поглядываютъ на него. Поплакаль онъ это, заплакаль, всталъ съ ковра, помоялся, слышь, на всѣ четыре стороны и въ путь... Рубь, слышь, въ тѣ поры мнѣ сверхъ прогону пожертвоваль за то, што самоваромъ-то его удовольствоваль.

За полверсты до улуса слышится шумъ горной рѣчки Кандалень, текущей водопадами по наклонному руслу; но только съ горы, при самомъ въѣздѣ въ улусъ, виднѣются пѣнящіяся волны его... Онѣ точно мечутся въ своихъ гранитныхъ оковахъ, какъ-бы силась прорвать ихъ. Высокіе, скалистые берега Кандалена то спускаются отъѣсною стѣною внизъ, то вѣсятъ своими выдавшимися вершинами надъ бездною. При взглядѣ на эти сѣрыя, поросшія мхомъ скалы становится страшно за нихъ... Достаточно, кажется, легкаго толчка, чтобъ нависшая масса пошатнулась и съ грохотомъ ринулась внизъ, увлекая при своемъ паденіи гигантскія ели, глубоко нустившія въ расщелины ихъ свои корни. Довольно крутая дорога въ гору, на которой стоитъ улусъ, вилась зигзагами. Глинистый наносный грунтъ ея былъ глубоко изрытъ весенними дождевыми потоками, обнажившими толстые сѣрые корни елей, росшихъ по уступамъ горы. Иногда, среди дороги выдавался громадный гранитный камень, преграждая путь, и его нужно было объѣзжать на крайне узкомъ пространствѣ, причемъ малѣйшій неосторожный поворотъ колеса грозилъ паденіемъ телѣги, а можетъ быть и лошадей съ этой страшной крутизны внизъ, въ пѣнящіяся волны Кандалена. Поднявшись въ гору, я пошелъ пѣшкомъ узкой просѣлкой среди сосенъ, елей и пихтъ. Усталые, взмыленные кони едва тащились сзади, плохо повинаясь и понуканіямъ ямщика, и хлопанью бича его. Черезъ полчаса

ходьбы, просѣка постепенно стала рѣдѣть, и предо мною раскинулась широкая поляна, тянувшаяся по всему протяженію горы, застроенная чистенькими одноэтажными домиками въ два и три окна, обнесеными досчатыми заборами и хозяйственными пристройками. Это и былъ О — скій улусъ, носившій только нерусское названіе, но не отличавшійся своимъ наружнымъ видомъ отъ русской деревни.

Хозяинъ квартиры, въ которой я остановился, — красивый, высокаго роста мужчина, среднихъ лѣтъ, одѣтый въ казакинъ толстаго чернаго сукна, привѣтливо встрѣтилъ меня и ввелъ въ чистую просторную комнату, бѣдно обставленную деревянными некрашенными стульями, повидимому домашней работы. Больше всего поразило меня въ убранствѣ комнаты то, что деревянный поставецъ, стоявшій въ лѣвомъ углу комнаты, вмѣсто посуды наполненъ былъ книгами. Между романами Дюма, Поля Феваля и другихъ, тутъ было нѣсколько нумеровъ, значительно уже потрепанныхъ, журнала „Современникъ“, нѣсколько разрозненныхъ томовъ сочиненій Бѣлинскаго, „Мертвыя души“ Гоголя и полное собраніе сочиненій Островскаго. Я не вѣрилъ своимъ глазамъ, чтобы въ инородческомъ улусѣ, затерянномъ въ горахъ Алтая, можно было встрѣтить „Современникъ“, сочиненія Бѣлинскаго, Гоголя и Островскаго.

Вслѣдъ за ямщикомъ, внесшимъ въ комнату мои вещи, вошла молодая женщина, весьма некрасивая собою, съ выдавшимися скулами и узенькими въ раскосъ глазами, обличавшими ея татарское происхожденіе. Накрывъ столъ чистою скатертью, она поставила на него подносъ съ чайной посудой. Вслѣдъ за нею вошелъ и самъ хозяинъ, неся самоваръ...

— Эти книги вамъ принадлежать? спросилъ я его, указавъ на поставецъ...

— Всѣ мои, сударь... за малымъ развѣ исключеніемъ, отвѣтилъ онъ...

— Вы, вѣрно, любите читать? спросилъ я, пригласивъ его сѣсть и напиться со мною чаю.

— Скука въ иную пору одолеваетъ, сударь... особливо по осени! отвѣтилъ онъ, приставивъ стулъ къ столу и развязно присаживаясь на немъ.—Ну, и считаешь... для времяпровожденія, оно все-же замѣсто развлеченія служить... Иная книга даже очень забавная...

— Вы что же, крестьянинъ?.. или...

— Мѣщанинъ-съ, прервалъ онъ меня.—Я-то, собственно, сударь, прохожу, доложить вамъ, изъ воспитанниковъ военно-сиротскаго отдѣленія... изъ кантонистовъ. По упраздненіи этихъ ротъ я, какъ не пожелавшій остаться въ военномъ вѣдомствѣ, приписался въ К—е мѣщане... Человѣкъ-то грамотный-съ... съ почеркомъ пера: я съ разу нашелъ себѣ занятіе. Съ первоначалу-то въ писаря поступилъ къ бывшему исправнику, потомъ нѣсколько лѣтъ у господъ засѣдателей въ писаряхъ служилъ... да вотъ лѣтъ десять назадъ женился. Тесть-то мой инородецъ, но ужъ създавна обрусѣвшій, принялъ меня въ домъ, а теперича и все хозяйство предоставилъ въ мое распоряженіе, и, благодаря Бога, живу-съ!..

— Чѣмъ же вы занимаетесь здѣсь, хлѣбопашествомъ?..

— Нѣ-ѣтъ-съ! Не свычное для насъ дѣло,—отвѣтилъ онъ, принимая налитый ему стаканъ чая. — Пасеку имѣю, болѣе пятидесяти колодокъ... Торгую медомъ, воскомъ, скотина водится... Окромя того-съ, въ трехъ инородческихъ волостяхъ писмоводство замѣсто писаря веду, двѣсти рублей въ годъ за это получаю: оно и ладно. Да окромя сего здѣсь живетъ бо-о-огатый инородецъ, Назаръ Степанычъ Куртегешовъ, можетъ изволили слышать когда...

— Да, слышалъ.

— Такъ я, вотъ, у него теперича всѣ счета веду, замѣсто какъ бы бухгалтера: тоже рублей сто перешакаетъ въ годъ, и колочусь... Назаръ-то Степанычъ все справлялся, когда вы придете и просилъ безпремѣнно дать знать ему...

— Зачѣмъ?

— Представиться желаетъ вамъ!.. Онъ со всѣми почестъ

господами чиновниками въ очень даже короткихъ отношеніяхъ живеть; очеьь они его уважають!..

— За что же уважають такъ его?..

— Оно, если доложить вамъ, сударь, по правдѣ, то первый всего извѣстно... за капиталъ,—съ ироніей вроньнесъ онъ, откашливаясь въ ладонь лѣвой руки. — Церковь теперича Назаръ Степанычъ построилъ здѣсь... своимъ иждивеніемъ... медаль золотую на шею получилъ. Человѣкъ съ властью...

— Съ какою же властью?

— А такъ доложу вамъ, что малозначущему субъекту и добро можетъ сдѣлать, и зло сотворить... Крупный человѣкъ—съ, при всемъ своемъ натуральномъ мевѣжествѣ, потому онъ и въ Господа Бога вѣруеть, и одновременно шайтану жертвы приносить!..

— Какъ же это такъ? Вѣдь онъ христіанинъ?..

— Такъ точно—съ. Но ежели теперича онъ захвораетъ,—а хвораетъ онъ вчастую, по приверженности своей къ запою,—то первымъ дѣломъ сейчасъ это исповѣдается и причастится у русскаго священника, а ежели это не поможетъ, то пошлетъ гонца въ тайгу за шаманомъ: „Камлай, говорить, какую шайтану жертву надоть, чтобъ передохнуть мнѣ далъ!“ Тотъ и камлаеть надъ нимъ. Они вѣдь, всѣ эти крещенные инородцы, сударь, сколь ихъ ни есть, только по званью христіане, а по естеству, какъ были язычники, такъ и остались ими. Иные изъ нихъ, вѣдь, по два раза крестятся, да и въ третій не прочь...

— Не можетъ быть!.. сказалъ я, удивленный подобнымъ открытіемъ, такъ какъ былъ вполне убѣжденъ, читая отчеты о миссіонерской дѣятельности, что насажденіе христіанства между алтайскими инородцами зиждется на твердомъ упроченіи въ средѣ ихъ основныхъ догматовъ православія.

— Извольте—вѣрьте или нѣтъ, власть-воля ваша, а это такъ точно; я даже самолично знаю нѣкоторыхъ инородцевъ,



что по первому крещенію онъ нареченъ Иваномъ, а по второму Ѳеодоромъ.

— И это открывается впоследствии?

— Въ частую-сь!...

— И не влечетъ за собой никакихъ послѣдствій двоекрещенцами?...

— Младенцы, вѣдь, они... неповинные въ пониманіи-то своемъ, сударь... чего-жь съ нихъ взять?.. Судите ихъ за это, да что же толку-то будетъ, коли онъ одно и понимаетъ, что новая вѣра въ томъ только и заключается, что его въ водѣ покупаютъ... да вмѣсто имя его Анахалія или Едзина назовутъ Иваномъ или Ѳеодоромъ. Износятъ, напримѣръ, инородецъ рубаху, зипунъ, сапоги, или шуба ему понадобится — и идетъ къ миссіонеру или какому нибудь священнику: „Крести меня, бачка, да давай рубаху и шубу; зима, говорить, подходитъ... холодно... стужа!“ Ну и крестятъ его... и получается христіанинъ.

— Отчего же въ такомъ случаѣ священники не наводятъ предварительно справокъ другъ у друга, во избѣжаніе вторичнаго крещенія?

Хозяинъ, вмѣсто отвѣта, слегка махнулъ рукой и, отвернувшись въ сторону, улыбнулся.

— Вы, должно быть, хорошо изучили здѣшній край и порядки? спросилъ я, понявъ, что онъ вѣроятно не безъ причины умолчалъ на послѣдній мой вопросъ: позвольте узнать ваше имя и отчество?...

— Никита Васильевъ Ереминъ, сударь, — произнесъ онъ, привставъ со стула и слегка откашлявшись въ ладонь лѣвой руки. — Понаглядѣлся, сударь... многое прозрѣлъ, разбѣзжая по тайгѣ съ господами чиновниками, — отвѣтилъ онъ послѣ непродолжительнаго молчанія. — Да и за это время, какъ поселился здѣсь, тоже не безъ наблюденія былъ. Любопытнаго довольно-сь... Жаль, даже очень жаль инородцевъ! Свояки, вѣдь, теперь они мнѣ доводятся по женѣ-то, съ ироніей доба-

вилъ онъ.—Хорошій они народъ, сударь, если разобрать ихъ по качествамъ ихнимъ, особливо черневые татары или теленгуты, какъ зовутъ они себя... Съ ними ежели дѣло какое вести, сударь, то записей не надо имѣть: ежели онъ взялъ у васъ копѣйку, такъ онъ въ десять лѣтъ не забудетъ своего долга, и поминать ему не надо, самъ привезетъ. Только разоренный ужь народъ... нищѣ!...

— Кѣмъ же разорены?

— Мало ли около нихъ, сударь, капиталовъ нажилось и по сю пору наживаются....

— Купцами?

— Всѣ по малости около нихъ руки-то грѣютъ, уклончиво отвѣтилъ онъ.—Иной разъ, сударь, доводится мнѣ въ городѣ бывать. Есть тамъ мнѣ знакомый учитель уѣзднаго училища, Михайло Никитичъ, можетъ не изволите ли знать... Газеты онъ мнѣ даетъ читать „Голосъ“ и „Сѣверную Почту“, ну и книжками снабжаетъ, что поновѣй... читаю ихъ. Многое иногда пишу въ нихъ, чего дѣется на бѣломъ свѣтѣ, и не смѣха ради доложу вамъ: такъ это и хочется въ ину пору всѣ эти здѣшніе порядки въ газетахъ прописать, да потомъ опосля того пораздумаешься, такъ даже стыдно станетъ отъ зятакой затѣи....

— Почему-же стыдно?...

— Кто я?... весь вспыхнувъ спросилъ онъ. — Мѣщанинъ, кантонистъ бывшій, и теперича вдругъ насмѣлюсь... въ газетахъ писать. Статочное ли дѣло... посмѣянье одно будетъ.

— Отъ кого же посмѣянiя-то вы ждете?...

— Отъ тѣхъ же господъ писателей... на смѣхъ, поди, и подымутъ... Да опять, какъ подумаешь, такъ и то сказать надоть: не приберешь съ чего начать... А ужь очень бы эти порядки наши слѣдовало пропечатать.... Совсѣмъ теперь гиблый край, сударь, становится... Вѣдь, какъ мухи, съ голоду инородцы эти мрутъ, и все потому, что ихъ обираютъ и ни отъ кого защиты имъ нѣтъ... Вѣдь теперича иной разъ,—сказать вамъ по совѣсти

нужно, — весь зѣвриный удель инородца... рублей можетъ быть на сто, на полтора, коли не болѣе... за долгъ отбирають... который онъ ужь въ десять разъ, можетъ, вынла- тиль... Не обида ли!..

— Это купцы такъ упражняются?..

— И купцы, сударь... и зажиточные крестьяне пользуются, и господа чиновники маху не даютъ.

— И тѣ отбирають даже?..

— До-чиста, случается...

— Расскажите, пожалуйста, подь какими же предлогами они отбирають ихъ...

— Я бы, сударь... того-съ... съ полнымъ бы удовольствіемъ... только-съ... началъ онъ, спохватившись о своей неосторожности, и, весь покраснѣвъ, замаялся...—Я... я... немножко того-съ... стѣсняюсь... забормоталъ онъ:—потому, сами изволите знать... человекъ я маленькій, ничтожество... Если теперича донесется до кого, что я такую хулу, поношеніе, можно сказать, кладу... долго-ль смѣть меня, раздавить какъ червя-съ... говорилъ онъ, поминутно кашляя въ руку и стыдливо потупивъ глаза.

— Вы боитесь, что я буду нескроменъ? прервалъ я, желая вывести его изъ непріятнаго положенія.

— Не то, чтобъ-съ... а болѣе для огражденія.

— Будьте спокойны: все, что вы скажете мнѣ, останется между нами... Я вамъ долженъ быть благодаренъ еще, что вы дѣлитесь со мной своими наблюденіями надъ этой мало кому извѣстной жизнью...

— Точно-съ... совсѣмъ глухая сторонушка,—прервалъ онъ, робко взглянувъ на меня, какъ бы желая провѣрить, насколько искренно мое увѣреніе о сохраненіи въ тайнѣ его разсказа:—совсѣмъ глухая-съ!.. повторилъ онъ оживляясь.—Кого понесетъ въ наши горы, гдѣ и дорогъ-то нѣтъ, и поѣсть-то порою нечего, глядѣть чего дѣется въ нихъ, какъ живутъ эти дикари теленгуты... А живутъ они жалости подобно!.. А кто

и зайдетъ если къ нимъ, такъ болѣе для того, чтобъ обобрать ихъ... Всѣ вѣдь инородцы имѣютъ большую приверженность къ вину, сударь. За рюмку вина онъ готовъ отдать все, чего у него есть: и скотину, и жену, коли хочешь!.. Виномъ-то торговать у насъ въ Алтаѣ закономъ не допускается; даже въ деревняхъ-то по близости къ улусамъ запрещено кабаки открывать, чтобъ оградить тѣмъ инородцевъ отъ пьянства и вмѣстѣ разоренія, а господа чиновники, гдѣ бы строго слѣдить за этимъ и преслѣдовать другихъ, сами вино провозятъ да торгуютъ имъ...

— Неужели исключительно для торговли виномъ они и ѣздятъ въ горы прерваль я.

— Нѣ-ѣтъ-съ, какъ это можно!.. Это дѣлается благороднымъ образомъ, сударь, на высшій манеръ! Опредѣлится, напримеръ, господинъ чиновникъ на службу... участковымъ засѣдателемъ или исправникомъ и приѣдетъ сюда. Первымъ дѣломъ, для того, чтобъ поправиться, онъ ѣдетъ въ Чернь къ инородцамъ, будто бы вырѣшать накопившіяся дѣла... Подберетъ себѣ толмача изъ инородцевъ... переводчика, какъ бы сказать... изъ опытныхъ въ этомъ дѣлѣ... Есть тутъ такихъ инородцевъ человекъ три-четыре, бога-а-тыхъ теперь ужь. Толмачествомъ и нажились... И первый Назаръ Степанычъ началъ съ того, что былъ толмачемъ; съ этого ремесла и жить пошелъ!.. Купить себѣ господинъ чиновникъ ведеръ пять спирту и ѣдетъ! Приѣдетъ онъ въ улусъ—и разошлетъ оттуда нарочныхъ по всѣмъ ближнимъ улусамъ съ вѣстью: „что, дескать, чиновникъ приѣхалъ, такъ пускай башлыки явятся“. А башлыками въ улусахъ называются люди выбранные обществомъ, какъ и въ русскихъ волостяхъ старшины или головы; въ башлыки ужь всегда выбираются самые зажиточные инородцы. Извѣстное дѣло, башлыкъ приѣдетъ не одинъ: онъ захватитъ съ собой и другихъ зажиточныхъ одноулусниковъ, и всѣ они приѣдутъ на поклонъ къ чиновнику не съ пустыми руками: кто двухъ-трехъ собольковъ привезетъ, лисичку, иногда и чернобуренькую, бѣ-

лочекъ, хорьковъ по пяти, по десяти шкурокъ. Приѣдутъ, поклонятся, поднесутъ гостинцы, вотъ чиновникъ-то имъ, будто въ благодарность за гостинцы, и подастъ по рюмочкѣ спирта... А рюмочка-то эта ихъ... и разлакомитъ... Выпьютъ они и запросятъ по другой... Дастъ онъ имъ и по другой. Какъ по другой-то они выпьютъ, ихъ и разбере-е-етъ... Они и полѣзутъ: дай имъ по третей... Онъ ихъ, известно, прогонитъ... Въ эту-то пору толмачъ и шепнетъ имъ, что „у барина вина мно-о-ого, но только про себя бережетъ... Пожалуй,—говорить,—если подарите меня, то я попрошу его... поторгую у него вина-то... авось онъ по бутылочкѣ и продастъ вамъ!“ Ну и поторгуетъ... Бутылочка-то въ три-четыре рюмочки и обойдется инородцу рублей въ двадцать, а можетъ и болѣе... Такимъ-то образомъ, какъ объѣдетъ господинъ чиновникъ Черня, дѣлъ-то вырѣшить не вырѣшится... а шкурокъ-то на тыщеночку, на двѣ... вывезетъ... и поправится...

— И всё такъ дѣлали?..

— Съ исконокъ вѣку, сударь, такъ дѣялось и дѣется... Здѣсь былъ исправникомъ, сударь, Иванъ Миронычъ Южаевъ... такъ какіе, вѣдь, капиталы нажилъ: во многіе десятки тысячъ!..

— Отъ инородцевъ?

— По большей части отъ нихъ... Онъ и Назара Степаныча Куртегешова въ люди вывелъ: и тотъ имѣетъ теперь капиталу, пожалуй, тысячъ... сто, коли не болѣе... Кто былъ Назаръ Степанычъ лѣтъ тридцать тому назадъ, если посказать?.. Бѣдный инородецъ... въ работникахъ жилъ, и не разъ былъ битъ за воровство. Ну, сказать правду нужно, сударь, парень онъ верткой, не дуракъ... Вся его fortuna началась съ того, что попалъ въ толмачи къ Ивану Миронычу. Ну, Иванъ Миронычъ... отъбилъ его и усчастливилъ...

— Чѣмъ же?..

— Много, сударь, было дѣлъ межъ ними, если перетрахать старину... Бывало и такъ: навезутъ крестьяне Ивану Миронычу хлѣба, да пошлетъ онъ еще закупить его отъ своего

имени по уѣзду, ну и закупать. А вѣдь у инородцев хлѣбодашества нѣтъ; обрусѣлые только занимаются имъ, да и то спустя рукава; а черневые инородцы въ рѣдкость которые сѣютъ ячмень, да и то въ недавнее время только стали заниматься этимъ. Зима для нихъ всегда голодное время. Вотъ, бывало, Иванъ Миронычъ и сдѣлаетъ распоряженіе, чтобы крестьяне не смѣли инородцамъ задавать хлѣба въ долгъ; потому-де, пользуясь ихъ нуждой, они только разоряютъ ихъ этимъ путемъ. Кто же посмѣетъ пойти противъ его воли!.. Ну, крестьяне и не даютъ инородцамъ хлѣба. Пользуясь этимъ, Иванъ Миронычъ скуцленный-то хлѣбъ чрезъ Назара Степаныча и раздаетъ инородцамъ въ долги, да влетеро дороже, чѣмъ бы крестьяне роздали... а потомъ и выбираетъ съ нихъ долгъ шкурками... да скотомъ. Шкурки-то, какъ наеопятся, онъ и отправить съ Назаромъ Степановичемъ въ Ирбитъ на ярмарку или въ Нижній. Затратить онъ на покупку хлѣба много тысячу двѣ, а вернуть пять... да десять... Оно и оборотъ!.. И виномъ торговалъ онъ такимъ же порядкомъ; да не буду грѣха таить: на много тысячъ, сударь, и фальшивыхъ ассигнацій переведено имъ черезъ руки Назара Степановича въ тайгу къ инородцамъ. А скоть-то, скуцленный у инородцевъ на фальшивыя деньги, перепродавали на десятки тысячъ крестьянамъ да купцамъ...

— Неужли все это правда, Никита Васильевичъ?

— О-охъ, сударь... много похоронено темныхъ дѣлъ въ нашихъ горахъ! съ грустью въ голосъ отвѣтилъ онъ.—На видъ-то только они красивы: любоваться да любоваться ими надо, а какъ поживешь въ нихъ, присмотришься къ тому, чего творится въ нихъ... такъ бѣжалъ бы изъ нихъ за тридевять земель... Поневоля махнешь только на все рукой, да и скажашь: на то здѣсь и Сибирь, на то и глухая она сторона, чтобы всякая правда въ ней за сказку другимъ казалась... Далеко въ старину не буду, сударь, заглядывать, вздохнувъ началъ онъ:—ужъ въ ближнее время, въ

бытность мою здѣсь въ 186... году, у инородцевъ былъ голодъ, какого и старика не запомнать... Перемерло ихъ отъ голода страсть сколько... По тронамъ въ горахъ находили цѣлыя семьи мертвыми: какъ, значить, тащился мужъ съ женой да дѣтьми изъ горъ, силясь добратъся до какой нибудь деревни, такъ и падали на дорогѣ... въ одной верстѣ, глядишь, одинъ ребенокъ брошень, а тамъ другой, а подальше и мать на корточки присѣла да Богу душу отдала, а гдѣ нибудь въ горѣ и отецъ свалился... ужъ, значить, не было силъ подняться въ гору,—такъ и застылъ. Многіе трупы дѣтей изглоданными находили, это ужъ, стало быть, мясомъ своихъ дѣтищъ питались. Въ иной юртѣ въ доскъ всю семью мертвой находили съ изглоданными руками и ногами... У другого инородца еще хватало силы добратъся до улуса обрусѣлыхъ инородцевъ или до деревни... да тутъ, у околицы ея, онъ и Богу душу отдавалъ... Ужась, ужась только рассказывать, чего творилось!.. Одни мрутъ, а другіе, пользуясь этимъ наживаются около нихъ. Разбой стоялъ несосвѣтлимый; за пудовку ячменя съ нихъ, несчастныхъ, брали чего только глазъ видѣлъ. Буицы эти и торговые крестьяне христіанами ишутся, а въ эту пору хуже звѣрей уподобились. Сотнями бѣжали изъ торъ инородцы, всякимъ Богомъ умаливали выдать имъ въ ссуду хлѣба. Начальство вникло въ бѣдственное положеніе ихъ, да замѣсто того, чтобъ сейчасъ же, не теряя часу, оказать помощь, возбудило вопросъ: можно-ли инородцамъ выдать въ ссуду хлѣбъ изъ запасныхъ крестьянскихъ магазиновъ, такъ какъ хлѣбъ этотъ составляетъ неприкосновенный крестьянскій капиталъ? И пошелъ этотъ вопросъ гулять да погуливать; иная бумажка эта гдѣ нибудь недѣлю-двѣ подъ сукномъ полежить, а народъ-то мреть да мреть!.. Ну, къ веснѣ и вопросъ разрѣшился: „можно выдать!“ Только ужъ многіе изъ ходатаевъ-то не нуждались больше ни въ какой ссудѣ, кромѣ поминанья за упокой!.. Хорошо-съ! Во избѣжаніе какихъ-либо корыстныхъ притѣсненій со стороны русскихъ волостныхъ

начальниковъ, при выдачѣ инородцамъ хлѣба въ ссуду изъ магазиновъ, командировали чиновника производить эту выдачу, господина О—на. Вотъ этотъ-то господинъ чиновникъ, сударь, и натворилъ чудесъ... Инородцы издыхаютъ отъ голода, вопять: давай хлѣба!.. А онъ говоритъ: коли поднесете мнѣ вотъ столько-то, такъ сейчасъ выдамъ, а не поднесете, такъ я еще буду производить удостовѣреніе: настолько-ли вы благонадежные люди, что, взявши хлѣбную ссуду, будете въ состояніи возвратитъ ее. Что было дѣлать имъ, сударь? И полѣзли они въ кабалу къ крестьянамъ, штобъ дали имъ денегъ подарить чиновнику, штобъ не далъ имъ помереть бы съ голоду, и выдалъ хлѣбъ. Да вѣдь въ какую кабалу задѣвали!.. Иные вотъ ужъ нѣсколько лѣтъ работаютъ на крестьянъ за этотъ долгъ... и все-таки не могутъ отработать!.. И нажидся такимъ путемъ господинъ О—нъ... Вернулся въ городъ да домикъ купилъ... лошадами обзавелся... Теперь, сказываютъ, и пасека есть... и жонушка щеголяетъ въ шелкахъ; а прежде, сказывали, и ситцевое платице было въ рѣдкость...

— Неужели эти подвиги его остались въ секретѣ!..

— Здѣсь, сударь, ничего въ секретѣ не остается! Все это знаютъ, да еще его же похваляютъ: молодецъ, говорятъ; нашелся около хлѣбнаго дѣльца... и самъ съ кормомъ сталъ!.. съ ироніей закончилъ Никита Васильевъ.—Такими-то путями, сударь, и обнищали здѣшніе инородцы. Теперь ужъ въ рѣдкость гдѣ встрѣтишь зажиточнаго инородца, да и тотъ, кто теперь считается богатымъ, въ прежнюю пору казался бы бѣднякомъ. Вотъ какъ времена-то переижились... Што, сударь, сказать вамъ; ужъ коли чиновники обираютъ, такъ суди ихъ Богъ... Иного онъ оберетъ, иному и поможетъ въ чемъ... Куда на шло... А то, вѣдь, мелюзга-то, глядя на нихъ, чего продѣлываетъ... такъ смѣхъ и горе!..

— Какая же мелюзга?..

— Къ примѣру скажу вамъ: есть здѣсь окружной фельд-



дурь Т-въ. Давно ужь онъ тутъ служить... почитай, лѣтъ двадцать теперь; тоже человѣкъ съ состоянціемъ...

— И тогда около инородцевъ жили?

— Одна здѣсь коровушка-то сударь, которую всѣ доятъ, только никто не кормитъ. Съ кроміей отвѣтилъ онъ.

— Этого-то какимъ путемъ називается отъ нихъ?...

— Распутѣвшимся. Посказать, такъ смѣхъ разбереть! Онъ обязанъ, сударь, черезъ годъ объѣзжать всю тайгу, всѣ амны и прививать тамъ осну дѣтямъ, потому отъ осны этой инородцы тоже сотнями вымирають! Вотъ онъ и ѣдетъ... да вѣдь какіе фокусы-то выкидываетъ! Приѣдетъ, къ примѣру, въ амль и велитъ башлыку собрать всѣхъ матерей съ ребятами. Ну, въ амлѣ, конечно, сейчасъ поднимется суета, бѣготня... Соберетъ башлыкъ бабъ съ малолѣтними дѣтьми... и приведетъ къ нему. Вотъ онъ и начнетъ вынимать при нихъ изъ ящика всѣ свои инструменты нарочно для того, чтобы напугать: ножъ, которымъ труны разрѣиваются... пилу, которой черепа спиливаются... долото, ножницы... пилы, иглы... да при нихъ же еще и начнетъ на брусѣ ножъ натачивать... Посудите, сударь, сами: видя эти приготовленія для привитія осны, инородки, какія бы онѣ ни были дикарки, но вѣдь все-таки матери, любить своихъ дѣтей такъ же какъ всякая другая мать; поневолѣ обольется у всякой изъ нихъ сердце кровью отъ ужаса за дѣтей своихъ... Ну, и поднимется плачь... стоны... въ ноги къ нему повалятся... Батюшка, возьми чего хощь, только не рѣжь ребятъ. А ему этого только и нужно; ну и начинается торгъ... „Не рѣзать,—говорить,—нельзя... Лекаръ узнаеть, что я не рѣзалъ — самъ приѣдетъ, такъ не такимъ еще ножомъ,—говорить,—зарѣжетъ... А коли, говорить, каждая изъ васъ дастъ мнѣ по два, по три соболька, такъ я маленькимъ ножичкомъ, тихонько порѣжу вашихъ ребятъ, такъ, что они и не услышать!“ и покажетъ при этомъ на ланцетъ. „А коли,—говорить—не дадите, такъ я вотъ... за этого... за настоящій ножъ возьмусь... какимъ начальство велитъ рѣзать!“ И нане-

суть, сударь, ему подарковъ; вѣдь матери отдадутъ все, что только есть у нихъ, только не губи дѣтей!... Не даромъ же привитіе оспы инородцы и называютъ „чортовой тамгой“ \*). Ну, а какъ только онъ привьетъ оспу, они украдкой и смоютъ ее холодной водой... застудятъ... а дѣти и мрутъ отъ этого... Вотъ, сударь, какъ дѣйствуютъ на нихъ, при нашихъ-то порядкахъ, предохранительныя мѣры, клонящіяся... къ спасенію ихъ... Теперь ужъ инородцы стали умнѣй... Какъ только заслышатъ онѣ, что урუსъ Т—ъ ѣдетъ къ нимъ съ оспой, сейчасъ заберутъ дѣтей да и бѣгутъ съ ними въ горы, да тамъ и скрываются... въ ущельяхъ да лощинахъ, покамѣстъ онъ не уѣдетъ, чтобъ избѣгнуть... чортовой тамги на дѣтяхъ, а главное поборовъ....

— А что же окружный врачъ смотритъ?.. Неужели онъ не знаетъ ничего объ этомъ?

— Не могу, сударь, судить... Да что-жь... не Т — въ, такъ другой кто, не другой — такъ третій... не однимъ манеромъ, такъ другимъ, какимъ поновѣй, а все будутъ обирать. Порядокъ-то все одинъ вѣдь...

— А сами инородцы развѣ не жалуются на подобныя дѣйствія?

— И-и-избави Господи!.. Они отъ чиновниковъ-то, какъ отъ огня бѣгаютъ, сударь! Они и уголовныя-то преступленія, какія совершаются между ними въ горахъ, скрываютъ отъ правосудія... Чиновникъ, говорить,—наѣдетъ, бѣ-ѣ-ѣда будетъ: и виноватыхъ, и правыхъ обереть!.. Да вотъ, сударь, для примѣра... расскажу вамъ недавній случай. До засѣдателя С—го въ Б—мъ округѣ дошло извѣстіе, что одинъ купецъ купилъ у инородца на нѣсколько тысячъ скота... и расплатился за него фальшивыми ассигнаціями... С—ій, чтобъ раскрыть это преступленіе по горячимъ слѣдамъ, тотчасъ-же поскакалъ въ анль... засталъ

\*) Тамгой называется у инородцевъ печать, какую прикладываютъ къ бумагамъ, вмѣсто подписи.

тамъ обманутаго инородца и говорить ему: такъ и такъ-де; купецъ этотъ обманулъ тебя, отдалъ тебѣ фальшивыя деньги, разорилъ тебя... Давай эти деньги мнѣ: мы, — говорить, — дѣло заведемъ; будемъ судить его, а тебѣ, — говорить, — возвратимъ весь твой счетъ или прикажемъ отдать настоящія деньги за него. „Не дамъ“, говоритъ инородецъ: „худая-ли денга, хорошая-ли денга, а все-таки она при мнѣ будетъ у сердца; а отдай коли тебѣ, такъ ты и хорошую денгу худой назовешь, да въ свой карманъ положишь и разоришь меня!“ Такъ и не отдалъ. Побился, побился около него засѣдатель, да съ тѣмъ и уйхалъ... Обрусѣлые инородцы, которые живутъ въ крестьянскихъ деревняхъ или, какъ нашъ улусъ, по близости около деревень, ну тѣ ужъ иной статьи люди — съ ироніей промашеетъ онъ: — обнатурились... во многомъ ужъ и крестьянъ перегнали.

— Въ чемъ же напримѣръ?..

— Къ слову сказать, въ разореніи тѣхъ-же черневыхъ татаръ, своихъ родичей! Далеко за примѣромъ и ходить нечего, сударь... Первый теперича Назаръ Степанычъ: вѣдь это истинная пагуба инородцевъ, сударь. У него всѣ черневые инородцы въ неоплатномъ долгу. Онъ имъ задаетъ хлѣбъ, порохъ, свинецъ для охоты на звѣря, денегъ для уплаты ясака, и инородцы ни у кого другого не смѣютъ брать хлѣба, какъ только у него. Боже сохрани, если Назаръ Степанычъ узнаетъ, что какой нибудь черневой инородецъ взялъ у крестьянъ хлѣбъ по болѣе дешевой цѣнѣ, чѣмъ онъ ставитъ имъ въ счетъ. Назаръ Степанычъ сейчасъ же пойдетъ въ тайгу, сударь, и отберетъ все, что только есть у инородца, за долги, а тамъ онъ хоть умирай съ семьей съ голода, — ему и дѣла нѣтъ. Боятся его инородцы, какъ огня: только слышать они, что Назаръ Степанычъ въ тайгу ѣдетъ, такъ дорогу для него правятъ, какъ для владыки какого... въ землю кланяются ему при встрѣчѣ! Чего только Назаръ увидитъ у инородца въ юртѣ, чего ему понравилось, — сейчасъ тотъ и даритъ ему эту вещь, а то бѣда, если не потишь его... Вѣдь всѣ инородцы, отъ малаго и до

большаго убѣждены, что Назаръ Степанычъ всемогущій человекъ, что Назара Степаныча самъ Бѣлый Царь знаетъ. Потѣла, сударь, если поспазать, какая комедія тутъ была, когда Назару Степанычу зедотую медаль на шею за построенную имъ церковь пршлели. Онъ сейчасъ далъ знать по всѣмъ аиламъ въ Чернь, чтобы инородцы ѣхали къ нему глядѣть на Царскій обликъ... и цѣловать его.

— Что же и съѣхались? прервалъ я.

— Съѣхались, и ради этой оказіи не съ пустыми руками, а съ подарками. И устроилъ Назаръ такую церемонію: ваяль изъ церкви аналой, перенесъ къ себѣ въ домъ и положилъ на него медаль, и каждый иноронецъ, прежде чѣмъ посмотрѣть на Царскій обликъ и приложиться къ нему, подходилъ къ аналою и кланялся въ землю, а Назаръ въ шелковомъ халатѣ стоитъ у аналая, важный такой, и спрашиваетъ: „Видите теперь, какъ Царь чтитъ меня, а—а?“

— Видимъ,—говорятъ,—бачка ты нашъ, Назаръ Степанычъ; видимъ.

— То-то же,—говоритъ,—авайте!.. Тамъ Царь, а здѣсь я замѣсто его. Чтите и вы меня, а то ху-у-удо будетъ вамъ... Меша и чиновники,—говоритъ,—всѣ чтятъ и боятся... Я все могу сдѣлать... Мнѣ только,—говоритъ,—письмо Царю отписать, и все будетъ по моему... И чтятъ его, сударь, инородцы... А пользуюсь этимъ, онъ и собираетъ ихъ. И никто, ничѣмъ иноронцевъ не убѣдитъ, что все это арабъ Назарки, что онъ ихъ обманываетъ; а особенно теперь, когда они увидѣли, что Царь прислать ему портретъ свой весь изъ золота... Повѣрите-ли, сударь, Назаръ плетями съичетъ провинившихся передъ нимъ иноронцевъ, и тѣ молчатъ... Вѣдь если какая ташба случится между иноронцами, они идутъ съ просьбой разобрать ихъ не къ чиновникамъ, а къ Назару Степанычу; онъ и судитъ ихъ... и чего уже скажетъ имъ, такъ то и дѣлается. Случится какое нибудь уголовное преступленіе въ тайгѣ, которое нельзя скрыть, то виновники сейчасъ идутъ къ Назару Степанычу просить защиты его, и, конечно,

дарить ему за заступничество, чего онъ только запроситъ съ нихъ. А онъ уже ѣдетъ къ чиновникамъ ходатайствовать за нихъ. О чемъ бы ни попросилъ Назаръ чиновниковъ, особенно, бывало, при прежнемъ исправникѣ Бонаевѣ, такъ ужъ для него все сдѣлаютъ, а это еще болѣе поддерживало и поддерживаетъ въ инородцахъ убѣжденіе о могуществѣ Назара Степаныча. Вѣдь онъ, сударь, если раскрыть теперича передъ вами всю правду, и церковь-то построилъ на деньги собранныя съ инородцевъ, а предъ начальствомъ выдалъ, что построилъ ее на свое иждивеніе.

— Какъ же это такъ?.. спросилъ я, заинтересованный этимъ неожиданнымъ открытіемъ, такъ какъ ранѣе, бывши въ городѣ К . . . ѣ, слышалъ похвальные отзывы объ усердномъ желаніи Назара Степаныча распространять среди инородцевъ православіе...

— Очень просто!.. съ ироніей отвѣтилъ Никита Васильевичъ.— На инородцахъ съ давнихъ еще времявъ накопилась недоимка ясака, что-то на весьма значительную сумму, и они давно хлопчуть о прощеніи имъ этой недоимки. Назаръ Степановичъ, не будь промахъ—смѣлни это дѣло, да и подведи имъ штуку: давай собирать съ нихъ деньги на постройку православнаго храма (это съ язычниковъ-то!) для того-де, что какъ Царь узнаетъ, что они хоть и другой вѣры, а чтятъ его Бога, онъ и проститъ имъ эту недоимку. А вѣдь инородцы, какъ я и доложилъ вамъ, настоящія дѣти, простодушные, довѣрчивые, и повѣрили ему. Да и какъ не повѣрить Назару Степановичу? Собрали они деньги: другой изъ нихъ, можетъ быть, занялъ, да послѣдній грошъ отдалъ ему. Построилъ Назаръ храмъ, получилъ за него медаль и теперь все увѣряетъ инородцевъ, что ужъ начальство обѣщало ему просить Царя о прощеніи имъ недоимки въ виду ихъ почтенія къ русскому Богу! Дождется, конечно, какого-нибудь всемилостивѣйшаго манифеста, коимъ сложать съ инородцевъ эту недоимку, и скажутъ имъ, что все это сдѣлано по его ходатайству!

Въ это время дверь скрипнула, и въ комнату вошелъ

крестьянинъ, одѣтый въ тонкій суконный халатъ, опоясанный нестрымъ кушакомъ. Волосы на головѣ и бородѣ его были съ густой просѣдью, хотя, судя по наружности, дышавшей силой и здоровьемъ, ему можно было дать не болѣе сорока лѣтъ. Заслышавъ скрипъ двери, Никита Васильевичъ умолкъ, поднялся со стула и, взглянувъ на вошедшаго, слегка откашлялся въ ладонь лѣвой руки и отошелъ въ уголъ. Помолвившись на икону, вошедшій поклонился намъ, затѣмъ протянулъ руку Никитѣ Васильевичу и пожалъ ее.

— Не обезсудь ужь, батюшка, што безпокою тебя! Обратился онъ ко мнѣ, кланаясь:—заслышалъ, что твоя милость прѣхалъ сюда, сѣлъ на верхнюю, чтобъ не терять время захватить тебя здѣсь, да надокучить съ просьбицей!

— Ты крестьянинъ? спросилъ я.

— Крестьяне будемъ, недалечко здѣсь живемъ, въ Атамановой... Атамановой деревня-то наша пишется, пояснилъ онъ, погладивъ свою бороду и усы. Развѣряютъ насъ, кормилецъ, вотъ и прѣхалъ докучать тебѣ! съ горечью въ голосѣ произнесъ онъ.—А-а-ахъ, говорю, а? Выручишь собаку изъ нужи, да за ней же и гоняйся потомъ съ палкой! Ну, не грѣхъ-ли, а? Опуталъ меня вѣдь Абышка-то, обнатурилъ, какъ есть, и глазъ теперича не кажетъ,—сказалъ онъ, обратившись къ Никитѣ Васильевичу.—Ну, не собака-ли а? спросилъ онъ, снова обратившись ко мнѣ.

— Кто же это? спросилъ я.

— Абышка! отвѣтилъ онъ, предполагая, вѣроятно, что нанесшаго ему обиду Абышку долженъ знать весь свѣтъ.—Бакъ, бишь, онъ пишется-то, Микита Васильичъ?

— Абышъ Санасаровъ! отвѣтилъ тотъ, не глядя на него.

— Ну, ну, эта самая, точно! Вышь память-то у меня... Да какъ ты, говорю, и не спутаешься съ этими анаеемами... А-ахъ, ты, Боже мой! Н-ну... заключилъ онъ, качая головой:— и тотъ непутный человекъ, кто и вѣру даетъ экой собакѣ! Выручи, кормилецъ, дай суда! — снова произнесъ онъ, кланаясь

миѣ.—Што ты теперича будешь дѣлать, коли не твоя въ томъ воля, а?

— Изъ какой же бѣды тебя выручить? спросить я.

— А перво-на-перво, милостивецъ, возьми ты меня за эти самые космы, да выволочи! говорилъ онъ, указавъ на свою сѣдѣющую голову. — До измо-о-ру выволочи и приговаривай: „вотъ, моль, тебѣ, Митрофанъ Сысоевъ, за то, што сѣдой вѣлось у тебя растеть, а ума не несеть“. И хорошо это будетъ!

Никита Васильевичъ при этомъ оригинальномъ предложеніи просителя, Митрофана Сысоева, улыбнулся и, откашлявшись, стоялъ, понуривъ глаза въ землю.

— Чѣмъ же это хорошо будетъ?

— Надко! Будетъ память! Ужь въ другорядъ, коли опосля этого, какая собака ко миѣ придетъ да будетъ въ ногахъ ползать: „дай-де хлѣба, спаси меня отъ голода“, такъ ужь знать будемъ, чѣмъ и угостить.

— Чѣмъ же?

— А въ зашей надавать! Вотъ, моль, возьми-ка, перекуси, и слезьми запей! Вотъ на какой примѣръ надоть нашему брату выволочку давать! Спроси теперича у меня, сколько моего добра пропало за этими собаками?

— Растолкуй миѣ прежде, за какими собаками? прервалъ я его.

— За черневыми татарами! Собаки, такъ собаки и есть,—одно имъ и званье! Вотъ хотъ Абышку возьми: прибѣгъ ко миѣ нонѣ зимой,—„Митрофанъ“, говорить, такой-сякой,—бѣ-ѣ-да! Дохнуть“, говорить, „только съ голоду надоть, вотъ какая бѣда! Дай миѣ хлѣба четыре пудовки!“ Въ ногахъ ползаль сулилъ, братецъ ты мой, всю душу отдать, только не дай ему умереть! А на, вотъ поди: подошло къ расплатѣ, и глазъ и не кажетъ, а!

— Что же, ты далъ ему хлѣба?

— Своими руками мѣрять! Какъ ты не дашь ему, коли онъ вотъ, того и гляди, на твоихъ глазахъ сохнеть!

— Чѣмъ же онъ общалъ тебѣ заплатить долгъ: деньгами или хлѣбомъ?

— Захотѣлъ деньгами взять съ него или хлѣбомъ? Гдѣ онъ денегъ-то возьметъ или хлѣба-то? Подъ одно мы двумъ ихнему брату: приди, отробь долгъ въ рабочую пору, отожи!..

— Онъ общалъ отжать?

— Плакалъ... икону што-исъ потомъ цѣловалъ!

— Онъ крещеный?

— Песь его знаетъ, какой онъ вѣры-то! Одна, — говорить, — коли худо сдѣлалъ, то твой ли шайтанъ, мой ли шайтанъ, а ужъ башку снесетъ! Ну, и вѣрилъ ему! Крещенъ онъ, Микита Васильевичъ, аль нѣтъ? Ты вѣдь всѣхъ ихъ знаешь! спросилъ онъ; обратившись къ Еремину.

— Нѣтъ, улыбаясь, отвѣтилъ тотъ.

— Собака, такъ оно и есть! заключилъ Сысоевъ.

— Кѣкъ же онъ икону-то цѣловалъ, если не крещеный?

— Что-жъ? Святителя-то, поди, не убьло отъ этого! Лѣзеть коли цѣловать его, такъ не драться же съ нимъ! отвѣтилъ Сысоевъ, какъ-то оторопѣло посмотрѣвъ на меня своими маленькими сѣрыми глазками.—А вотъ, теперъ, какъ подошло время жнитвы, и ищи его... Побѣжалъ нонѣ въ аилъ къ нимъ, — нѣту его! Спрашиваю: гдѣ Абышка — Убѣгъ! говорить.—Куда? спрашиваю.—Въ Чернь: дѣло, говорятъ, такое, неминуемое подошло! Вотъ ищи ихъ, собакъ, и вѣрь имъ, а—а? Ну, развѣ не надоть выволочъ нашего брата, што-бъ напредки умнѣй быть, а-а? спросилъ онъ, взглянувъ на меня съ какимъ-то строго-комичнымъ выраженіемъ въ лицѣ.

— Чего же ты теперъ отъ меня хочешь? спросилъ я.

— Разсуди меня съ Абышкой, сдѣлай милость, кормилецъ! Понудь его отробить долгъ! Вѣдь это што-жъ, раззоръ оносла этого! Кормишь, кормишь ихъ, собакъ за зиму, общаются отробить тебѣ, а жнитва подойдетъ—и въ бѣгъ! А-а-ахъ, ты, собака этакая, а-а? Ну, придетъ онъ только ко мнѣ нонѣ зимой за хлѣбомъ! Я-тѣ накормлю, за-а-а-кусишь ты у меня!



съ дрожью въ голосѣ протянулъ онъ: — за-а-а-кусишь! Будь милостивецъ, пошли ты за нимъ, да приструни его, — тебя-то онъ побоятся! Ты — чиновникъ, а чиновниковъ-то они, собаки... э-э-э... только духъ ихъ заслышать, такъ што отъ волка — хвосты подожмутъ! Стра-а-астъ имъ чиновникъ-то! Чиновниковъ-то они болѣе своего шайтана боятся, ей Богу! Обрадуй меня, сдѣлай милость, рассуди...

Я заказалъ Еремину вытребовать къ слѣдующему утру, для разбирательства дѣла Абыша Санасарова, и Митрофана. Сысоевъ, довольный этимъ распоряженіемъ, низко поклонился мнѣ и вышелъ. По уходѣ его, Никита Васильевичъ откашлялся въ руку и обведя меня своими смѣющимися глазами, произнесъ:

— Много вамъ, сударь, будетъ завтра занятія.

— Какого?

— За ночь-то, посмотрите, сколько найдетъ сюда крестьянъ и инородцевъ для разбирательства у васъ по разнымъ ихнимъ дѣламъ! Теперь ужъ по всѣмъ деревнямъ и аиламъ несетъ вѣсть, что вы пожаловали сюда. И теперь ужъ, поди, вдутъ разные просители докучать вамъ.

— А какъ вы думаете, Никита Васильевичъ, — вы хорошо знакомы съ здѣшними нравами, — кто правъ: крестьянинъ ли Сысоевъ, или инородецъ Санасаровъ? спросилъ я, желая вывѣдать, какими экономическими расчетами руководятся крестьяне, давая инородцамъ хлѣбъ съ обязательствомъ отработать свой долгъ.

— Трудно, сударь, сказать! отвѣтилъ онъ, немного подумавъ. Оно извѣстно, если по правдѣ теперича судить, то крестьянинъ правъ, потому хлѣбъ онъ давалъ Абышу за то, чтобъ Абышъ отработалъ у него за четыре пудовки четыре дня, и тотъ согласился. А если теперича по совѣсти взять, такъ не Абышъ Сысоева разоряетъ этимъ, а Сысоевъ Абыша.

— Объясните мнѣ, почему это?

— Да такъ, сударь, доложить вамъ надоть: по нашимъ мѣ-

стать въ самую неурожайную пору пудовна-то ржаного хлѣба пятнадцать копѣекъ стоить, и ужь-небывалая цѣна ей двадцать копѣекъ. Стало быть, четыре-то пудовки всего на все, если по двадцати копѣекъ положить пудовку, — восемь гривенъ стоятъ! Самыя плевые деньги, а вѣдь онъ заставилъ за нихъ работать Абышку четыре дня въ самую дорогую рабочую пору, въ жнитво, когда здѣсь рабочаго-то за пять, за шесть рублей въ сутки не найдешь! Вотъ и постытайте: если по пяти рублей въ сутки положить, такъ онъ работнику-то долженъ бы двадцать рублей выложить, а тутъ онъ за восемь гривенъ заставляеть его работать. Оно и расчегъ для нихъ задавать голоднымъ-то инородцамъ хлѣба.

— Отчего же здѣсь такъ дорога заработная плата въ это время?

— Очень просто, сударь. Вѣдь здѣсь земли-то — бери не хочу. Зажиточные-то мужики здѣсь по сколько запахиваютъ! Глазомъ не окинешь! Всякій изъ нихъ коровить, какъ бы побольше захватить! Жнитво-то подойдетъ, такъ имъ съ своими-то семьями и въ двѣ, въ три недѣли не управиться съ жнитвомъ. А хлѣбъ-то рдѣтъ, осыпается! Всякому время дорого, всякому до своего дѣла работа; другой изъ нихъ радъ радехонекъ за день-то десять рублей дать, да и за эту плату никого не найдешь въ иное время. А вотъ онъ задастъ какъ хлѣба инородцамъ и тянетъ ихъ — иди отработывай! Инородцы-то имъ въ иное время, деньги, сударь, за хлѣбъ привозятъ, по рублю, по два за пудовку отдають! Такъ мужики-то не берутъ съ нихъ денегъ-то, нѣ-ѣ-ѣтъ! Иди, работай, говорятъ! А тѣмъ тоже свой расчегъ: они лучше рубль или два отдадутъ имъ за пудовку, что стоить пятнадцать копѣекъ, да пойдутъ наймутся въ дорогое-то время въ работу, такъ по пяти рублей въ сутки возьмутъ! Вотъ и судите, кто кого разоряетъ! заключилъ онъ, вздохнувъ.

Въ комнатѣ совершенно стемнѣло, когда Никита Васильевичъ, отговорившись необходимостью присмотрѣть еще за

окажиной, вышелъ отъ меня, пожелавъ мнѣ спокойной ночи. Я раскрылъ по уходѣ его окно. Въ воздухѣ было тихо, знойный дѣтній день смѣнился рѣзкою ночная свѣжесть, какая чувствуется только въ горахъ. На горизонтѣ медленно выплывала луна, и блѣдные лучи ея тонули въ синевѣ, окутывавшей окрестныя горы своей прозрачной пеленой. Я съ жаждою вдыхалъ въ себя свѣжій живительный воздухъ, напоенный ароматами смолистыхъ деревьевъ и душистыхъ альпійскихъ травъ. Въ ночной тиши до меня отчетливо доносилось бурливое клокотанье Кандалепа, рыдающаго въ своихъ высокихъ, неприступныхъ берегахъ. Я прислушивался къ гуду волиъ его, и мнѣ чудились въ немъ стоны и подавленные рыданія. Подъ вліяніемъ всего слышаннаго мною, въ умѣ неволью пробѣжала мысль—не плачетъ ли это Кандалепъ о жадной участи этихъ чудныхъ, поражающихъ своимъ величіемъ горъ, превратившихся теперь въ арену всевозможныхъ эксплуатацій. И мнѣ стало больно за это добродушное, безжалостно разоряемое и постепенно вымирающее племя.

Вершины Алтая, покрытыя вѣчнымъ снѣгомъ и льдами, издалека поражающія путника своею дико-величавою красотою, мѣстные жители называютъ „черью“. Слово „черья“ означаетъ дремучій, непроходимый лѣсъ, состоящій изъ пихтъ и кедровъ, покрывающій горы. Потому и племя иворедовъ, населяющія черья, называются у мѣстныхъ жителей черевыми татарами. Сами черевые татары также называютъ себя „Ишъ-кижи“, что значитъ черевые люди, жители чернолѣся. Отсутствие у этого племени тюрскихъ родовъ и употребленіе особаго общаго имени Ишъ-кижи послужило поводомъ, при изслѣдованіи происхожденія этого племени, считать его за финское племя, которое, будучи окружено со всѣхъ сторонъ теленгутами, населяющими плоскогорья южной части русскаго Алтая, усвоило себѣ ихъ языкъ, религію, нравы и обычаи.

Въ официальныхъ русскихъ бумагахъ, кочевья пастушескія племена, называющія себя теленгутами, именовались „калмыками“. До половины прошлаго столѣтія теленгуты находились въ зависимости отъ джунгарскаго хана, какъ и черневые татары, и платили одновременно „ялманъ“, т. е. ясакъ, и русскому правительству, и джунгарскому хану, почему и назывались еще „двоеданцами“, и въ простонародьи за ними сохранилось это названіе до настоящаго времени. Но въ половинѣ прошлаго столѣтія, во время междоусобій въ джунгарскомъ ханствѣ, кончившихся покореніемъ Джунгаріи китайцами, когда китайскія войска появились въ Алтай, въ кочевьяхъ теленгутовъ, послѣдніе стали искать защиты Россіи, обратившись съ письмомъ за подписью двѣнадцати зайсановъ къ Бійскому коменданту, и въ 1756 г., съ разрѣшенія русскаго начальства, спустились съ женами, дѣтьми и скотомъ на колыванскую линію \*).

Въ это смутное время Алтай долго былъ опустошаемъ набѣгами монголовъ и киргизъ, разорявшихъ кочевавшія въ немъ племена. Не мало страдали эти племена и отъ междоусобной вражды, нерѣдко превращавшейся въ личный разбой, и отъ оспы, губительно опустошавшей ихъ кочевья. Всего лучше характеризуетъ это скорбное для теленгутовъ время сложенная ими пѣсня, которую и теперь еще поютъ они:

„Съ высоты если смотрѣть, треуголень ты, царь Алтай!  
Какъ посмотрѣть съ боку, девяти-уголень ты, царь Алтай! По  
свату горь если смотрѣть; какъ плеть хребетъ твой; царь Ал-  
тай! По осеннему жилищу своему, какъ бурое сукно разост-

\*) Историческія свѣдѣнія и многія бытовыя черты, приведенныя въ настоящемъ очеркѣ, извлечены изъ прекраснаго по своей полнотѣ труда г-на Григ. Ник. Потанина. «Матеріалы для исторіи Сибири», также изъ составленнаго имъ вмѣстѣ съ г. П. П. Семеновымъ IV тома. «Землеустройство Азии», служащаго продолженіемъ труда Карла Риттера, составленнаго на основаніи уже матеріаловъ, обнародованныхъ съ 1832 года.

ладся ты, царь Алтай! Жалко тебя, сердечный ты мой Алтай! Много крови пролилось въ тебѣ!.. Пропадай ты, сосна съ мерзлыми сучьями, не доживай до такого разоренія!.. Величія полный мой Алтай, горе тебѣ отъ такого опустошенія!.. Пропадай ты, сосна съ сухими вѣтвями, если будутъ тебя еще обламывать!.. Хорошо ты былъ устроенъ, мой Алтай!.. Горе тебѣ отъ такого опустошенія! \*)

Много лѣтъ прошло съ тѣхъ поръ, какъ дикій бардъ сложилъ эту пѣсню, выражающую такую жгучую тоску объ опустошеніи и разореніи хорошо устроенной жизни въ горахъ Алтая, полныхъ царственного величія, а между тѣмъ эта пѣсня и теперь примѣнима къ нему. Исторія этихъ племенъ, ихъ жизнь, нравы и обычаи до сихъ поръ остаются мало изслѣдованными. Только въ недавнее время, благодаря настоянію людей живо интересующихся этимъ предметомъ, и особенно Н. М. Ядринцева, труды котораго по изслѣдованію Сибири составляютъ такое вѣское явленіе въ литературѣ, къ сожалѣнію до настоящаго времени еще неоцѣненное по достоинству, сибирское отдѣленіе Императорскаго географическаго общества пришло къ заключенію о необходимости всесторонняго изученія жизни инородцевъ, которое, по всей вѣроятности, въ непродолжительномъ будущемъ вызоветъ мѣры къ огражденію интересовъ этихъ племенъ и къ устройству ихъ плачевнаго быта на болѣе рациональныхъ началахъ.

Теленгуты, находящіеся въ русскомъ подданствѣ, раздѣляются на дючины, которыхъ считается 75, и кромѣ того еще дѣлятся на 24 поколѣнія. Теленгуты, принадлежащіе къ одному поколѣнію, считаются родственниками и называютъ себя братьями, и люди одного племени не могутъ жениться на жен-

---

\*) Огромную заслугу по изученію быта алтайскихъ инородцевъ составляютъ изслѣдованія высоко-уважаемаго миссіонера о. Вербицкаго, самоотверженно посвятившаго свою жизнь этой дѣятельности. Приведенная пѣсня переведена имъ и помѣщена въ „Прав. Обзор.“ 1868 г., въ ст. „Записки Миссіонера“.

щинахъ своего племени. Всѣ поколѣнія ихъ говорятъ однимъ и тѣмъ же татарскимъ языкомъ, исповѣдуютъ одну и ту же шаманскую вѣру и управляются зайсанами. Каждая дѣтина имѣетъ своего зайсана, достоинство котораго наследственно, хотя каждый зайсанъ долженъ быть утвержденъ въ своемъ званіи народомъ и русскимъ начальствомъ. Зайсаны обязаны собирать съ своихъ дѣчинъ ясакъ, по рублю съ мужчины, и сверхъ того по три рубля съ каждаго семейства, хотя женщины и дѣти считаются свободными отъ податей. Ясакъ собирается съ нихъ шкурами лисицъ, соболей, бѣлокъ и куницъ. Только тяжкія преступленія: убійство и грабежъ, судятся у теленгутовъ по русскимъ законамъ, остальные дѣла и тяжбы рѣшаются или зайсанами, или народнымъ собраніемъ, ежегодно составляющимся для этой цѣли. Все богатство этихъ племенъ заключается въ скотѣ, почему и кочевья ихъ расположены большею частью по долинамъ рѣкъ, представляющихъ обильныя пастбища. Въ былое время, въ средѣ теленгутовъ можно было встрѣтить владѣльцевъ шести и болѣе тысячъ головъ рогатаго скота. Люди, имѣвшіе 50 или 100 лошадей, считались у нихъ бѣдняками; но это богатство теленгутовъ перешло теперь въ руки мѣстныхъ русскихъ кушцовъ, эксплуатация которыхъ безпримѣрна по своимъ приемамъ. Общинное теленгутовъ, по словамъ путешественника Радлова, идетъ такъ быстро, что онъ въ послѣднее свое путешествіе не узнавалъ мѣстностей, которыя посѣщалъ въ 1860 г. Скота нигдѣ не было видно. Даже прекрасная Урусуйская долина, славящаяся своими пастбищами и богатствомъ ея обитателей, была пуста; если же гдѣ попадался скотъ, то на вопросъ его: чей скотъ? онъ получалъ въ отвѣтъ: „жойнымъ-малы!“ т. е. купеческій скотъ! Кушцы покупаютъ у теленгутовъ молодой скотъ, оставляютъ его у инородцевъ и берутъ тогда, когда онъ подрастетъ, т. е. по истеченіи 3—4 лѣтъ. Всѣ выгоды подобной торговли, конечно, на сторонѣ кушцовъ, потому что весь ущербъ въ скотѣ, который случится за это время, возмѣщается ими на

хранителей свота, бывшимъ его казанинъ, обязанномъ безвозмездно пасти его и охранять отъ всякихъ случайностей. Какъ быстро остаются кушцами капиталы въ Алтай, мы приведемъ, со словъ того же путешественника Радлова слѣдующій примѣръ: за 50 кирпичей чаю кунаецъ покупаетъ въ Алтай пару маральихъ роговъ; на деньги они обойдутся ему въ 75 р. с. Затѣмъ, эти рога онъ продаетъ на рѣкѣ Чуѣ уже за 100 кирпичей чаю, что равняется 150 руб. сер. На эти деньги онъ снова покупаетъ въ Алтай 80 годовалыхъ телятъ, которыхъ оставляетъ у продавца для безвозмездной пастбы, и по истеченіи трехъ лѣтъ получаетъ отъ него 80 штукъ взрослыхъ своташъ, которыя, считая среднимъ числомъ по 10 руб. за голову, составляютъ капиталъ въ 800 руб. сер. Всѣ злоупотребленія кушцовъ въ торговлѣ съ теленгутами оставались и остаются безъ преслѣдованія. Задавая имъ впередъ цѣной, грошевыя товары, купцы берутъ за него неизмѣрные проценты; проценты эти удваиваются и утраиваются, если долгъ не выплачивается имъ въ срокъ. Можно сказать безъ преувеличенія: если на подобный порядокъ вещей не будетъ обращено должнаго вниманія, зло не будетъ преслѣчено въ корни, то простодушный, довѣрчивый народъ этотъ постепенно съядетъ, будетъ вымирать, и вымирать буквально отъ голода. Теленгуты въ настоящее время обременены такими неоплатными долгами, погасить которые мало десятиковъ лѣтъ; а между тѣмъ, за долги эти давно уже уплачены имъ суммы, въ десять, если не въ двадцать разъ большія.

Для обращенія теленгутовъ въ православіе, въ 1828 году основана Духовная Алтайская миссія, трудами которой обращено донынѣ въ христіанство до 4000 человекъ, воздвигнуто 11 церквей, устроено 10 школъ, переведено на теленгутскій языкъ Евангеліе, нѣсколько Богослужебныхъ книгъ, много молитвъ и церковныхъ дѣсенъ. Успѣхи миссіи нельзя назвать значительными. Теленгуты смотрятъ на миссію, какъ на вредное учрежденіе и удаляются отъ нея въ глубь горъ, потому

что считаютъ принятіе православія равносильнымъ потерѣ національности. Теленгуты, бѣгуще отъ миссіи въ горы, бѣднѣють день ото дня; одинаково бѣднѣють и тѣ изъ нихъ, которые, принявъ православіе, поселяются на жительство около миссіи. Отчего происходитъ это явленіе, и гдѣ и въ чемъ искать цѣлебнаго средства противъ него,—отвѣты на это дадутъ только добросовѣстные и всестороннія изслѣдованія быта теленгутовъ и искорененіе эксплуатаціи, тяготящей надъ ними во всѣхъ видахъ.

Теленгуты, какъ и черневые татары, исповѣдуютъ шаманскую вѣру. Они признаютъ два начала: доброе „Ульгень“ и злое „Ерликъ“, или „Шайтанъ“. Кроме того они поклоняются горамъ, солнцу, лунѣ, небу и часть отъ каждой жертвы посвящаютъ огню. Ихъ вѣроучители шаманы, или „камы“ такъ объясняютъ свою религію: камланія ихъ есть только молитва передъ Богомъ, все создавшимъ, а жертва—знакъ смиренія и преданности ему, призываемые же ими духи есть только посредники предъ Богомъ, сообщающіе людямъ волю Верховнаго Существа. Какъ теленгуты, такъ и черневые татары глубоко вѣрують въ чудодѣйственную силу камланія своихъ камовъ. Всякое несчастіе, разразившееся надъ семьей: падежъ скота, голодъ, болѣзнь или смерть члена семьи и т. п., побуждаетъ теленгута обращаться къ каму, чтобы онъ узналъ волю злого духа, Шайтана, отъ котораго происходятъ всякое горе и бѣда на землѣ, и какую жертвою можно смягчить гнѣвъ его. По описаніямъ путешественниковъ и рассказамъ очевидцевъ, людей уже свободныхъ отъ всякихъ предрасудковъ, камланіе шамановъ, особенно при той обстановкѣ, при какой совершается, наводитъ невольный ужасъ. Какое же потрясающее дѣйствіе должно производить оно на впечатлительный умъ суевѣрнаго дикаря! Въ глубокую ночь, въ какомъ нибудь узкомъ ущельи среди скалъ, вершины которыхъ теряются далеко въ небѣ, а по уступамъ и разсѣдинамъ ихъ лѣпятся вѣковые пихты, сосны и кедры, разводится огромный костеръ, озаряющій багровымъ



отблескомъ свалы и корни деревьевъ и рисующій на нихъ чудовищные образы. Въ глубоко-благоговѣйномъ молчаніи сидятъ вокругъ него вѣрующіе, съ трепетомъ глядя на кама, который съ бубномъ въ рукахъ, одѣтый въ фантастическій костюмъ, скачетъ и кружится съ неизмѣрною быстротою около костра призывая своими дикими завываніями, подъ акомпаниментъ бубна, злого духа. Расширившіеся глаза его сверкаютъ лихорадочнымъ блескомъ, блѣдное лицо искажается судорогами, и онъ, не владѣя собою, скачетъ и кружится съ пѣною у рта до тѣхъ поръ, пока, обезсилѣвъ, не впадетъ въ безсознательное состояніе... Вылетающія въ это время изъ устъ его слова считаются выраженіемъ воли вселившагося въ него духа. Шаманы или камы передаютъ свое искусство по наслѣдству старшему сыну или старшей дочери. Теленгуты и черневые татары тщательно скрываютъ своихъ камовъ, охраняя ихъ отъ преслѣдованія православнаго духовенства и властей, нужно возбудить въ нихъ большое довѣріе, чтобъ они открыли, кто у нихъ камъ, и особенно допустили быть зрителемъ его камланія. По указанію кама, для умилостивленія божества приносятся въ жертву домашнія животныя, мясо и внутренности которыхъ съѣдаются, а шкуры развѣшиваются и служатъ какъ бы указаніемъ совершившагося тутъ религіознаго дѣйствія. Кромѣ того у теленгутовъ, у каждаго племени и даже семьи, есть свои особо чтимые фетиши. Иногда эти фетиши изображаетъ заячья шкурка, переватая какою нибудь тряпочкой. Фетиши эти всегда занимаютъ передній уголъ въ ихъ жилищахъ.

Свадебные обряды теленгутовъ и обряды погребенія крайне просты. Отецъ жениха и отецъ невѣсты условливаются о количествѣ „калыма“, уплачиваемаго женихомъ, и молодые считаются съ этого дня обрученными. По уплатѣ калыма устраивается свадьба. Отецъ жениха строитъ сыну ютру и отдаетъ часть имущества; затѣмъ женихъ отправляется къ юртѣ отца невѣсты, встрѣчается съ ея родителями и родственниками, причемъ его угощаютъ водкой. Отецъ жениха произноситъ благосло-

вѣиѣ молодой чегѣ, которое дышетъ, — какъ говорятъ люди, знакомые съ ихъ языкомъ—иногда высоко-театической прелестью, и подносятъ молодымъ чашу вина, чѣмъ и обавивается обрядъ вѣнчанія, послѣ чего слѣдуетъ продолжительное пиршество. Споры о наследствѣхъ рѣдки между теленгутами: члены семьи никогда не дѣлятъ между собою света и имущества, а владѣютъ имъ сообща. Если старшій сынъ получаетъ отдѣльную юрту и часть имущества, то остальное имущество по смерти отца получаетъ младшій сынъ, обаванный кормить за то свою мать и сестеръ; при выдатѣ замужъ послѣднихъ онъ получаетъ и калымъ за нихъ.

Мертвыхъ теленгуты хоронятъ въ могилахъ богато одѣтыми, причемъ закалываютъ иногда лошадей и погребаютъ съ ними. Заупокойныя пиршества бываютъ также весьма продолжительны; по окончаніи ихъ, камъ очищаетъ юрту покойнаго, послѣ него семейство умершаго перекочевываетъ на другое мѣсто. У некрещенныхъ татаръ, кочующихъ по рѣкѣ Кондомѣ, тѣла умершихъ не закалываютъ въ землю, а завертываютъ въ бересту и вѣшаютъ на дерево въ самомъ глухомъ лѣсу, или владутъ на деревянные срубы и иногда сжигаютъ. Мертвые при этомъ снабжаются трубкою и обильнымъ запасомъ табаку, а также ячменною мукою въ мѣшечкѣ.

Однообразно и печально проходитъ жизнь теленгута въ юртѣ, покрытой войлокомъ и берестой, или выстроенной изъ бревенъ, о восьми и четырехъ углахъ, сходящейся пирамидально къ верху, къ дымовому отверстию. По срединѣ юрты обыкновенно разводится огонь, надъ которымъ стоитъ травотій жезлѣный таганъ, къ кеску привѣшивается котелъ для приготовленія пищи. Нѣсколько войлоковъ и подушекъ, набитыхъ шерстью, замѣняютъ матрацы. Иногда эти матрацы прикрываются зѣрыми пшкурами. Котелъ, берестяная посуда, кожаные ашлени,—вотъ вся домашняя утварь теленгута. Костюмъ мужчинъ и женщинъ почти одинаковъ: дабовая рубака на тѣлѣ, которая не снимается до тѣхъ поръ, пока не летѣть. У мужчинъ короткія

шаровары и высокие сапоги из дубленой кожи. Дети обоего пола до десяти и двѣнадцати лѣтъ ходятъ нагие. Лѣтомъ сверхъ рубахъ мужчины носятъ куртки, „чѣймекъ“, и длинные кафтанъ; зимою — нагольные шубы изъ конскихъ, овечьихъ или хорьковыхъ шкуръ. Женщины также носятъ сверхъ рубахки кафтанъ, съ легкой накидкой съ прорѣхами вмѣсто рукавовъ, называемой „чадежъ“. Чадеки носятъ только замужня женщины, дѣвицы носятъ шубы, на боку которыхъ навѣшиваются ключи, бубенчики, раковины и т. п. украшения. Мужчины и женщины носятъ на головѣ одинаковую треугольную, заостренную сверху мерлуцатую шапку, покрываемую желтой матеріей съ краснымъ лоскутомъ по срединѣ. У мужчинъ, и даже у дѣтей брѣютъ на головѣ волосы, оставляя расти на темени длинную косу, которую заплетаютъ. Женщины волосъ на головѣ не брѣютъ, а заплетаютъ ихъ во множество косичекъ. У дѣвушекъ до 12-ти лѣтъ брѣютъ только переднюю часть головы, заплетая сзади волосы въ косички. Старыя дѣвушки отпускаютъ волосы спереди, оставляя ихъ не заплетенными. Типъ теленгутовъ совершенно монгольскій: сдавленный лобъ, узкіе въ раскосъ глаза, выдавшіяся скулы, широкій сплюснутый носъ, вздутыя губы и рѣдкая борода. Среди женщинъ трудно встрѣтить красивое лицо, и онѣ быстро старѣютъ, можетъ быть, влѣдствіе труда, который исключительно лежитъ на нихъ. Теленгуты крайне нечистоплотный народъ: они никогда не только не моются, но даже не умываются, въ томъ убѣжденіи, что это вредно и приноситъ несчастье. Пища теленгутовъ состоитъ исключительно изъ молока во всѣхъ его видахъ. Ячменная, молочная, жидкая каша — ихъ ежедневное любимое блюдо. Конина — любимое мясо, употребляемое ими въ пищу. Всѣ они курятъ, какъ мужчины, такъ и женщины. Нѣкоторые изъ нихъ сами сѣютъ табакъ, другіе покупаютъ отъ русскихъ, такъ какъ жители Бійскаго и Кузнецкаго округовъ занимаются производствомъ табака; многіе покупаютъ его отъ китайцевъ. Отъ послѣднихъ они исключительно приобрѣ-

таютъ и трубки. Женщины у теленгутовъ исполняютъ всѣ домашнія работы: доятъ коровъ и козъ, варятъ обѣды, шьютъ бѣлье и платье. Мужчины же только ѣдятъ, пьютъ, курятъ и спятъ. Надворъ за скотомъ у нихъ не требуетъ особеннаго труда: конокрадства не существуетъ между ними, и скоть, благодаря мелкимъ снѣгамъ, всегда находится на подножномъ кормѣ. Единственное ремесло, знакомое теленгутамъ, — это кузнечное, да и тѣмъ занимаются немногіе изъ нихъ. Всѣ теленгуты, какъ мужчины, такъ и женщины, превосходные наѣздники; ихъ привычныя лошади смѣло скачутъ по такимъ узкимъ и скользкимъ тропинкамъ на скалахъ, висящихъ надъ пропастями, что при взглядѣ на нихъ европейскіе путешественники приходятъ въ ужасъ и рѣшаются ѣхать по нимъ не иначе какъ привязанными къ лошадямъ, во избѣжаніе головокруженія и паденія въ пропасть; теленгуты-же не только не правятъ лошадьми и не держатся за поводъ, а даже сидя на нихъ дремлютъ или спятъ. Они также отличные стрѣлки, не теряющіе ни одного выстрѣла даромъ. Свои мѣткія ружья они обдѣлываютъ сами, покупая старыя солдатскія, отбивая отъ нихъ казенную часть и придѣлывая къ нимъ фитили. Зимой мужчины отправляются обыкновенно на звѣриный промыселъ, и каждый охотникъ убиваетъ въ день не менѣе сорока бѣлокъ. Соболей и сурковъ они выслѣживаютъ съ собаками въ ихъ норахъ. Опутавъ поверхность норы сѣтью, они выкуриваютъ этихъ животныхъ изъ норы, и потомъ, когда тѣ запутаются въ сѣть, при выходѣ изъ норы, бьютъ ихъ палками. Кромѣ того, они бьютъ зимою медвѣдя и козуль, а весной мараловъ, рога которыхъ особенно дорого цѣнятся въ торговлѣ.

Мало различія сравнительно съ жизнью теленгутовъ встрѣчается и въ жизни черневыхъ татаръ. Въ тѣхъ же юртахъ, покрытыхъ берестой или войлокомъ или выстроенныхъ изъ бревень, они укрываются отъ осеннихъ непогодъ и зимнихъ вьюгъ. Одежда ихъ также въ большинствѣ случаевъ ничѣмъ не отличается отъ одежды теленгутовъ; только въ послѣднее время

черневые татары, имѣющіе частыя сношенія съ русскими, стали одѣваться такъ же, какъ и русскіе крестьяне, а нѣкоторые въ сюртуки, пальто и пиджаки. Пищу черневыхъ татаръ составляетъ также молоко, поджаренный ячмень, каша и пшеничныя лепешки, выпекаемыя въ золѣ. Черневые татары готовятъ еще изъ кобыльаго молока кумысъ, но не пьютъ его, а гонятъ изъ него водку, „сайракъ“. Пьянство—самый злѣйшій порокъ, разъѣдающій послѣднее благосостояніе черневыхъ татаръ. Многіе изъ нихъ занимаютъ уже земледѣіемъ и сѣютъ главнымъ образомъ ячмень; но земледѣіе ихъ слабо: въ расщелинахъ утесовъ и въ ложбинахъ, гдѣ только есть земля, они вскапываютъ ее матыгой и бросаютъ въ скопанныя мѣста зерно. Скотоводство ихъ также бѣдно. Главное занятіе ихъ звѣроловство, и для того, чтобы не стѣснятъ при охотѣ другъ друга и имѣть болѣе пространства для этого промысла, они не скучиваются въ большія селенія. Двѣ-три юрты, принадлежащія членамъ одного семейства, составляютъ „айль“. Если же нѣсколько такихъ айловъ стоятъ вблизи другъ друга, то подобное селеніе называется „удусть“. Одно изъ прибыльныхъ занятій черневыхъ татаръ составляетъ отыскиваніе въ лѣсу меда и воска одичавшихъ пчель, которыхъ они называютъ „чѣль“. У крестьянъ Бійскаго и Кузнецкаго округовъ Томской губерніи пчеловодство составляетъ одинъ изъ благодарныхъ промысловъ, и часто случается, что пчелы весною, во время роенія, улетаютъ въ лѣса, покрывающіе горы Алтая, дичаютъ тамъ и накапливаютъ въ дуплахъ деревьевъ не рѣдко по нѣсколько десятковъ пудовъ меду и воску. Найдя медъ и воскъ дикихъ пчель, татары продаютъ ихъ за баснословно дешевыя цѣны купцамъ и крестьянамъ. Ниже мы увидимъ, къ какимъ иногда хитростямъ прибѣгаютъ крестьяне, для того, чтобы обмануть этихъ добродушныхъ дѣтей лѣсовъ и горъ и бесплатно отобрать у нихъ найденную ими добычу. Вслѣдствіе недостаточно развитаго хлѣбопашества, черневые татары, какъ и теленгуты, постоянно нуждаются въ хлѣбѣ, и случаи голодной смерти среди

нихъ встрѣчаются постоянно, даже въ самые урожайные на хлѣбъ годы; поэтому вопіющая нужда ихъ въ хлѣбѣ и служитъ постояннымъ новочинкомъ эксплуатаціи. За неимѣніемъ хлѣба, татары заготавливаютъ и употребляютъ въ пищу корни растенія, называемаго „кандыкъ“ (*Erythronium dens canis*); корень этотъ они сушатъ и наизымаютъ на нитку. Корень кандыка бѣлаго цвѣта, не болѣе вершка длины, и сваренный въ молоко имѣетъ весьма пріятный, сладкій вкусъ. Изъ этого же корня татары приготавливаютъ и ошьяняющій напитокъ „абыртку“. Нѣкоторые изъ черневыхъ татаръ и сами занимаются пчеловодствомъ, и оно могло бы спасти ихъ отъ вопіющей нужды при выгодномъ сбытѣ продуктовъ; но купцы и богатые крестьяне, пользуясь ихъ страстью къ вину, ошьяняютъ ихъ и покупаютъ за бутылку кабачной водки не только улы ичель, но и лошадей. До чего велика страсть черневыхъ татаръ къ вину, можетъ характеризовать слѣдующее явленіе: услышавъ, что у кого нибудь изъ татаръ есть водка или даже абыртка нѣз кандыка, татары семьями, съ женами и дѣтьми, ѣдутъ верстами не самымъ дурнымъ дорогамъ за 80, за 100 верстъ къ жилью подобнаго счастливица; нерѣдко везутъ съ собою муку для приготвленія аргельной водки и пьянствуютъ до гѣхъ поръ, пока остается хоть капля вина.

Не менѣе средствъ къ жизни могли бы давать черневымъ татарамъ богатые кедровые лѣса, гдѣ одно дерево даетъ иногда до 30 фунтовъ орѣха. Но прамысль этотъ служить одной изъ причинъ не обогащенія ихъ, какъ бы слѣдовало ожидать, а обѣднѣнія. Купцы, захвативъ его въ свои руки, задаютъ татарамъ въ кредитъ товаръ, съ условіемъ на каждый рубль ассигнаціями доставить пудъ орѣха; въ случаѣ же неурожаа орѣха, за каждый, недоставленный по условію, пудъ орѣха татары обязаны платить деньгами или цѣнными шкурками 2 рубля серебромъ.

Черневые татары; также какъ и голенгузы, раздѣляются на племена или роды, находящіеся подъ управленіемъ багшы-

новъ, званіе которыхъ, какъ и зайсановъ, наследственно, но должно быть утверждено избраніемъ народа и начальствомъ: Официально черневые татары дѣлятся на волости, и при банькакахъ находятся волостные писаря, которые ведутъ дѣлопроизводство. Башлыки собираютъ со своихъ волостей ясакъ и сдаютъ его въ казну; они исполняютъ всѣ административныя требованія начальства и разбираютъ дѣла и тяжбы своихъ родовъ. Собственно осѣдлыхъ татаръ, обитающихъ частью въ Кузнецкой степи, частью въ долинахъ Алтая, считается 14,898 души обоего пола. Осѣдлые инородцы болѣею частью крещены. Живутъ они иногда большими деревнями; въ домахъ; устройство которыхъ такое же, какъ и у русскихъ крестьянъ; занимаются хлѣбопашествомъ, и хозяйство и хлѣбопашество у многихъ изъ нихъ чрезвычайно обширно, что можетъ служить несомнѣннымъ доказательствомъ способности этихъ племенъ и къ культурѣ, и къ развитію между ними прочнаго благосостоянія. Если-бы были употреблены зависящія мѣры къ огражденію ихъ отъ эксплуатаціи со всѣми ея развращающими вліяніями, къ какимъ безсовѣстно прибѣгаютъ купцы для извлеченія своихъ выгодъ, то можно было бы спасти эти племена отъ вымиранія, которое замѣчается теперь среди нихъ въ страшныхъ размѣрахъ. Благоразумныя мѣры повлекли бы за собой даже умноженіе этихъ племенъ въ будущемъ. Въ русскихъ деревняхъ и селахъ Кузнецкаго округа часто встрѣчается половина населенія изъ инородцевъ. Въ веденіи хлѣбопашества и хозяйства они ничѣмъ не разнятся отъ русскихъ; дома ихъ, особенно у зажиточныхъ инородцевъ, обставлены хорошою мебелью, встрѣчаются даже зеркала, и они отличаются чистотою и опрятностію. Съ крестьянами инородцы живутъ не только дружно, но большинство ихъ черезъ браки вошло съ русскими въ тѣсныя родственныя отношенія. Плата ясака, инородцы въ то же время отбываютъ наравнѣ съ крестьянами всѣ ихъ общественныя повинности. Нѣкоторые изъ инородцевъ до того обрусѣли, что давно забыли свой языкъ и обычаи, и

нерѣдко встрѣчаются среди нихъ экземпляры съ русыми волосами, русой окладистой бородой и голубыми добродушными глазами. Крестьяне, на мнѣніе которыхъ въ этомъ случаѣ можно вполне положиться, отзываются о нравственныхъ качествахъ инородцевъ въ крайне лестныхъ чертахъ. Среди этихъ племенъ не замѣчается свойственной азіатскимъ народамъ хитрости и коварства. Напротивъ, отличительное качество ихъ по общимъ отзывамъ крайнее добродушіе и довѣрчивость. Они необыкновенно честны. Инородецъ десятки лѣтъ твердо помнитъ какойнибудь копѣчный долгъ и при первой возможности возвращаетъ его кредитору, который нерѣдко давно забылъ о немъ. Умирая съ голоду, они и тутъ не прибѣгаютъ къ воровству. Жители улуса, уходя на поля, оставляютъ двери домовъ незапертыми, и не бываетъ примѣра, чтобы изъ дома пропало чтонибудь, хотя на стѣнахъ въ домахъ висятъ шкурки дѣнныхъ животныхъ; иногда на десятки рублей, поставцы наполнены мѣдной посудой, а чуланы платьемъ. Я самъ былъ очевидцемъ подобнаго явленія, прїѣхавъ однажды въ полдень, въ рабочую пору, въ довольно обширный улусъ, гдѣ единственнымъ представителемъ населенія его оказалась больная десяти-лѣтняя дѣвочка, совсѣмъ почти не говорившая по-русски. Съ ямщикомъ инородцемъ я обошелъ всѣ дома и, остановившись въ одномъ изъ нихъ, вмѣстѣ съ нимъ согрѣлъ самоваръ и напился чаю? Вечеромъ, хозяинъ дома, возвратившись съ поля, встрѣтилъ меня крайне радушно и все твердилъ: „ужь не сердись, батюшка, что никого не было въ избѣ; спасибо, что самъ похозяйничалъ... право спасибо тебѣ... молодецъ!“

Половаго разврата не существуетъ между ними. Если мужчина соблазнилъ дѣвушку и почему либо отказывается жениться на ней, то жители всего улуса, собравшись толпой, начинаютъ бить соблазнителя, и бьютъ его до тѣхъ поръ, пока онъ не повинится и не дастъ слова загладить свой поступокъ. Племена эти отличаются еще одною крайне замѣчательною



правственной чертой, подмѣченной среди какъ кочевыхъ, такъ и осѣдлыхъ инородцевъ. У нихъ бѣдняки всегда живутъ на счетъ своихъ богатыхъ собратій. Нерѣдко весь улусъ въ годину бѣдствія безвозмездно прокармливается зажиточнымъ со-членомъ, и это нисколько не ставится ему въ заслугу и ничѣмъ не обязываетъ въ отношеніи къ нему другихъ. „Тебѣ далъ Богъ, и ты долженъ раздѣлить Божій даръ со всѣми!“ Вотъ мотивъ, изъ котораго вытекаетъ это явленіе.

Конечно, и среди инородцевъ, особенно обрусѣлыхъ встрѣчаются печальныя исключенія; но эти исключенія пока еще весьма незначительны и при другихъ, болѣе благоприятныхъ условіяхъ быстро исчезнуть. Появленіе ихъ можно объяснить дурнымъ примѣромъ, какой подають купцы и зажиточные крестьяне. Многие изъ обрусѣлыхъ инородцевъ наживаютъ теперь крупныя капиталы, эксплуатируя не хуже купцовъ племена теленгутовъ и черневыхъ татаръ. Ябедничество также играетъ у инородцевъ важную роль, и, смѣло можно сказать, оно привито къ нимъ русскимъ чиновничествомъ, поощрявшимъ въ нихъ этотъ порокъ изъ корыстныхъ видовъ. Въ примѣръ того, какъ чиновничество извращало и эксплуатировало самыя прекрасныя бытовыя черты инородцевъ—радушіе и гостепримство, я приведу слѣдующій случай, бывшій со мной. Пріѣхавъ однажды по дѣламъ службы, въ первый разъ, въ Туштуленскій улусъ, я остановился у инородца, судя по обстановкѣ комнаты, весьма зажиточнаго. Едва внесли мои вещи въ комнату, ко мнѣ вошелъ хозяинъ съ подносомъ въ рукахъ. На подносѣ лежала десятирублевая ассигнація, и на ней стояла рюмка съ какимъ-то краснымъ виномъ. Я спросилъ у него, для чего рюмка поставлена на ассигнацію.

— А это тебѣ, батюшка. Прими ее отъ меня въ подарокъ за честь!.. отвѣтилъ онъ, кланяясь.

— За какую же честь?..

— За то, что ты присталъ ко мнѣ, посѣтилъ меня; же-  
обошелъ меня своей честью, отвѣтилъ онъ.

Когда я отказался принять подарок „за честь“, онъ съ удивленіемъ, робко посмотрѣлъ на меня и спросилъ: за что я сержусь на него? По всей вѣроятности, въ умъ его промелькнуло мысль, что онъ мало предложилъ и тѣмъ оскорбилъ меня. Я отвѣтилъ ему, что мнѣ сѣрдиться на него не за что, такъ какъ я въ первый разъ еще вижу его; подарка же не принимаю потому, что считаю позорнымъ дѣломъ брать какіе бы ни было подарки, и посѣщеніе мое вовсе не приносить для него такой чести, за которую бы слѣдовало такъ дорого расплачиваться.

— Ой... ой... ой! качая головой произнесъ онъ, выслушавъ меня.— Не хорошо ты это дѣлаешь, не хорошо!..

— Почему не хорошо?.. спросилъ я, заинтересованный его укоризненнымъ тономъ.

— Отъ чести моея отказываешься!.. Честь мою обходишь!.. Чести моея никто не обходилъ, серьезно-обиженнымъ тономъ произнесъ онъ и перечислялъ мнѣ при этомъ поименно длинный рядъ моихъ предшественниковъ и другихъ чиновниковъ, іереевъ и даже протоіереевъ, которые не обходили его чести.— Они бы сѣрдились, братъ, публично бы осѣрдились, еслибъ я имъ чести не поднесъ! заключилъ онъ, задумчиво покачивая головой.

Изъ разговоровъ съ нимъ я узналъ слѣдующій обычай, съ незапамятныхъ временъ введенный среди нихъ чиновниками. Едва придетъ чиновникъ въ улусъ и останется на квартирѣ, какъ хозяинъ обязанъ поднести ему рюмку съ приложеніемъ къ ней кредитной „честь“. Выпивъ рюмку и положивъ поднесенную „честь“ въ карманъ, чиновникъ идетъ въ сосѣдній домъ, гдѣ снова выпивалъ поднесенную ему рюмку и опускалъ въ карманъ „честь“. Такимъ родомъ онъ обходилъ весь улусъ, и даже нищій инородецъ занималъ на этотъ случай два-три рубля и подносилъ приходившему къ нему чиновнику.

Только честныя и разумныя отношенія къ инородцамъ администраціи, вниманіе къ ихъ нуждамъ, безпристрастное огражденіе ихъ интересовъ отъ развращающихъ вліяній эксплуата-

торговль, а главное, — развитіе среди них грамотности и доступъ въ Алтай свободной крестьянской колонизации, трудолюбивая жизнь которой будетъ служить для нихъ благотворнымъ примѣромъ, какъ это мы видимъ на осѣдлыхъ инородцахъ, живущихъ въ средѣ крестьянъ, могутъ улучшить ихъ бытъ и положеніе. Въ противномъ случаѣ, повторю еще разъ, они будутъ постепенно вымирать и вымирать отъ голода, какъ неизбежнаго послѣдствія наемыхъ обмановъ и грабежа, скрывающихся подъ именемъ „торговли“.

Предсказаніе Никиты Васильевича сбылось. На другой день, едва я проснулся и открылъ окно, выходившее на площадку заросшую травой, на которой мирно паслась стада гусей, нигде звука моего донеслись крики и громкій говоръ. Выглянувъ въ окно, чтобы узнать причину ихъ, я увидѣлъ нѣсколько человѣкъ крестьянъ и инородцевъ сидѣвшихъ на толстомъ бревнѣ, которое лежало у плетня, обносившаго огородъ. Последнимъ не трудно было отличить по ихъ смутнымъ лицамъ, чернымъ какъ смоль, волосамъ и узенькимъ глазамъ, а главное — по жиденькимъ усамъ и бородкамъ; десятокъ-два коротенькихъ черныхъ волосковъ на подбородкѣ телегута или татарина изъ племени Иншъ-кижи скорѣе служатъ только намекомъ на украшеніе, которымъ природа, щедро одѣливъ людей другихъ расъ, почему-то признала нужнымъ лишить телегута и череваго татарина.

Подавъ чайный приборъ и самоваръ, Никита Васильевичъ тотчасъ же сообщилъ, что меня давно ожидаютъ просители, съѣхавшіеся чуть не до разсвѣта изъ различныхъ деревень и улусовъ. Не желая терять времени, я велѣлъ позвать къ себѣ Митрофана Сысоева и Абыша, который, какъ оказалось, явился въ улусъ ранѣ посланнаго за нимъ гонца. Развязно войдя въ комнату, Митрофанъ Сысоевъ усердно помолился на икону, висѣвшую въ переднемъ углу, и поклонился мнѣ, проговоривъ:

„Почевали здорово!..“ „Съ дорожки-то, поди, батюшко, сладко поспалось.. а!“ улыбаясь спросил онъ. „По нашимъ-то горкамъ, какъ поѣдешь, такъ такъ-то ли сладко укачаетъ тебя, што радъ до мѣста!.. Обидчикъ-то мой самъ, слышь, пришелъ и гонца не ждалъ!“ объявилъ онъ, указавъ на Абыша, низенькаго, тщедушнаго человѣка, который только что переступилъ порогъ, какъ молча, униженно началъ кланяться мнѣ, сядясь изобразить при этомъ въ лицѣ своемъ привѣтливую улыбку. Но улыбка эта ни какъ не выходила на его толстыхъ, почти темно-вишневыхъ губахъ. Смуглое лицо его было изрѣзано морщинами; узенькіе, каріе глаза слезились; черные, густые волосы, подстриженные въ скобку, совершенно закрывали лобъ и почти сливались съ черными, густыми бровями. На немъ былъ надѣтъ сѣраго сукна зипунъ, весь въ прорѣхахъ; холщевые, грязные штаны были запущены за голенища сапоговъ, подошвы у которыхъ подпоролись и хлябали. Опясанъ онъ былъ тонкимъ, чернымъ ремешкомъ, симметрично усаженнымъ оловянными пуговками; такими же оловянными пуговками былъ усаженъ и кожаный полукруглый мѣшокъ, прикрѣпленный къ ремню съ правой стороны. Изъ мѣшка выглядывалъ тоненькій мѣдный чубукъ отъ трубки.

— Какъ тебя зовутъ? спросилъ я, когда Абышъ, продолжая кланяться, подошелъ поближе и сталъ рядомъ съ Митрофаномъ Сысоевымъ, презрительно поглядывавшимъ на него.

— Абышъ Салмакычъ! отвѣтилъ онъ, кланяясь почти всѣмъ корпусомъ.

— Это отца твоего звали Салмакомъ или это твое родовое прозвище? спросилъ я.

— Ну... ну... Салмакъ, Салмакъ звался отецъ, Салмакъ былъ!.. Я изъ подъ Миколы башлыка... можетъ знашь... Миколай Кульчуганычъ башлыкъ... Я изъ подъ него!.. объяснилъ онъ.

— Онъ хотеть объяснить вамъ, сударь, вмѣшался Никита Васильичъ, стоящій у двернаго косяка,—что онъ состоитъ подъ

вѣдѣніемъ башлыка Кондомо-Елейской волости, Николая Кульчуганова.

— Ну... ну... ну... такъ, такъ! пояснилъ Абышъ.—Николая Кульчуганова!..

— Ты знаешь этого крестьянина? спросилъ я Абыша, указавъ ему на Митрофана Сысоева.

— Знаю... знаю... дружбу ведемъ! отвѣтилъ онъ.

— Ну, такъ этотъ другъ-то твой, Абышъ Салмакычъ, жалуется на тебя, что ты взялъ у него 4 пудовки хлѣба, обѣщаль ему за это въ жнитво четыре дня отработать и не являешься къ нему на работу...

— Пошто жаловаться... пошто? началъ Абышъ, обратившись къ Сысоеву и укориженно качая головой.—У тебя Богъ и у меня Богъ... Богъ все видитъ... пошто напрасно жаловаться? снова спросилъ онъ.

— Не по головкѣ ли вашего брата гладить велишь, а? насмѣшливо глядя на него, спросилъ Сысоевъ.

— Пошто, Митрофанъ, по головкѣ гладить?.. Коли ты хорошо сдѣлашь... по головкѣ Богъ будетъ гладить; и бить по головкѣ Богъ будетъ, коли худо сдѣлашь!.. Ты какъ меня обидѣлъ-то, а?.. Э... э... Митрофанъ, Митрофанъ... худо это, Митрофанъ! говорилъ онъ, укориженно качая головой.—Пошто я не шелъ жаловаться, что ты меня обидѣлъ, а?.. Пошто?.. А ты меня обидѣлъ, што я плакалъ, баба плакала, сарынь \*) вся плакала... всѣ плакала!.. Вотъ какъ ты обидѣлъ меня!.. горячо говорилъ Абышъ.

— Эхъ... и допотню-то твою не слушалъ бы! произнесъ Сысоевъ, презрительно отвернувшись отъ него и сплунувъ на сторону.

— Чѣмъ же онъ обидѣлъ тебя? спросилъ я Абыша.

---

\*) Крестьяне въ Кузнецкомъ и Бійскомъ округахъ Томской губерніи называютъ дѣтей до десятилѣтняго возраста „сарынь“. Иностранцы также переняли отъ нихъ это названіе.

— Коня у меня увелъ, своими руками увелъ... кѣмъ не обида!

— Зачѣмъ же онъ коня у тебя увелъ, а?..

— Спроси его... живой стоять!.. отвѣтилъ Абышь, указавъ на Сысоева.

— Увелъ! произнесъ неожиданно Сысоевъ, весь вспыхнувъ.—Увелъ!.. И дуракъ вотъ, што отдалъ тебѣ обратно его... право, дуракъ Бить вотъ, говорю, надо нашего брата за сердоболье-то къ вамъ! Не слушай ты его, ваша милость... мало ли чего онъ тебѣ съ глупаго-то разума наплететь, только время волочить, а мнѣ бы вотъ бѣжать надоть по дому теперь, дѣла-то не оберешься...

Никита Васильевичъ при послѣднихъ словахъ его усмѣхнулся и отканцлялся въ руку.

— Ты уводилъ у него лошадь? спросилъ я Сысоева.

— Бралъ, бралъ... уводилъ... Да вотъ, говорю... съ дуру-то...

— Съ его позволенья уводить? прервалъ я.

— Пошто... съ моего позволенья... слушай... загорячился Абышь.—Въ Чернь я бѣгалъ... Ну... прибѣгъ домой, гляжу: баба плачетъ... голосомъ плачетъ... сарынь вся плачетъ... Пошто, говорю, ты, баба, плачешь?.. Обхватила баба руками голову, говорить: Абышь Салмакычъ, Митрофанъ, говорить, былъ... ругалъ, ругалъ... меня ругалъ... тебя ругалъ... да понюлъ говорить отвязалъ нашего коня и увелъ! Пошто, говорю, онъ коня увелъ?.. Не знаю!.. Бѣ-ѣ-да... Схватилъ я свою голову руками... ну плакать!.. Всего одинъ конь у меня, и того увелъ... Плакалъ, плакалъ... Побѣжалъ къ нему въ деревню... бѣгомъ бѣжалъ... Прибѣжалъ... Пошто, говорю, ты, Митрофанъ, коня увелъ? Отдай коня!.. Не дамъ, говорить... Пошто не дашь?.. Когда, говорить, отробишь муку мнѣ, тогда, говорить, отдамъ тебѣ коня... Вотъ вѣдь, какъ онъ зорилъ меня!.. Скажи, Митрофанъ, зорилъ ты меня? спросилъ онъ, обратившись къ Сысоеву...

— О-о-хъ, Господи... за грѣхи только съ нечестью... путашь меня!.. произнесъ Сысоевъ, глубоко вздохнувъ и набожно взглянувъ на икону.

— Правда это, что онъ говорить? спросилъ я Сысоева.

— Уводилъ... не вѣтаюсь!..отвѣтилъ онъ.

— Зачѣмъ же ты уводилъ?..

— Хе... зачѣмъ? усмѣхнувшись повторилъ Сысоевъ, проведя рукою по бородѣ и усамъ.— Да вотъ и говорю, милостивецъ, што бить бы нашего брата надоть, выволочку-то такую бы задать... штебъ до могилки памятна была; вотъ и были бы умнѣй, и сами-то въ спивоѣ бы жили... и начальство-то не утруждали бы просьбами... въ грѣхи-то наши не путали!..

— Ты объясни мнѣ: для чего ты безъ его позволенья коня у него увелъ? снова спросилъ я, прерывая потокъ его краснорѣчія.

— Хе... нешто разбой какой сдѣлалъ я?.. спросилъ онъ.

— Для чего ты увелъ?

— Коня я увелъ у него, братецъ ты мой, вотъ для какой причины, отвѣтилъ онъ, немного подумавъ:—вѣдь взять, теперича, у него въ случаѣ неустойки, окромя коня, нечего. Въ избѣ-то у него, окромя бабы да сарыни... пустехонько... што изъ березоваго голика не найдешь... Изъ одной чашки, какъ собаки, прости Господи, лакають!.. Ну, и увелъ у него коня... Чего съ него взять?.. Вотъ онъ весь тутъ: чего на немъ, то и при немъ...

— Ты все-таки не объяснилъ мнѣ: для чего ты увелъ у него лошадь? настойчиво спросилъ я.

— А такъ полагаю, милостивецъ, въ своемъ-то умѣ-разумѣ: возьму, молю, у него коня да и придержу у себя... тогда ужъ онъ безпримѣнно придетъ и отработаетъ долгъ, а когда отработаетъ сполна долгъ, тогда и коня ему отдамъ!.. Да вишь вотъ, сердоболье-то зашло... не надоть бы и отдавать-то!..

— Нешто ты коня мнѣ отдашь? спросилъ его Абышь...

— А кто жь?... не глядя на него спросил Сысоевъ.

— Пошто Митрофанъ, ты врешь?! А?... Пошто ты врешь?... Погляди ты на своего Бога, а!.. Вонъ онъ, старичекъ-то Николая вашъ! говорилъ Абышь, указывая пальцемъ на икону Николая Чудотворца, висѣвшую въ переднемъ углу. — Онъ добрый старичекъ... добрый... кабы онъ не добрый былъ, давно бы тебя пришибъ... Вашъ Богъ не нашъ шайтанъ... Нашъ бы шайтанъ э... э... давно бы кончалъ тебя...

Никита Васильевичъ засмѣялся и, по обыкновенію, закапчалъ въ руку, глядя на комичную фигуру Абыша, съ жаромъ объяснявшаго злобу шайтана, карающаго людей за всякую неправду.

— Уйми его, пуцай не врать! съ поклономъ обратился ко мнѣ Абышь. — Плакалъ я, въ ноги кланялся: „отдай мнѣ, Митрофанъ, коня... я тебѣ и такъ отработаю хлѣбъ... Пуцай, говорю, и твой Богъ Никола, и мой Шайтанъ... кончаютъ меня, и бабу кончаютъ, и сарынь всю кончаютъ, коли не отработаю тебѣ хлѣбъ. Бѣдный я... у меня всего одинъ конь, куда я безъ коня, бѣ-ѣ-да!“ Не отдавай!.. Пошелъ къ его старостѣ Василью, тому въ ноги поклонился: „вели Митрофану коня мнѣ отдать.“ Пошелъ староста Василій къ нему, мужикъ ихній пошелъ... много ихъ мужика пошло... „Отдай, говорятъ, — Митрофанъ, коня Абышкѣ... грѣшно, говорятъ, зорить его, — Шибко его корилъ ихъ мужикъ... Не отдавай!.. Василья-то старосту за воротъ брать... Грѣхъ такой былъ, бѣ-ѣ-да!..

— За воротъ брать... хе... возьми-ко! смѣясь произнесъ, не глядя на него, Митрофанъ. — Зады... нешто... не писаны...

— Брать! крикнулъ Абышь. — Пошто ты врешь, Митрофанъ? Староста Василій живой человекъ... самъ скажетъ: брать!.. Староста Василій и коня у тебя отобралъ и отдавъ мнѣ... Пошто ты врешь!.. Ой... ой... худо это, Митрофанъ, закончилъ Абышь, качая головой.

— Скоро начнется у тебя жнитво? спросилъ я Сысоева.

— Гляди... за недѣлку-то и приниматься надоть...



— А что стоит у вас пудовка ржаного хлѣба? спросилъ я его.

— Глядя по хлѣбу и цѣна, милостивецъ, отвѣтилъ Митрофанъ. Каковъ хлѣбъ... Хорошій хлѣбъ продаемъ и тридцать пять, и сорокъ копѣекъ пудовку...

— Митрефанъ Артемьичъ... когда же у насъ хлѣбъ былъ въ такой цѣнѣ? прервалъ его Никита Васильевичъ.

— Случалось, милый... што ты...

— Я девять лѣтъ живу здѣсь... не слыхалъ о такой цѣнѣ!

— Оно чего говорить... точно... за послѣдни-то года Господь выискалъ урожаемъ... Оглянулся, говорю, на насъ Творецъ-то небесный. Поспалъ хлѣбецъ въ цѣнѣ-то, говорилъ онъ какимъ-то особенно мягкимъ голосомъ, избѣгая взглядовъ Никиты Васильевича.

— По-чѣмъ же ты цѣнишь пудовку того хлѣба, что далъ Абышу? снова спросилъ я Сысоева.

— Какъ ты его, милостивецъ, на цѣну-то будешь класть?.. Мы все подъ работу даемъ, отвѣтилъ онъ.

— Ну, еслибъ ты продалъ его, то сколько бы взялъ за пудовку?

— Да што, сударь... пустой это разговоръ!... Цѣну мы кладемъ... глядя тоже, кто покупаетъ! снова уклончиво отвѣтилъ онъ.

Я распорядился, чтобы всѣ крестьяне и инородцы, имѣвшіе до меня дѣло, вошли въ комнату. Минуту спустя, они, одинъ за другимъ, входили въ дверь. Крестьяне и крещеные инородцы, войдя въ комнату, прежде всего крестились и потомъ уже кланялись мнѣ, привѣтствуя: „доброе здоровье твоей милости!“ или „ночеваль здорово, батюшка!“ и т. п. Некрещеные же инородцы, входя, только кланялись и старались стать въ сторонѣ, поодаль отъ другихъ.

— Скажите-ка вы мнѣ по правдѣ, обратился я къ крестьянамъ:—по-чѣмъ продавали вы въ прошлую зиму пудовку ржаной муки?..

При этомъ вопросъ крестьяне и мнородимъ молча переглянулись между собою.

— Ржаной-то муки пудовку по чемъ продавали? повторилъ одинъ изъ крестьянъ, сѣдой уже старикъ, въ большкхъ, сѣрыхъ глазахъ котораго отражались и добродушіе, и искренность, внушавшіе къ нему невольное почтеніе и довѣріе. — Да по чемъ продавали-то? повторилъ онъ, поглядѣвъ вокругъ себя:—десять-то копѣекъ красная цѣна была!..

— Де-е-сять повторилъ Сысоевъ, неслоса посмотрѣвъ на него.

— Ай дороже, скажешь, а? спросилъ у него старикъ— Да я первой двадцать три пудовки по десяти копейкъ продалъ тому... вонъ... какъ онъ ужо... дай Богъ память... ну-у... вытряхнуло изъ ума-то, говорилъ онъ, почесывая затылокъ,— Филоху... Моркелычу..., вспомнилъ... Прикащикъ онъ изъ Бйска...

— И путную цѣну взяли... А то и по девяти сбывали? пронеслось въ толпѣ.

— Путную... И я-то говорю... дороже десяти цѣны не слыживали... отвѣтилъ старикъ.

— У насъ на хлѣбцѣ-то сударь, не расторгнешься, бойко произнесъ молодой парень:—де-е-ешавъ... ѣшь на здоровье... Въ урожай-то когда... не хошь-ли по шестя копекъ пудовку.

— И отдашь!..

— Гноить не будешь... особливо, какъ подушпа-то подкатить.

— А много ли вы платили въ жнитво поденщику? спросилъ я, прерывая поднявшійся между ними говоръ.

— Не случалось намъ, кормилецъ, нанимать-то отвѣтилъ старикъ.—Сами мы энтимъ дѣломъ орудуемъ... Это, вотъ, богатый кто... што сѣть-то по-многу... ну, тотъ о работникѣ-то плачется... въ ину пору...

— Ужъ менѣ-то семи рублевъ за денежъ не наймешь...

Да и все удовольствіе еще предоставишь! отвѣтилъ тотъ же парень...

— Глядя по году клата-то, сударь... Въ это время, какъ хлѣбъ-то поспѣетъ... да начнетъ осипаться... такъ и восемь дашь и восемь съ полтинкой, и то не всякій-то бросится...

— Семь рублей безъ обиды давай! отвѣтилъ парень.

— Семь рублей... на полномъ твоёмъ удовольствіи... штобы, значить... и горячее и угощенье... пожалуй, што обиды не будетъ... отвѣтилъ старикъ.— Ужь путный хозяинъ, извѣстно... обиды не' положить работнику... удовольствуешь его... Ему жъ веселѣй глядѣть, какъ богоданные-то сношники... расти мочнуть...

Все время, пока шель разговоръ между мною и крестьянами, Сысоевъ улыбался, поглаживая усы и бороду и ижееса, пытливо поглядывалъ не меня. Абышь же стоялъ неподвижно и совершенно безучастно слушалъ, о чемъ оноего него говорить.

— Слушай, Абышь, началъ я, обратившись къ нему:— ты бралъ у Митрофана Сысоева четыре пудовки хлѣба съ обязательствомъ отработать ему этотъ хлѣбъ, когда придетъ жнитво, четыре дня...

— Отроблю батюшка... И... и пеншто онъ только жаловался... Богъ его... Микела... знаетъ...

— Для того же, чтобъ это дѣло было вѣрнѣе... я дамъ башлыку твоему предписаніе... чтобъ онъ выслалъ тебя въ Атаманову, когда подойдетъ рабочая пора...

— Не ниши... самъ пряду!...

— Спасибо тебѣ, милостивецъ! произнесъ обрадованный Сысоевъ, кланаясь.— Дай тебѣ Господи... за твою правду... Я уже самъ гумашку-то свезу... Миколаю Кульчуганычу... Оно вѣрнѣй будетъ дѣло-то.

— Хорошо, отвези! отвѣтилъ я...

— Сегодня же сбѣгаю... по твоей-то гуматѣ... Миколай-то его поверне-е-етъ...

— Ну, затѣмъ ты, Сысоевъ, слушай! прервалъ я.

— Говори, милостивецъ... Слышу... слышу... Дай тебѣ Господи...

— Пудовка муки стоитъ десять копѣекъ...

— Десять?... Да по што же десять-то? удивленно прервалъ онъ.

— Сколько же, по-твоему, стоитъ она?

— Ужъ бѣдко, бѣдко двадцать-то копѣекъ положить за нее надоть... Я... на общество сошлюсь... Пусть общество подъ присягой покажетъ, каковъ у меня хлѣбъ-то: ядренный, крупный, зерно къ зерну... не чета, какъ у другихъ! говорилъ онъ, не обращая вниманія на смѣхъ и шопотъ окружающихъ.

— Ну... хорошо... пусть будетъ двадцать копѣекъ, отвѣтилъ я.—Такъ слушай же: за тѣ четыре дня, которые Абышь отработаетъ у тебя, ты долженъ заплатить ему по семи рублей въ сутки...

— Заплати-и-ить!?. удивительно протянулъ онъ.

— Да, заплатить двадцать восемь рублей; а за вычетомъ 80 копѣекъ, что стоятъ четыре пудовки хлѣба, ты отдашь ему на руки двадцать семь рублей двадцать копѣекъ... Понялъ?..

— Какъ не понять, понятно... произнесъ онъ.

— Для того же, чтобъ ты не обманулъ его, а рассчитаешь какъ слѣдуетъ, я предпишу волостному старшинѣ наблюсти за тобой и, въ случаѣ твоего упорства, взыскать съ тебя эти деньги узаконеннымъ порядкомъ...

— Это ты по каковски же меня разсудилъ? спросилъ Сысоевъ, оставивъ лѣвую ногу и заткнувъ пальцы обѣихъ рукъ за кушакъ.— Это ты за што же зоришь-то меня, а?.. Нѣ-ѣтъ... ваше благородіе, у насъ этакъ-то не судятъ, не погнѣви... Мы за эту обиду и до превысшей власти дойдемъ!.. Я же ему, теперича, хлѣбъ давалъ, можетъ отъ смертнаго часу его спасъ... за то, штобъ онъ отробилъ мнѣ этотъ хлѣбъ... да я же и плати ему за работу? Не-ѣтъ, этакъ-то милосердствовать, ваше благородіе, не доводится... Ужъ денегъ ему отъ меня не видать... не погнѣви!..

— Что же, ты не заплатишь ему?..

— И ни въ жизнь... Это, чтобъ лиходѣемъ себѣ быть... да избави Господи!..

— Есть у тебя, Абышь, 80 копѣекъ, чтобъ отдать ему... .

— Нѣтъ... Весь вотъ тутъ, бачка! тоскливо отвѣтилъ онъ, разведя руками.

— Это можно изъ водостныхъ суммъ, сударь, выдать... а потомъ, при взиманіи ясака, получить съ него! вмѣшался Никита Васильевичъ.

— Ну, Сысоевъ, ты получишь 80 копѣекъ, и болѣе не имѣешь права требовать, чтобъ Абышь работалъ на тебя. А ты, Абышь, не являйся къ нему на работу, твой долгъ уплотять!..

Абышь вышелъ изъ комнаты, продолжая кланяться даже и за порогомъ. На исхудаломъ лицѣ его выразалась радость, въ глазахъ искрились слезы... И долго еще со двора мигъ слышался голосъ Сысоева: „Нѣ-ѣтъ... съ такимъ судомъ долго не проживе-е-ешь!.. Пуцать тоже по міру нашего брата не доводится... Мы и до губернатора дорогу найдемъ... мы, коли што, и самолично...“

— И здравный же мужикъ!.. пронеслось среди усмѣхнувшихся крестьянъ.

— Обсуди, батюшка, теперича мое дѣло, коли время-то терпитъ тебѣ... Ужъ очень бы въ обидѣ-то намъ не хотѣлось оставаться, заговорилъ, выдвигаясь изъ толпы, пожилой крестьянинъ, одѣтый весьма бѣдно: въ смурый зипунъ съ холщевыми заплатами на рукавахъ и груди. Широкое лицо его, обрамленное окладистой бородой, въ которой пробивалась уже густая сѣдина, имѣло весьма степенный видъ: сѣрые глаза смотрѣли наблюдательно изъ-подъ густыхъ, русыхъ бровей, и когда онъ говорилъ, то изподлобья оглядывалъ слушателя, какъ бы повѣряя впечатлѣніе, производимое его словами. — Пасеку я держу, пчелками кормлюсь, продолжалъ онъ. — И рѣдкій годъ, батюшка, выдастся, чтобы пчелы у меня въ

Чернь не слетали... Ужь какъ пачнутъ роиться по веснѣ... такъ какъ караулю ихъ... во всё-то глаза гляжу.. нѣтъ... все роя два-три, а то, пособи Богъ, и болѣ... улетать въ Чернь... Въ ину пору выслѣдишь ихъ, гдѣ онѣ оснуются а въ ино время и слѣда ихняго не найдешь... Въ прошлую весну два роя слетѣли.. ну, нашель ихъ въ валежнѣ, никакъ пудовъ до семи межу-то въ дупло... въ дерево накосили. И нынѣ роекъ слетѣлъ, также я выслѣдилъ его и мѣстечко за-примѣтилъ, гдѣ онъ основался. Крутень... горка такая есть: въ Крутени, въ дупло также натаскали меду. Все карауль: придетъ, моль, пора: выну медъ и воскъ. А крихожу новѣ вырѣзывать, гляжу; ужь все пусто, все вычищено. Сначала, то было въ умъ мнѣ впало, что медвѣдъ поворилъ. Ну, опосля того, все-таки, началъ татаръ поспрашивать. Татары-то и сказали мнѣ, что въ Крутени-то Кимыкъ, говорить нашель медъ... никакъ пудовъ пять будетъ. Я къ Кимыку кинулся... спрашиваю его: нашель медъ въ Крутени? Нашель, говорить!.. Это, говорю, мой медъ... потому, говорю, моя пчела отлетѣла, а все дѣло сторожилъ его — отдай мнѣ этотъ медъ... У тебя, говорить, вездѣ твои пчелы летаютъ: кто бы гдѣ ни нашель, все твой медъ... Такъ и не отдаетъ. Принудь его, батюшка, отдать мнѣ мое добро? закончилъ онъ, поклонившись...

— А гдѣ же этотъ Кимыкъ? спросилъ я.

— Здѣсь!.. Гдѣ? Онъ вышель, никакъ? спросилъ, онъ отглянувшись.

— Кимыкъ... подь сюда! крикнулъ Никита Васильевичъ, отворивъ дверь.

Въ комнату вошелъ высокій, худощавый, но сильнаго сложенія инородецъ. Смуглое лицо его не носило того отпечатка униженности и покорности, какое выразалось въ лицѣ Абыша; оно было смѣло и энергично. Поклонившись мнѣ, онъ раставилъ ноги и, заткнувъ пальцы рукъ за ременный поясокъ, также усаженный оловянными пуговками, какъ и у Абыша, спросилъ:—Чего изволишь отъ меня? Я Кимыкъ!

— Ты напелъ въ Крутени медь? спросилъ я.

— Напелъ...

— Вотъ этотъ крестьянинъ, началъ я, указавъ ему на просителя, — говоритъ что этотъ медь напошенъ его пчелами, отлетѣвшими весною въ Чернь, и просить, чтобъ ты возвратилъ ему этотъ медь.

— Ужь ты, Максимъ Назарычъ, моего меда не отвѣдашь!.. съ ироніей произнесъ Кимыкъ, обратившись къ просителю... Охочь ты до дароваго-то медку... да вишь... я-то не прость, не Намжижка... меня не едуратишь... Не отдамъ я ему медь, ваше благородье, произнесъ онъ, обратившись ко мнѣ—у него и своего много... Мой медь не его пчела носила...

— А чья же? Ты знаешь развѣ? спросилъ я.

— Божья...

— Хе... Божья! повторилъ, усмѣхнувшись, Максимъ Назарычъ. — Ты вижкни, Кимыкъ Балталычъ, въ дѣло, а вря-то не говори. Это мои... пчелы... носили, мой роекъ!..

— Твои!.. Ты мѣтилъ ихъ, а? спросилъ Кимыкъ...

— Ч-удакъ!.. Какъ же ты на Божью тварь мѣтку положишь... а-а? Въ умѣ ли ты?..

— Почему же ты знаешь, коли такъ, что это твоя пчела?

— Ъѣдь... я, поди, бѣжалъ за роикомъ-то... видѣлъ, гдѣ онъ основался...

— Бѣжа-а-аль! протянулъ Кимыкъ. — А что жь ты не поймаешь его, а?.. Пошто другія-то пасечники, коли слѣдять за роємъ да намѣнять, куда присядеть матка... такъ сейчасъ сгребаютъ ее въ сѣтъ? А ты, вишь, какой простенькой, и шевелить ее не стаешь... пустилъ въ Чернь гулять... ой... ой!.. Нѣтъ, еслибъ ты свою-то пчелу увидѣлъ... такъ полсотни версть пробѣжалъ бы за ней, да дни и ночи надъ ней бы сиднемъ сидѣлъ, а не пустилъ бы безъ призору по Черни гулять... Знаю я тебя!.. Его пчела, вишь, носила въ Крутени медь! произнесъ онъ, обратившись къ окружающимъ.—Пошто

ты, коли зналъ, что это твоя пчела, — не сидѣлъ надъ ней, не караулил ее?!

— Не разорваться же мнѣ ради одного ройка... У меня, Кимыкъ Балтанычъ, пятьсотъ колодокъ пчель-то, есть за чѣмъ присмотрѣть... знай!

— Чѣмъ же ты докажешь, что найденный Кимыкомъ медъ дѣйствительно наношенъ твоими пчелами? спросидь я.

— Чѣмъ тутъ докажешь! отвѣтилъ онъ. — Энти дѣла у насъ по совѣсти дѣлаются... Одно и скажу, что окромя моей пчелы, какой же другой наносить, коли я доподлинно знаю, что мой роекъ въ Крутень слетѣлъ да основался...

— Скажи мнѣ, пожалуйста, зачѣмъ ты, если выслѣдилъ, что твой рой пчелъ слетѣлъ въ Крутень и, какъ ты говоришь, основался тамъ, не предупредилъ объ этомъ въ то же время живущихъ по близости къ этой мѣстности татаръ... не заявилъ башлыку ихъ и своему старостѣ, что твои пчелы въ Крутени? Тогда бы у тебя были доказательства, что найденный въ этой мѣстности медъ, дѣйствительно, наношенъ твоими пчелами и принадлежитъ тебѣ. Отчего ты не сдѣлалъ этого?..

— Вишь вотъ грѣхъ-то!.. И въ умъ не впало... объявить-то!.. смѣшавшись отвѣтилъ онъ.

— Не впало бы тебѣ въ умъ?! насмѣшливо произнесъ Кимыкъ. — Охъ, Максимъ... не лукавь... не вводи въ сердце...

— О-о.. какой строгій!.. Не вводи его въ сердце! желчно отвѣтилъ Максимъ. — А ты не забывайся... предъ ливомъ-то начачьника, его высокоблагородія, строго произнесъ онъ: — глупый... опамятуйся!..

— У Намжилки въ прошломъ году ты свой медъ отобралъ? спросилъ его Кимыкъ.

— Свой.

— Сво-о-ой!.. Хошь, я тебя... обнаружу, а?..

— Обнаружу!.. повторилъ, усмѣхнувшись, Максимъ. — Чего ты обнаружишь-то... а?.. Чего ты страдашь... а?... Об-



наружу, говорить, повторилъ онъ, обведя окружающихъ смѣющимся взглядомъ. А чего обнаружилъ, и самъ не знаетъ... Чудака, право... Глухой, говорю, человекъ!.. О-обнаружу!..

— Я... Максимъ, смиренно жилъ: не лѣзь на тебя, провѣнесъ Кимыкъ.

— Кто-бы исподу допустилъ тебя... на себя-то заглѣсти... Хе... ты бы... хоть... поприличнѣй: слова-то выпускалъ предъ начальникомъ, снова строго внушительнымъ тономъ заговорилъ онъ. — А те еще страннѣе... Обнаружу!.. Ну, что жъ замолчалъ?.. Обнаруживай...

— Ваше благородье... ты Максиму не вѣрь: онъ плутъ! горячо заговорилъ Кимыкъ, на лицѣ котораго выступила краска. Онъ ужъ который годъ обирать по Черни медь у татаръ... Вѣрь... это вотъ какой плутъ?.. Слушай... Какъ придетъ, слышь, время... што наши татары пойдутъ на промыселъ въ Чернь... медь... искать... онъ и почнетъ по селамъ ѣздить, водкой татаръ поить да вывѣдывать: не нашель ли кто изъ нашихъ меду... А тѣ, съ простоты-то да съ пьяна, и сболтнуть ему... што... вотъ хоть бы я, къ примѣру, Кимыкъ, нашель медь. Онъ и приступить: гдѣ нашель? Въ Кругени, скажутъ ему... Вотъ онъ и привяжется, што... это его пчела слетѣла туда да наносила меду. Кричить: подай!.. Не правда... скажешь... а!.. спросилъ онъ Максима.

— Болтай... болтай... послушамъ, чего далѣ-то сболтнешь...

— Сболтну... я-то по правдѣ сболтну...

— Ну... ну... послушамъ... болтало-то, вѣдь... не привязано, хе... насмѣшливо отвѣтилъ Максимъ.

— А кто упрется... слышь, ваше благородье... не станеть ему медь отдавать, продолжалъ все болѣе и болѣе воодушевляясь Кимыкъ... такъ онъ чиновниками почнетъ... стращать... Просьбой, отдай говорить, — а те тебя въ городъ выпинуть... на слѣдствіе... въ острогъ посадятъ... Глухой-то кто испужатся... да и отдасть ему... только бы грѣха не на-

жить... Не правда... скажешь, Максимъ, а-а?.. Намжилку ты въ прошломъ году не стращаль этакъ-то, а?..

— За свое кровное если стоять, такъ устранивать развѣ, а-а?..

— Кро-о-вное!.. У тебя все кровное... А какъ ты мнѣ грозилъ чиновникомъ-то... ну-ко... скажи... а?..

— А хоша-бъ и грозилъ... што жъ изъ эстаго, ну? И грозилъ!.. Вотъ мы предъ ликомъ его высокоблагородія стоимъ. Нешто худое чего сдѣлалъ, я, а-а?.. Гдѣ-жъ на васъ, собакъ, суда-то искать... окромя начальства, а?.. Глупый ты человекъ, право, хошь бы говорилъ-то резонъ... а то мелеть... мелеть... О-обнаружу! А чего обнаружилъ-то: што чиновникомъ вашего брата припугивалъ, штобъ правды отъ васъ добиться... Обнаружилъ... хе... смѣясь заключилъ онъ. — Прикажете ему, ваше высокоблагородіе... отдать... мнѣ мой медъ... окажи милость...

— Нѣтъ, не прикажу, отвѣтилъ я.

— О-о... пошто же такъ? удивленно спросилъ онъ.

— Признаю твою претензію неосновательной. Представь доказательства или свидѣтелей, что найденный Кимыкомъ медъ дѣйствительно наношенъ твоими пчелами, и тогда я прикажу возвратить этотъ медъ тебѣ...

— Моими, батюшка, вѣрь совѣсти... на Бога сошлюсь, моими...

— А кто поручится, скажи мнѣ, что черезъ часъ не придетъ еще кто нибудь... и также скажетъ, что медъ въ Крутени былъ наношенъ его пчелами... и также на Бога сошлетъ и на совѣсть кому же изъ васъ тогда я долженъ буду повѣрить, а?..

— Ишь вотъ промашку-то какую далъ! И то бы надоть въ то время старостѣ объявить да башлыку... Ишь... умъ-то, говорю, у насъ... завсегда задней заклепкой крѣпокъ, говорилъ Максимъ, всхлывая себя руками по бедрамъ.—А-ахъ, ты, горе какое, а?.. Такъ... ужъ не будетъ, батюшка, твоей милости ко мнѣ? снова спросилъ онъ.

— Нѣтъ, не будетъ, голубчикъ.

— А-ахъ, ты, горе-то, а?... Ну, не погѣви, что потрудилъ тебя своей доукой... Дай тебѣ, Господи, за доброе слово... что надоумилъ. Ужъ на-предки, теперича, коли што, такъ ужъ мы свидѣтелей предоставимъ... Прости ужъ меня, Кимыкъ Балтанычъ, што побезпокоилъ тебя, говорилъ онъ, съ христіанскимъ смиреніемъ кланяясь Кимыку:—владѣй моимъ медкомъ, кушай его на доброе здоровье....

— Съѣдимъ, Максимъ... съѣдимъ!..

— Кушай!.. Давай Богъ... чтобы... только въ прокъ по-печь!.. А ты бы, ваше высокоблагородіе... хопса бы на половинкѣ помирилъ насъ... Яви милость!.. снова обратился онъ ко мнѣ.—Бѣдко вѣдь... мнѣ... право, бѣдко...

— Не могу и этого сдѣлать... не проси!..

— Не можешь! Эко ты дѣло-то, а?... Задаромъ только съѣздилъ, день потерялъ... Ну, прости, коли такъ... А на половинкѣ-то помирить все бы, слышь, безобиднѣй было: по крайней мѣрѣ, зналъ бы, што не даромъ съѣздилъ... Право... Яви-ко милость!.. кланяясь заключилъ онъ.

Получивъ отказъ на свое ходатайство, Максимъ Назарычъ отошелъ къ дверямъ и долго топтался на одномъ мѣстѣ, то почесывая затылокъ, то выражая въ тихомолну окружающимъ свои сѣтованія, что напрасно потерялъ время. Впослѣдствіи я узналъ, что онъ купилъ спорный медъ и воскъ у Кимыка за три пудовки ячменя и десять фунтовъ табаку. Одинаково помирлись послѣ моего разбирательства и Абышъ съ Митрофаномъ Сысоевымъ. Мирова я состоялась на томъ, что Абышъ отработалъ Сысоеву пять дней, а Сысоевъ обѣщалъ снабдить его за то хлѣбомъ осенью и зимой.

Остальные крестьяне и инородцы были собраны для разбирательства дѣла, начавшагося по жалобѣ инородца Кучука Самкоева на крестьянина Ивана Степнова, который, будто бы, по ненависти къ Самкоеву, убилъ его лошадь. По разбирательству дѣла оказалось, что лошадь у Самкоева пала въ полѣ,

и онъ, въ отмщеніе Степнову, бывшему однажды свидѣтелемъ по обвиненію Самюева въ воровствѣ, нарочно ночью разрубилъ у мертвой лошади топоромъ животъ, а на другой день заявилъ бацлыку, что лошадь его зарублена, и бацлыкъ вошелъ съ рапортомъ по начальству о преступленіи, совершенномъ, будто-бы, Степновымъ.

Едва я окончилъ разбирательство этого дѣла, дивившееся почти до часу и нуждавшееся еще въ оформленіи его обычнымъ слѣдственнымъ порядкомъ, какъ къ воротамъ подъѣхалъ на рессорныхъ пролеткахъ, заложённыхъ парой прекрасныхъ ирѣднхъ лошадей въ дышло, плотный мужчина въ пуховой шубѣ и въ свѣтло-коричневой, тонкаго сукна, шинели. Только что послышался стукъ рессорнаго экипажа, какъ среди крестьянъ и инородцевъ промесся шепотъ: „Назаръ Степановичъ приѣхалъ!“ Никита Васильевичъ, все время стоявшій у косяка двери, при этомъ извѣстїи скрылся изъ комнаты, а крестьяне и инородцы, толпившіеся у двери, разступились, открывая путь такой вліятельной особѣ. Признаюсь, я съ любопытствомъ ожидалъ появленія этого замѣчательнаго въ своемъ родѣ субъекта. Послѣ освященія построенной имъ церкви, онъ задалъ богатый обѣдъ для приглашенныхъ къ церемонїи уѣздныхъ властей, напился пьянъ, разругалъ всѣхъ гостей, многихъ изъ нихъ вытолкалъ изъ своего дома, прибилъ протоіерея, святиншаго церковь, и выражалъ подозрѣніе, что сановитые гости скрали у него серебряныя ложки и другую цѣнную посуду... Нанесенныя имъ оскорбленія грозили принять серьезный оборотъ, но дѣло замаяли, благодаря повинной, принесенной Назаромъ Степановичемъ.

Спустя минуту, дверь распахнулась, и въ комнату вошелъ Назаръ Степановичъ, гордо одянувъ и не удостоивъ поклономъ униженно кланявшихся ему крестьянъ и инородцевъ. Это былъ человекъ средняго роста, полный, съ широкимъ лицомъ, украшеннымъ узенькими глазами, сплюснутымъ носомъ и толстыми губами. Подбородокъ и усы его были тщательно вы-

бриты. Черные, как смоль, волосы разделены были пробормом по срединѣ головы и расчесаны на двое. Одѣтъ онъ былъ въ черный, длиннополый, тонкаго сукна сюртукъ и необыкновенно широкія брюки, закрывавшія носки лакированныхъ, сильно скрипѣвшихъ сапоговъ. На шеѣ его красовалась золотая медаль на анненской лентѣ, по глухому жилету малиноваго бархата съ золочеными пуговицами тянулась массивная золотая цѣпь отъ часовъ; коротенькіе, толстые пальцы были усажены золотыми перстнями и кольцами.

— Слышу, что новый начальникъ удостоилъ пріѣхать къ намъ... Ну, милости просимъ... Дай, говорю, поѣду, честь ему сдѣлаю... Здравствовать желаю вашему благородію, развяно фамильярнымъ тономъ произнесъ Назаръ Степанычъ, подходя ко мнѣ и подавая руку.—Знаешь, поди, кто я? спросилъ онъ.

— Нѣтъ, не знаю...

— Купецъ второй гильдіи Назаръ Степанычъ Куртегеновъ! съ достоинствомъ отрекомендовался онъ...

— Очень пріятно. Садитесь! пригласилъ я.

— Садемъ, садемъ! отвѣтилъ онъ, приподнимая сзади полы сюртука и усаживаясь на стулъ.—Зачѣмъ же ты, ваше благородье, ко мнѣ не присталъ, а?.. спросилъ онъ.— У меня домъ-то почище; у меня, братъ, небель-то бархатомъ околочена... девять комнатъ въ домъ-то: было бы тебѣ гдѣ разгуляться... Назара, братъ, всѣ знаютъ... всѣ чтятъ, всѣ къ нему идутъ, а ты обошелъ... Ты спроси-ко, вотъ, у кого хошь... что за человѣкъ Назаръ... а?

— Я уже слышалъ...

— Слышалъ... а-а?.. Ну, зачѣмъ же не пришелъ ко мнѣ, коли слышалъ, а-а?.. спросилъ онъ, насунувъ свои густыя, черныя брови.

— Мнѣ и здѣсь хорошо...

— Хорошо... а-а?.. Ну... у меня бы лучше было, лучше... Ну, какъ поживаешь?.. Нравится ли тебѣ у насъ?.. Чего въ

городѣ слышно? спрашивалъ онъ. — Про губернатора не слышалъ, придетъ къ намъ или нѣтъ, а?..

— Не слыжалъ...

— Пріатели мы...

— Съ кѣмъ?..

— Съ губернаторомъ-то!.. Бо-о-ольшіе пріатели... чтить онъ меня...

— За что же?..

— Человѣка цѣнить, умъ! гордо отвѣтилъ онъ...—Я, когда въ Томскѣ бываю... всегда къ нему легкой ногой иду... „Какъ, говорить,—ты, Назарка, поживаешь?“.. Назаркой зоветъ онъ меня... Хе... хе... До-о-обрый генераль... по плечу треплетъ... Живу, говорю, ваше превосходительство... „Ну, ну... живи, говорить,—Назарка... Живи, живи“. Бо-о-ольшіе пріатели... Я, братъ, со всѣми чиновниками пріатель... И ты будь мнѣ пріатель...

— Благодарю за честь...

— Будь, будь... Со мной хорошо, братъ, въ дружбѣ жить...

— Чѣмъ же хорошо? поллюбопытствовалъ я.

— Коли ты другъ мнѣ, все дѣлашь для меня, то чего тебѣ только надо... легкой ногой иди ко мнѣ... все дамъ тебѣ... отказу не будетъ... У Назара все есть... и шкурки, какой только надо, дамъ... и денегъ... и меду... Слышалъ?.. Все дамъ...

— Слышу...

— Легкой поступью иди... Скажи только: Назаръ Степанычъ, дай мнѣ денегъ... снабди... Сейчас дамъ!

— Вы, что же... всѣмъ, кто ни попроситъ, даете денегъ?..

— Всѣмъ!.. Поѣдемъ ко мнѣ.

— Благодарю, мнѣ некогда!...

— Поѣдемъ!.. Угощу... Я тебѣ шкатулку покажу... такой погребочикъ у меня есть, гдѣ... вотъ какая... охалка векселей лежитъ, произнесъ онъ, разведя руки на четверть аршина:—всѣ

отъ чиновниковъ... Вотъ я какой человѣкъ. Понимаешь теперь меня... а-а?..

— Понимаю...

— Худой я человѣкъ... а-а?.. Какъ скажешь, а-а?

— Не знаю...

— Не знаешь?.. Ну, узнай... Поѣдемъ ко мнѣ... Рому выпьемъ, въ дружбу войдемъ... У меня въ дому-то все есть... и кофе... и конфета всякая... и закуска, и вино... все есть... Поѣдемъ...

— Не могу...

— Я зову... поѣдемъ... Будешь доволенъ!.. Церковь... погляди, что построилъ я!.. Бабу мою увидишь!

— Очень бы радъ, но не могу, некогда, отговаривался я.

— Не хочешь, Назаромъ брезгуешь, а? обидчиво спросилъ онъ.

— Не ѣду, просто, потому, что мнѣ некогда: у меня много дѣла и мнѣ дорого время.

— Я тебѣ честь сдѣлалъ... и ты мнѣ честь отдай... Понимаешь? Такъ всѣ господа дѣлаютъ, замѣтилъ онъ.

— Понимаю!.. Я и отдамъ вамъ честь... только не теперь, а въ другое, болѣе свободное время... Теперь же не могу: мнѣ некогда.

— На тебѣ... какой чинъ? неожиданно спросилъ онъ, снова насупивъ свои брови.

Я сказалъ ему.

— Э... э... Ты еще молодой парень,шибко молодой... Совсѣмъ еще маленькой на тебѣ чинъ, сказалъ онъ, покачавъ головой, — а ты ужъ ндравный... А ты бы посмирнѣе жилъ, чтить бы людей... и тебѣ бы хорошо было?... Меня, братъ, статскіе совѣтники чтятъ, и генералы чтятъ, и полковники... Бъ кому я только приѣду въ гости, сейчасъ вина подають... конфеты всякой... за-акуски... „Ѣшь, говорятъ,—Назаръ Степанычъ“. Въ передней уголь садятъ. А ты спѣсивъ, не по чину спѣсивъ!..

— Это уж мое дело!.. Теперь я попрошу васъ: избавьте меня отъ вашихъ нравоученій...

— Спѣ-ѣсивъ ты, ваше благородье, спѣсивъ... Ну... ну... ссориться на первый разъ не буду съ тобой... Суди... суди... народъ... Суди!.. Мо-о-шеникъ нынче сталъ нашъ инородецъ... Я, вѣдь тоже инородецъ, да я хорошій инородецъ... Я въ Бога, какъ слѣдуетъ, вѣрую... совсѣмъ, какъ русскій человѣкъ. Церковь я построилъ на свои деньги... Вишь, вотъ медаль отъ батюшки Царя имѣю... съ портретомъ... Вотъ я какой инородецъ, знай?.. А тѣ... всѣ... худой народъ... ху-у-дой... протянулъ онъ качая головою.

— Чѣмъ же худой..

— Вреть все, обманываетъ, въ Бога худо вѣрить!.. Я ишо въ рукахъ ихъ держу, не даю имъ шибко-то баловать, а то бы совсѣмъ онъ Бога забылъ... Я и церковь имъ построилъ, штобъ онъ настоящаго Бога зналъ!.. Назаръ имъ много добра дѣлаетъ... Назаръ имъ отецъ... Назаръ одинъ на всю Чернь... Вотъ каковъ Назаръ... Не будь Назара, всла-чуть... У тебя тутъ есть дѣльце, ваше благородье, неожиданно началъ онъ:—Дѣвка дѣвку ножомъ портила, глотку порола.

— Есть, отвѣтилъ я.

— Суди полегче дѣвку-то што ножомъ-то порола... Съ родни она мнѣ будетъ!.. Легче будешь судить другъ мнѣ будешь; а не будешь легче судить, осержусь... Хе... хе... Ну, ты добрый, я вѣдь вижу, што ты добрый... Мы тоже людей-мало-мало знаемъ... Спѣ-ѣсивъ только маленько... Поѣдемъ, слышь, ко мнѣ, а?... Соболюковъ на воротникъ къ шубѣ подарю... А въ милость войдешь ко мнѣ, и всю шубу подарю... Ъзжай... Слушай Назара... а? говорилъ онъ, вставая.

— Не могу...

— Спѣ-ѣсивъ... Спѣ-ѣсивъ!.. Ну, ну... не ѣзди, принуждать не стану. Самъ послѣ спокоешься!.. Кто къ Назару добръ, и Назаръ къ тому добръ... Ты спроси-ко своихъ чиновниковъ,



довольны ли они Назаромъ Степанычемъ, всё скажутъ — довольны... Баба у тебя есть?.. Женатый?..

— Холостой...

— Э... э... Ну, это худо дѣло... Какъ же ты живешь безъ бабы, а?.. Безъ бабы жить нельзя... Женись!.. Вотъ какъ бы баба у тебя была, я-бы и бабѣ твоей чернобуренькую лисичку на воротникъ подарилъ. Ну... прощай, ваше благородье... Не обезсудь Назара Степаныча, говорилъ онъ, такъ же фамильярно протягивая мнѣ руку на прощаньи. — Одумаешься — прѣзжай, будешь доволенъ... Можетъ и шубу подарю, коли въ добрый часъ прѣдешь...

Визитъ этого финансиста произвелъ на меня тяжелое впечатлѣніе... Мнѣ было смѣшно отъ его глупой кичливости и хвастовства своими связями и богатствомъ, и въ то же время больно; больно оттого, что въ хвастовствѣ его было много правды. Его, дѣйствительно, какъ говорилъ онъ, „чтили“ ради тѣхъ подарковъ, какіе дѣлалъ онъ за оказываемую ему честь. Собираясь объѣхать всё айды и улусы, разбросанные въ горахъ Алтая, я имѣлъ намѣреніе, кромѣ ближайшаго знакомства съ бытомъ инородцевъ, прослѣдить вмѣстѣ съ тѣми всё подвиги Назара Степановича и подобныхъ ему героев нашего времени. Но порученіе, возложенное на меня по случаю проѣзда одной, весьма важной, особы, а затѣмъ и выходъ мой въ отставку лишили меня возможности осуществить это намѣреніе.

Въ тотъ же вечеръ я покинулъ О—ій улусъ. Я долго, долго не могъ оторвать глазъ отъ окружающей его картины... Я какъ будто предчувствовалъ, что вижу ее въ послѣдній разъ... Мнѣ стало грустно, глядя на снѣговыя вершины Алтая, клубившіяся на горизонтѣ. Объѣхать эти горы, поражающія своимъ дикимъ величіемъ, изучить бытъ населяющихъ Алтай племенъ было завѣтною мечтою моею, къ несчастію не осуществившейся. На Архіерейской горѣ я простился съ провожавшимъ меня Никитой Васильевичемъ и болѣе уже не встрѣчался съ

нимъ. Впослѣдствіи я узналъ, что онъ окончилъ свою карьеру весьма печально. Его заподозрили въ составленіи анонимаго письма къ какой-то особѣ, въ которомъ обнаружены были всѣ темныя стороны мѣстныхъ порядковъ, и, какъ чловѣка неблагонадежнаго, имѣющаго, будто бы дурное вліяніе на ииородцевъ — выселили изъ улуса. Распоряженіе это разорило его. Онъ продалъ пасеку, хозяйство и померъ въ 1874 году, въ крайней бѣдности. Услышавъ о разразившейся надъ нимъ катастрофѣ, я невольно вспомнилъ слова его: „Долго-ль смять меня и раздавить, какъ червя!“

---

## ДЕРЕВЕНСКИЙ АУКЦИОНЪ

(сцены).

Быль воскресный день. Густая толпа крестьянъ собравшихся изъ окрестныхъ деревень на аукционъ, тѣснилась около новой избы съ тесовою крышею и воротами. Изъ открытыхъ оконъ избы, порою слышались удушливыя рыданія заглушаемые говоромъ, а на крылечкѣ сидѣль тоскливо понуривши голову хозяинъ имущества, подлежавшаго продажѣ за поручительство по несостоятельномъ казенномъ подрядчикѣ. Торговцы скотомъ не пропускающіе ни одного деревенскаго аукциона, гдѣ, съ выгодною покупая скоть, перепредаютъ его на городскихъ рынкахъ за тройныя цѣны, расхаживали теперь около коровъ, считая рубцы на рогахъ у нихъ, ощупывая ихъ вымя и хвосты, одѣвая по этимъ примѣтамъ ихъ стоймость и лѣта; другія осматривали вещи сложенныя въ кучу обнаруживая при этомъ каждый свои потребности: кто ощупывалъ хомуты, зорко оглядывая на нихъ каждый шовъ или дирочку; кто конскую сбрую, вытатывая упругія сыромятныя ремни ея; другой колотилъ рукой въ чугунокъ и, поднося ее къ уху выслушивалъ издаваемый ею гулъ. Болѣе всѣхъ привлекли общее вниманіе два новыхъ полушубка и смушковая шапка. Каждый осматрѣлъ ихъ, примѣрлялъ, выворачивая

даже на изнанку. Шапка побывала на всѣхъ головахъ и каждому пришлась въ пору, даже голъ перекатная, собравшаяся поглазеть на чужую бѣду и напередъ знавшая, что ей не купить ничего, все-таки примѣрала полушубки и шапку и тоже нашла, что они каждому въ пору.

Въ это время подошелъ къ толпѣ. Земскій засѣдатель, сопровождаемый понятыми и сельскимъ начальствомъ; въ одной рукѣ у него былъ описной листъ, въ другой толстая желѣзная трость, замѣнявшая собою аукціонный молотокъ.

— Готово?.. спросилъ онъ волостного голову, сказавъ: „Здравствуй!“ на низкіе поклоны крестьянъ.

— Готово, ваше благородіе! отвѣтилъ тотъ.

— А вещи осматрѣлъ...

— Осматрѣлъ тѣ самые, что описаны... и цѣлы, всѣ цѣлы; мужикъ-то онъ добрый вѣдь... на плутню не посылается... отвѣтилъ съ участіемъ голова.

— Ваше благород... сдѣл... милость!.. проговорилъ подходя къ засѣдателю хозяинъ имущества подлежащаго продажѣ, снявъ шляпу и низко кланяясь.

— Не прося... не могу!.. отвѣтилъ засѣдатель не глядя на него.

— Семья... по божечки прошу... оставь скотинку, другую... какимъ-то разбитымъ... дрожащимъ голосомъ умаливалъ онъ.

— Ничего не могу сдѣлать... сказалъ тебѣ не прося...

— Для Бога то!..

— Ни для кого!.. и развернувъ описной листъ Засѣдатель обратился къ толпѣ: „Ну-ко молодцы, торгуйте мерина семи лѣтъ. Три рубля, кто больше!“ и онъ стукнулъ палкой объ уголъ дома.

Хозяинъ тихо отошелъ отъ него и сѣлъ на крыльцѣ, закрывъ лицо руками.

— Зачти полтину!.. отозвался, отдѣляясь отъ толпы крестьянинъ, повидимому торговецъ скотомъ, съ острой лукавой фizioноміей, одѣтый въ чуйку и опоясанный алымъ кушакомъ.

— Рубь!.. добрый конь-то стоит! крикнулъ молодой бой-  
кій парень, такъ-же проталкиваясь изъ толпы.

— Полтина!.. проговорилъ торговецъ.

— Новѣ, что-то жиденько деньгами-то расходуешь, ай не прежняя пора?.. насмѣшливо спросилъ его парень.

— Обещаемъ!..

— О-о!.. Ну-ко Господи благослови, намъ то ждать нечего клади-ко еще рубь ваше благородье...

— Полтина флегматично произнесъ торговецъ.

— Потѣшу мирь:—три!..

— Рубля или полтины!.. спросилъ торговецъ.

— Мы на рубли счетъ ведемъ... такъ и ниши!.. крикнулъ онъ засѣдателю.

— Полтина... произнесъ торговецъ.

— Пять рублей и, откинувъ накатившіяся на глаза волосы... парень пригладилъ ихъ рукой...

— Смотри... не ярись... не равно съ пуна сорвешь!.. насмѣшливо замѣтилъ ему торговецъ.

— Небось... онъ у насъ крѣпко привязанъ... отгрызнулся въ отвѣтъ парень.

Торговецъ замолчалъ... и подойдя къ привязанному за изгородь огорода... коню, сталъ смотрѣть ему въ зубы.

— Цѣлы-ли?.. насмѣшливо спросилъ его парень.

— Хошь тебя разжуютъ!.. отвѣтилъ ему торговецъ.

— А крѣпко сидятъ щупаль.

Но торговецъ не заблагоразсудилъ отвѣчать ему и, подойдя къ засѣдателю, попросилъ позволенія испробовать рысь торгуемаго имъ коня и получивъ это позволеніе, во весь опоръ поскакалъ по деревнѣ въ полѣ, сопровождаемый неистовымъ лаемъ собакъ и крикомъ и хохотомъ толпы.

— Трешникъ! крикнулъ онъ возвратившись и привязывая взмыленного коня къ изгороди.

— Рубь!.. снова крикнулъ парень.

— И мы рубь... видимо избѣнивъ хладнокровію прервалъ его торговецъ.

— Полтина!..

— Ты въ самомъ дѣлѣ купить хочешь?... съ досадою спросилъ его торговецъ.

— Гдѣ... ужъ намъ... хоть пошутимъ!.. отвѣтилъ тотъ.

— Говори по совѣсти...

— Не изъ чего трепать-то ее на мой умъ...

— Коли такъ послѣднее слово полтина!.. и торговецъ махнулъ рукой.

— Рубь...

— Эхъ... Торговецъ сплюнулъ съ досады и почесалъ повыше колѣна:— А рубь истно... была не была... не даромъ будто языкъ чесалъ.

— Полтина...

— Бери...

— Что такъ....

— Бери... ногами-то брать она того,—разбита!.. проговорилъ торговецъ повернувшись и отходя въ сторону.

— Ничего... новые приставимъ!.. самодовольно отозвался парень. „Пиши ваше благородье за Прохоромъ Вавиловскимъ“ обратился онъ къ Засѣдателю. „Угорѣлъ... куды ему... твердилъ онъ когда лошадь была записана за имъ...“ Нутко съ обновка... и подойдя къ купленной лошади парень потрепалъ ее по холкѣ...

— Уступи!.. промолвилъ, подходя къ нему, торговецъ.

— Что дашь?..

— Тридцать безъ слова...

— Отваливай, себѣ дорожке стоять...

Торговецъ отошелъ и принялся разсматривать двѣ конскія сбруи, до которыхъ дошла очередь продажи и лежащее около нихъ сѣдло; ощупавъ и вытянувъ нѣсколько разъ стремянныя ремни у сѣдла и осмотрѣвъ сплошную мѣдную оковку, онъ прислушался къ цѣнѣ, дошедшей до двухъ рублей тридцати

копѣекъ и также флегматично проговорилъ: „гривна... впередь!“..

— И я гривенку!.. сказалъ торговавшій эти вещи съдѣнь-  
кій старичекъ, босикомъ, но въ нагольномъ бараньемъ тулупѣ  
не смотря на жаркій лѣтній день.

— Два-то рубля шесть гривенъ стоятъ...

— Гривенка!.. повторилъ старикъ.

— Не трафить мнѣ... сегодня... произнесъ торговецъ, обра-  
тившись къ толпѣ.— Ну, да куда ни шло, три рубля!..

— Съ гривеной... прибавилъ старикъ...

— Твой!.. проговорилъ торговецъ... отходя къ полушуб-  
камъ, лежавшимъ на крылечкѣ, гдѣ все время аукціона си-  
дѣлъ горемычный хозяинъ.

Сбруи остались за старикомъ.

— Чей ты?.. спросилъ его засѣдатель...

— Вовусь-то Ивановъ!.. отвѣтилъ онъ.

— А пишешься?..

— Надо быть, Хоринымъ...

— Сбруи за тобой, бери!...

Забравъ сбруи и сѣдло, старикъ пошолъ.

— Стой... стой!.. крикнулъ ему засѣдатель... сѣдло-то ты  
зачѣмъ взялъ...

— Мое, такъ пошто его оставлять-то!..

— Твой только сбруи...

— А сѣдло-то?.. удивленно спросилъ онъ...

— Если хочешь его купить, такъ торгуйся...

— Да вѣдь я вмѣстѣ со сбруей и сѣдло купилъ... съ удив-  
леніемъ говорилъ онъ, а сбруи-то одни на што мнѣ; ужъ такъ  
будто ради сѣдла прихватилъ ихъ....

— Ошибся... значить продавались одни сбруи.

— Ой-ли?..

— Да!..

— Ахъ ѣшь-тѣ мухи... а?.. и старикъ развелъ руки и  
хлоннулъ ими по бедрамъ:—это три-то рубля за сбруи, а?..

Ну-у... Да ты изаболь вправду говоришь это?.. все еще не вѣря, спросилъ онъ засѣдателя.

— Въ правду...

— Ахъ оказанный... ну... на-а-агрѣлся... говорилъ онъ почесывая въ затылкѣ:—А... вотъ тѣ на-а-а... да... ты... того... ваше благородье.

— Что?

— Отдай... мнѣ сѣдло-то... Яви милость...

— Говорю тебѣ... нельзя... если оно нравится тебѣ... торгуйся...

— Такъ нельзя... слышь...

— Нельзя...

— Спусти... хоть цѣну-то... сдѣлай милость...

— Говорятъ-же тебѣ... нельзя этого... понимаешь...

— А-ахъ... ѣшь-тѣ мухи... снова разведя руками и хлопнувъ ими по бедрамъ... произнесъ онъ:—такъ это три-то рубля за одни сбруи... ну... нау-ука... Да неужъ нельзя... снова присталъ онъ къ засѣдателю...

— Поди прочь... дуракъ!.. закричалъ выведенный наконецъ изъ терпѣнія засѣдатель...

— Ну, пойду... пойду... не серчай... Ахъ ѣшь-тѣ мухи три рубля за сбруи... а?.. Ну-у... на-а-агрѣлся!.. твердилъ онъ разводя руками и обращаясь почти къ каждому.

— Ладно, что отдалъ тебѣ!.. говорилъ торговецъ, а то тожь-бы нагрѣлся... вѣдь и я слышь думаль, что сбруи-то вмѣстѣ съ сѣдломъ идутъ...

— Ну, ѣшь его... л-довко обедухался... ничего... на-а-ука... впередъ не забудешь... твердилъ старикъ.

— Теперь не забудешь Ивашъ... трунили надъ нимъ въ толпѣ.

— Нѣ-ѣтъ... не забудешь...

Когда дошла очередь до полущубковъ и шапки, то цѣна на нихъ быстро поднялась, торговались почти всѣ, аукціонеры



едва успевая вычитывать и кричать; постукивая налкой кто больше?

— Покупай... выгодно, крикнулъ кто-то изъ толпы на-  
грѣвшемуся... на судѣ старика...

— Подъ къ Богу!..

— Шапка-то... метрико-сь... а?... и онъ повертѣлъ ей пе-  
редъ глазами старика...

— Я ужъ братъ нагрѣлся... буде... на-а-агрѣлся до сыта,  
ахъ вышь-тъ муки... право... нѣ-ѣтъ... не забудеть... нау-у-  
ука!.. твердилъ онъ, всхлопывая руками.

Шапка, полушубки и рогатый снотъ остались за аукци-  
онами и не мудрено. Крестьяне не любятъ покупать съ аукци-  
она изъ боязни передать лишнее, да и не у всякаго изъ нихъ  
пригождаются къ такому случаю деньги. Аукционъ кончился  
часу въ пятомъ вечера. Покупатели, разобравъ вещи, пошли  
къ квартирѣ засѣдателя, чтобы расписаться за нихъ и респи-  
саться въ установленномъ формою торговомъ листѣ.

Въ квартирѣ засѣдателя была сильная духота и толкотня.  
Всѣ тѣснились къ столу, за которымъ сидѣлъ онъ и грамот-  
ный крестьянинъ, расписывавшійся за своихъ не озаренныхъ  
свѣтомъ науки собратьевъ. Изрѣдка между крестьянами среди  
отрывочнаго недущагося шепотомъ разговора слышалось гром-  
кое иванье; хозяйка квартиры, молодая полная женщина по-  
минутно пересѣгала изъ горницы въ избу, отдѣляемую отъ по-  
слѣдней теплыми сѣнями и потомъ возвращалась назадъ, про-  
талкиваясь черезъ толпу и неся на тарелкѣ, то огурцовъ, то  
свѣжепросоленныхъ груздѣй. Порой изъ угла внезапно проно-  
сился сильный храпъ; тогда ближніе принимались расталки-  
вать заснувшаго стоя мужика. Слышалось: „а... а... мм... да  
ну-тъ, стой... потомъ сдержанная зѣвота и затѣмъ вновь все  
смолокло.

— Прокоръ Вавиловскій! крикнулъ засѣдатель.

— Ее!.. отклинулся наречь купившій мерина.

— Деньги!..

Онъ подошелъ къ столу и вынулъ изъ за-голенца сапога тряпицу, развязалъ ее и присѣлъ на полъ на корточкахъ; добравшись до засаленныхъ, завернутыхъ въ тряпицу ассигнацій, Вавиловскій сталъ выбирать изъ нихъ самыя вѣтхія и отсчитавъ сколько слѣдовало, по его счету, поднялся.

— Съ тебя слѣдуетъ получить двадцать три рубля пятьдесятъ копеекъ?.. спросилъ засѣдатель, протягивая руку къ деньгамъ.

Тотъ молча подалъ ему деньги.

— Тутъ только восемнадцать?.. спросилъ засѣдатель пересчитавъ ассигнаціи.

— Восемнадцать!.. повторилъ Вавиловскій.

— А остальные...

Онъ замаялся и почесалъ въ затылкѣ.

— Ну чтожь?.. снова спросилъ его засѣдатель.

— Да дорого слышь, двадцать-то три рубля пятьдесятъ, возьми восемнадцать, конь-то того, прихрамываетъ, да исподужильный однако-сь...

— Зачѣмъ же ты покупалъ?..

— Съ горяча слышь, а конь-то право того, не надежный.

— Мнѣ нѣтъ до этого дѣла. Я не имѣю права по закону ни прибавить, ни убавить, за что ты купилъ, то и давай...

— Эко дѣло-то!.. снова почесавъ въ затылкѣ произнесъ Вавиловскій, — пять-то рублей съ полтиной можно бы уважить, вишь, наше-то дѣло тоже не шибко богатое. И онъ вопросительно посмотрѣлъ на засѣдателя.

— Не могу. подавай всё.

— Ахъ ты горе какое, а?.. Ненадежный конь-то, вѣрь...

— Ну, ну, подавай, я вѣдь шутить не буду, крикнулъ засѣдатель видимо теряя терпѣніе.

Послѣ минутнаго раздумья Вавиловскій снова присѣлъ на полъ, и доставъ шесть рублевыхъ бумажекъ, положилъ пять

изъ шкѣ на столѣ, последнюю-же зажалъ въ рукѣ.—Теперь всѣ!.. произнесъ онъ.

— Какъ всѣ, а пятьдесятъ копѣекъ.

— Болѣ нѣту, нѣтъ совѣсти.

— Подавай, слышишь, я тебѣ говорю.

— Вотъ тѣ Христось, нѣту, и Вавиловскій перекрестился, обожди, уже опосля когда ни на есть, дадамъ.

— Подавай, говорю тебѣ, не шути!.. крикнулъ багровѣя засѣдатель.

— Оказія!.. Нѣтъ-ли у васъ, бортцы, полтины, а? обратился онъ къ толпѣ.

Крестьяне видѣвшіе его продѣлку молчали.

— Вотъ оказія-то, а?.. и почесавъ въ затылкѣ, онъ снова присѣлъ, и будто доставъ изъ кармана подаль зажатый въ рукѣ рубль.—Вотъ ей Богу едва нашель, говорилъ онъ, оправдывая свое упорство.—Ну, ужъ съ акціена покупать, въ убыль, только право въ убыль. Двадцать три съ половиной, а?.. А конь совсѣмъ нестоющій, о-охъ, и дернула-же нелегкая!.. Получивъ сдачи и довѣривъ росписаться за себя, онъ вышелъ ворча на аукціонъ и на убыль, которую будто-бы понесъ, отъ покупки коня.

— Пе-есъ, мужикъ!.. заговорили по уходѣ его крестьяне.

— Молодой да изъ раннихъ...

— Н-да, глядики на него, будто изъ кармана досталь, а самъ сжанулъ ее въ рукѣ, да ишо намъ и говорить, нѣтъ ли дѣ у кого рубля, а?

— Де-е-енной...

— И.. и... весь въ отца, копеечки не проронить...

— Хоринъ!.. вызвалъ по уходѣ Вавиловскаго засѣдатель.

Къ столу подошелъ знакомый намъ старичекъ.

— Деньги!..

— Нѣту-ти!..

— Какъ нѣтъ, такъ зачѣмъ-же ты покупалъ, чѣмъ же думалъ расплачиваться...

Хоринъ вмѣсто отвѣта развелъ руками какъ бы говоря: „а вотъ подижь ты, толкуй!“

— Ну что же?.. спросить послѣ минутнаго молчанья засѣдатель.

Старикъ вмѣсто отвѣта понуривъ глаза въ полъ.

— Голова, посади его на педялю въ чижовку.

— А-ахъ ѣшь тѣ мухи, вотъ нагрѣлся-то, а?.. ну-у, на-у-ука, произнесъ Хоринъ, точно выведенный изъ забвѣтья послѣдними словами засѣдателя.

— Нау-у-ука; со смѣхомъ повторили и въ толпѣ.

— Нау-у-ука. Три рубля за дермо, прости Господи отдать, а?.. на-а-агрѣлся...

— Въ шубѣ-то заябъ, ноги, такъ поддали пару-то, а?.. тручили надъ нимъ въ теплѣ.

— Теперь нагрѣлся, ѣшь его мухи, на всю зиму тепла-то записъ...

— Ёсть-то тутъ мухамъ нечего, подежь-ко, проговорилъ голова беря его за руку.

— Не трогай, ностой маменечко. Ваше благородіе, обратился онъ въ засѣдателя, освобождаясь отъ руки головы.

— Ну что?

— Уважь рубликъ-то.

— Не могу.

— Сдѣлай милость, бѣдность, говорилъ онъ кланаясь.

— Бѣдность такъ не покупай, не отбивай вещей у другихъ.

— Ахъ ты, злочестъ, уважь слышь...

— Не могу, нельзя этого...

— Не обидь хоть полтиной-то, по крайности Богу на свѣчу за твое здоровье...

— Говорю тебѣ, нельзя этого, понимаешь...

— Сдѣлай милость...

— Голова, веди его...

— А-а-ахъ брагцы, а-а?.. Совсѣмъ вѣдь бѣда, ну-у и бѣ-ѣ-да. Три рубля за дермо отдать, а?.. На-а-агрѣлся, не-

чего... Съ послѣднимъ словомъ онъ медленно опустилъ руку за пазуху и доставъ оттуда кожаный клсеть, вынулъ изъ него засаленную трехрублевою ассигнацію и посмотрѣвъ на нее, дрожащей рукой положилъ ее на столъ. — Ну, нагрѣлся, алы песь тѣ возьми, же забудешь этой науки, кѣ-ѣ-ѣтъ не забудешь... Да будь они прокляты, всѣ эти клязмы!.. говориль онъ отходя отъ стола.

— Наука, снова подхватили въ толпѣ.

— Нау-у-ука...

— А гривенникъ-то?.. Вѣдь ты заплатилъ три рубля съ гривной?.. спросилъ его засѣдатель.

— Ну ужъ гривна-то брать фю-ю-ю-ю... свиснува прого-говариль онъ.

— Какъ фю-ю... съ удивленіемъ спросилъ его засѣдатель при общемъ хохотѣ окружающихъ.

— Хоть рѣжь... нѣту.

— Такъ я долженъ платить за тебя, что-ли?..

— Плати!.. А у меня во фю-ю-ю... и онъ выворотилъ клсеть.

Засѣдатель засмѣялся и махнулъ рукой, толпа хохотала и пользуясь общимъ веселымъ настроеніемъ Хоринъ поспѣшилъ убраться, боясь, чтобы его не воротили.

Едва кончился расчетъ и крестьяне одинъ за другимъ вышли изъ избы, въ нее неожиданно вошелъ хозяинъ проданнаго имущества и сталъ неподвижно у двери прислонясь спиной къ косяку.

— Ты зачѣмъ?.. спросилъ его засѣдатель.

— Фи... фи... ффитанъ бы надуть, едва выговорилъ онъ.

— Какой фитанъ.

— Фиффитанцью, значить.

— Въ чемъ?

— Потому, какъ значить, теперя, я, сирота.

— Ну.

— А ты, меня, распродаль.

— Ну.

— И дай, вфитань.

— Подь-ко въ избу Егорша, вступилась хозяйка накрывавшая въ это время на столъ: „подь.“ чего ты безъ пути-то и себя-то и начальство трудишь!.. Подь!.. и взявъ подь руку, она степенно вывела его за дверь.

Онъ не противился.

— Загулялъ вѣрно, Егорша?.. спросили его столпившіяся за воротами крестьяне.

— Загуля-яль!.. проговорилъ онъ.

— Съ горя штоль?

— Онъ хотѣлъ махнуть рукою, но потерялъ равновѣсіе и упалъ при общемъ хохотѣ. Осенью того же года за неисправную уплату податей Егорша былъ законтрактванъ въ частные заработки и не выходилъ уже изъ контракта вплоть до конца жизни.



## СВЯТОЕ ОЗЕРО.

(РАЗСКАЗЪ).

Спросите въ настоящее время у крестьянъ Х—ой волости, „каково поживаетъ доброжелатель ихъ, Петръ Никитичъ Волдыревъ?“ и вы услышите, какъ, при одномъ его имени, изъ устъ каждаго посыплются потоки брани, проклятій и позднихъ сѣтованій на опрометчивую довѣрчивость. А между тѣмъ, было время, когда, говоря о Петрѣ Никитичѣ, выражались не иначе, какъ „нашъ Петръ Никитичъ“, при чемъ слово „нашъ“, выражало любовь къ этому человѣку. Нужно сказать правду: безупречная честность Петра Никитича при исполненіи обязанности волостного писаря, доброта и вниманіе къ нуждамъ крестьянъ вполнѣ оправдывали привязанность ихъ къ нему. Получая отъ общества ограниченное содержаніе, онъ съ утра и до ночи работалъ въ волости, не зная ни отдыха, ни праздниковъ. Въ теченіи всей его службы не было примѣра, чтобъ онъ отказалъ кому-нибудь въ дѣловомъ совѣтѣ, затянулъ бы выдачу паспорта, замедлилъ бы съ корыстной цѣлью исполненіемъ формальностей, съ какими сопряжена выдача хлѣба изъ запасныхъ сельскихъ магазиновъ, подстрекалъ бы когда-нибудь волостныхъ начальниковъ къ крутымъ мѣрамъ при сборѣ податей и т. п. Напротивъ, со времени опредѣленія его въ ни-

саря, онъ значительно сократилъ общественные расходы на содержаніе волости и при этомъ не заикнулся объ увеличеніи своего жалованья, хотя бы для того, чтобы имѣть возможность нанять себѣ помощника. Волость считалась богатѣйшею въ Т—мъ округѣ. Бывшіе до Петра Никитича писаря, смѣняясь съ должности, вывозили десятками возовъ благопріобрѣтенное, покупали дома, нигде заводили торговлю, а Петръ Никитичъ, пріѣхавъ на должность въ нагольномъ бараньемъ тулупѣ и нанковомъ скюртукѣ, за все время службы не завелъ себѣ даже новой шубы, а только покрылъ старую дешевымъ сукномъ, извѣстнымъ въ продажѣ подъ именемъ гвардейскаго.

Впрочемъ, и въ то время люди, знавшіе прошлое Петра Никитича, скептически покачивали головами. Петръ Никитичъ былъ ссыльно-поселенецъ, и въ первое время по прибытіи въ Сибирь, выдавалъ себя „за политическаго“, но когда изъ статейнаго списка обнаружилось, что, служа въ Россіи въ одномъ изъ почтовыхъ учрежденій, онъ былъ преданъ суду за растрату денежной корреспонденціи и поддѣлку фальшивыхъ документовъ, то онъ скромно переименовался въ несчастнаго, гонимаго людьми и судьбою человека. Несмотря на изворотливый умъ, Петру Никитичу въ первые годы не легко жилось въ Сибири: по крайней мѣрѣ про первоначальную жизнь его въ странѣ изгнанія ходило много легендъ. Говорили, что, служа на золотыхъ приискахъ въ качествѣ матеріальнаго, онъ уличенъ былъ въ крупномъ воровствѣ и при смѣнѣ съ этой должности лишился прекрасныхъ каштановыхъ волосъ на головѣ и пышныхъ бакенбардъ, придававшихъ его наружности сановитый видъ. Рассказывали даже, что до поступленія его въ волостные писаря, онъ, ради насущнаго пропитанія, занимался сочиненіемъ акрестиховъ, которые подносилъ въ дни именинъ богатымъ купцамъ и мѣщанамъ, получая за то отъ кого полтинникъ и кусокъ пирога, отъ кого рюмку водки и гривенникъ, и при этомъ дополняли, что каждый разъ послѣ поднесенія акрестиха, изъ передней иманинника, вмѣстѣ съ Петромъ Ни-



китиемъ, носила какая-нибудь шаль, дамская муфта или цѣнная бобровая шапка. Но о прошломъ его заговорили уже тогда, когда батюшко Петра Никитича породило во многихъ зависть къ нему; во время же службы его цесаремъ объ этомъ знали на мѣстѣ.

Жизнь Петра Никитича велъ преаную, уединенную. Онъ не только избѣгалъ общенія съ людьми, но какъ-будто боялся ихъ. Отчужденіе это не казалось, однакожъ, страннымъ, въ виду той массы зачатій, какая лежала исключительно на немъ. Съ начальствомъ, пріѣзжавшимъ иногда въ волость для ревизій, онъ велъ себя почтительно, но безъ низкопоклонства и угодничества, не выпясывалъ къ пріѣзду его дорогихъ вишь и закусокъ, не устраивалъ для него обѣдовъ, завтраковъ и таинственныхъ *gandev vous* съ деревенскими кокотками, какъ это дѣлаютъ обыкновенно волостные писаря. Вматриваясь въ такую примѣрно нравственную жизнь Петра Никитича, крестьяне одного только не могли понять: что связывало его самой искренней, навидимому, дружбой съ Т—ь мѣщаниномъ, Харитономъ Игнатьевичемъ Пласинимъ, который нередко посѣщала его и гостилъ у него по нѣскольку дней. Харитона Игнатьевича знала вся волость, и хотя открыто сказать про него что нибудь дурное никто бы не рѣшился, но всѣ почему-то остерегались его, какъ остерегаются обыкновенно людей сомнительныхъ профессій. Уловить что нибудь определенное въ дѣятельности Харитона Игнатьевича было такъ же трудно, какъ и подмѣтить какое-нибудь выраженіе въ широкое, мясистомъ лицѣ его, постоянно маслившимся отъ жирнаго пота. Занимался онъ и комиссіонерствомъ по присканію денегъ подъ векселя съ надежными ручательствами, перепродавалъ дома, бралъ на себя подряды для лицъ вращавшихся несостоятельными, блуждалъ по праздничнымъ днямъ на рынкѣ около крестьянскихъ возовъ съ хлѣбомъ и овощами. Его замѣчали въ присутственныхъ мѣстахъ во время торговъ на всевозможные подряды. Онъ былъ непремѣнной принадлежностью всѣхъ аукціоновъ, ко все-

му приглядывался, прислушивался, приторговывался и, незаметно исчезая из одного мѣста, такъ же незаметно появлялся въ другомъ. Въ городѣ, какъ и въ деревняхъ, Харитона Игнатьевича всѣ знали, начиная отъ высшихъ губернскихъ сановниковъ и кончая темными личностями, таившимися на окраинахъ городскихъ предмѣстій. Сановники относились къ нему съ некровительственной ироніей, темныя личности носили въ дождь къ нему по ночамъ узлы подъ полами рваныхъ калатозъ и шубенокъ. Узлы эти исчезали въ таинственныхъ кладовыхъ Харитона Игнатьевича, недоступныхъ даже для взора его домашнихъ, и увозились не иначе, какъ запрятанные въ навозъ или солому.

— О-о-о!.. Въ этой бестіи много блохъ сидитъ! Ужь доберусь я до его шкуры и всѣхъ ихъ выколочу! говорилъ полиціймейстеръ, имѣвшій сильное подозрѣніе, что періодически совершавшіеся въ городѣ подломы лавекъ и магазиновъ не обходились безъ его содѣйствія. Но, несмотря на бдительный надзоръ градоначальника, шкура Харитона Игнатьевича оставалась дѣла и блохи безнаказанно кишѣли въ ней. Правда, раза два онъ попадалъ въ острогъ но выходилъ изъ него съ торжествомъ невинности и возбуждалъ преслѣдованія за свою попоранную репутацію.

Постоянно ведя исковыя дѣла по поводу различныхъ неустоекъ, нарушенныхъ условій, неоплаченныхъ векселей и т. п., Харитонъ Игнатьевичъ случайно познакомился съ Петромъ Никитичемъ, неизвѣстнымъ въ то время опредѣленныхъ занятій, и опытный глазъ его съ разу оцѣнилъ въ немъ человѣка по уму и качествамъ подходящаго для себя. Онъ помѣстилъ Петра Никитича у себя въ домѣ, чтобы всегда, подъ рукою пользоваться его юридическими познаніями, и до того полюбилъ его, что не отказывалъ ему даже въ деньгахъ, конечно въ мелочныхъ, и хотя былъ убѣжденъ, что никогда не получить ихъ обратно, но все-таки на всякій случай бралъ отъ него росписки. Дружба между ними не прервалась и по вступленіи Пе-

тра Никитича на должность волостного писаря, благодаря услугамъ, какія оказывалъ Петръ Никитичъ, извѣщая заблаговременно Харитона Игнатьевича о продажѣ съ аукціона имущества, описаннаго у крестьянъ за долги. Но услуги эти совершались такъ таинственно, что о нихъ никто не догадывался.

Однажды, въ числѣ пакетовъ, доставленныхъ въ волость съ почты, Петръ Никитичъ получилъ циркулярное предписаніе Т—ой казенной палаты. Распечатавъ пакетъ и прочитавъ содержаніе бумаги, онъ взялъ въ руки перо, чтобъ записать ее въ настольный реестръ, но вдругъ остановился, прочитавъ снова бумагу, задумался надъ ней, затѣмъ, не записывая ее въ реестръ, вложилъ обратно въ конвертъ и опустилъ въ боковой карманъ своего нанкового сюртука. Весь день послѣ того онъ былъ необыкновенно разсѣянъ: перепуталъ на отправляемыхъ бумагахъ нумера и адреса на конвертахъ и даже отправилъ какой-то рапортъ, не скрѣпивъ его подписью. Возвратившись домой ранѣе обыкновеннаго, онъ торопливо пообедалъ; затѣмъ, запершись въ комнатѣ, вынулъ изъ кармана пакетъ и нѣсколько разъ перечиталъ циркуляръ, какъ бы вдумываясь въ каждое слово. Весь вечеръ проходилъ онъ по комнатѣ изъ угла въ уголь, нахмуривъ брови, проводилъ по временамъ рукою по обнаженной головѣ, какъ бы приводя въ порядокъ путающіяся въ ней мысли, иногда улыбался, потирая руки, какъ человѣкъ обдѣлавшій аппетитное дѣльце. Въ послѣдующіе послѣ того дни, посѣщая волость, онъ пересмотрѣлъ всѣ дѣла, хранившіяся въ волостномъ архивѣ, перечиталъ всѣ старинные документы, какъ бы ища въ нихъ чего-то, и спустя недѣлю, отправился въ городъ Т—въ къ окружному начальнику, подъ предлогомъ весьма важнаго дѣла.

На третій день вечеромъ, послѣ утомительнаго пути по проселочнымъ дорогамъ, Петръ Никитичъ подѣхалъ на усталыхъ, взмыленныхъ лошадяхъ къ дому Харитона Игнатьевича, стоявшему при въѣздѣ въ городъ, въ пустынной улицѣ, у сѣянной лачугами и кузницами. Выйдя изъ телѣги и отпустивъ ямщи-

ка, они вошли въ темный дворъ, выкрытый драхмемъ. На лай собаки, meistens равнявшейся съ цѣни, вышелъ на крыльцо со свѣчю въ рукѣ самъ хозяинъ. Увидѣвъ Петра Никитича, онъ радушно встрѣтилъ его, нѣсколько разъ съ шутивой фамильярностью поклоналъ гостя по плечу и, ласково заглядывая ему въ глаза, произнесъ:—Ну, ну, вотъ и тебя дождался! Аль попутнымъ вѣтеркомъ занесло, а? Ну, иди, иди, обогрѣйся, гость будешь!

Введя его въ небольшую комнату, уставленную вмѣсто мебели коваными сундуками, Харитонъ Игнатьевичъ пріотворилъ дверь въ смежную комнату и вмѣстѣ кухню и крикнулъ:

— Даша-а, а Даша! Выдь-ко сюда, глянь, кого намъ къ ночи-то Богъ далъ!

— Боге жь бы? спросилъ изъ кухни мягкой женскій голосъ.

— А ты своими глазами глянь, не до куда чужими-то на все смотрѣть! насмѣшливо отвѣтилъ онъ.

Въ дверяхъ показалась жена его, пожилая, красивая женщина съ объемистыми грудями и талией, проворно обтирая бѣлья, засученныя выше локтя руки о грязный ситцевый передникъ. Увидѣвъ гостя, она всплеснула руками, вскрикнувъ: „Батюшки! Петръ Никитичъ! Въ кои-то вѣки заѣхалъ къ намъ, да не чудо-ли это?.. А-а-ахъ, ты, напасть, а у меня какъ на грѣхъ ничего не страшно!“ и скрылась еще проворнѣе, чѣмъ показалась. Пока Петръ Никитичъ раздѣвался, на столѣ уже появились тарелки съ огурцами, грудями, пирогъ съ рыбой, пирогъ съ макомъ и еще какія-то печенья.

— Ну, ну, чего вылъзали? Неужь людей-то не видывали! крикнулъ Харитонъ Игнатьевичъ на свое потомство, высыпавшее изъ кухни, въ количествѣ шести душъ.—Подите отсюда, вотъ я васъ ужю!.. пригрозилъ онъ, топнувъ ногой. Дѣти робко вышли изъ комнаты, и засученная рука хозяйки захлопнула за ними изъ кухни дверь.

— Ну, какъ живешь? Чего долго не заглядывалъ къ намъ?

спросилъ Харитонъ Игнатьевичъ гостя, зативавшаго горячимъ чаемъ съяденный ломоть пирога съ рыбой. — Я нынче, признаться, собирался съѣздить къ тебѣ, продолжалъ онъ: — хочу, слышь, лавку соорудить, да посадить въ нее Васютку. Ужъ парню четырнадцатый годъ пошолъ, а онъ безъ пути въ домъ мотается. Благословишь-ли?

— Чѣмъ торговать-то намъренъ? спросилъ Петръ Никитичъ,ковыряя въ зубахъ спичкой.

— А такъ, братецъ мой, разной разностью, а главнѣе всего деревянной посудой. Временами здѣсь на нее большой спросъ, а взять негдѣ. Оно дѣло-то не ахти какое, а все, при сноровкѣ, копѣйка набѣгать будетъ!

— Будетъ, это и говорить нечего! согласился съ нимъ Петръ Никитичъ.

— Копѣйка набѣгать будетъ! задумчиво, барабая пальцами по столу, повторилъ Харитонъ Игнатьевичъ. — Въ околоткѣ-то моемъ живутъ все болѣе мастеровые, съ фаянсовъ-то хлѣбать не привычные, въ дереву навикъ имѣютъ. Оно хошь и по малости товару потребуется: кому ложка, другому чашка, третьему жбанчикъ, а все въ годъ-то, гляди, и на круглую сумму набѣжить. Да и парню-то дѣло будетъ; пора и ему сноровку набивать. А безъ обученья-то этого, безъ сноровки-то, какъ ты его въ свѣтъ-топустишь? Вѣдь темный человекъ выйдетъ, коли талану-то ему не привьешь! Да что-жь ты маконичка-то не прикусишь, спохватившись пригласилъ Харитонъ Игнатьевичъ, — хозяйка-то хошь и похвалилась, что ничего не страпала, а ровню чуяла, что ты приѣдешь, меду-то въ пирогъ подмѣсила, не жалѣючи!..

— Сытъ ужъ... благодарю!..

— Ышь крѣпче!.. Дорогой-то, поди, всю кладь въ брюхѣ уколотило, порожнее-то мѣсто найдется. По нынѣшнему пути ухабинами-то всю душу, поди, выколачиваетъ, а?..

— Отшибаетъ, хвалить нечего!..

— Надолго къ намъ въ гости-то?

— Завтра къ вечеру надо бы домой собраться! отвѣтилъ Петръ Никитичъ, накрывая блюдце опрокинутой вверхъ дномъ чашкой, и, вынувъ ситцевый клѣтчатый платокъ, отеръ потъ, выступившій на лбу.

— Пей еще; что ты мнѣ дво-то у чашки показываешь? Погрѣйся, ну, ну!..

— Уволь, не могу болѣе!..

— Ну, ну! Не могу! Эко, въ кои-то вѣки заглянетъ, да отъ ѣды и питья въ отречь! Пей, полно!.. Дарья, прими-ко чашку-то, да плесни въ нее свѣженькаго! крикнулъ Харитонъ Игнатьевичъ и, не смотря на всѣ усилія Петра Никитича освободиться отъ угощенія, въ рукахъ его снова оказалась чашка съ свѣже-налитымъ чаемъ. — Водки ты не употребляешь, ѣшь, что дѣвка передъ вѣнцомъ, по зернышкамъ, — чѣмъ и угощать тебя, не знаю! говорилъ Харитонъ Игнатьевичъ. — Дѣло какое есть, что въ городъ-то заглянулъ къ намъ? спросилъ онъ, послѣ минутнаго молчанія.

— У насъ безъ дѣла, Харитонъ Игнатьевичъ, часу не пройдетъ, такое ужъ вѣдомство! отвѣтилъ Петръ Никитичъ, прихлебывая съ блюда чай.

— Гдѣ люди, тамъ и дѣла, чего говорить; всякому жить надо, пить, ѣсть хочется! Гдѣ на честный манеръ, гдѣ обманомъ, а все снискивай кусокъ... Какъ пробудешь безъ хлѣба-то! задумчиво произнесъ Харитонъ Игнатьевичъ. — А какое дѣло-то встрѣтилось? какъ бы вскользя, къ слову, спросилъ онъ.

Опрокинувъ на блюдце допитую чашку, Петръ Никитичъ отеръ платкомъ лицо и окинулъ изъ-подлобья пристальнымъ взглядомъ своего собесѣдника.

— Дѣло-то у меня встрѣтилось, Харитонъ Игнатьевичъ, такого сорта, что сказать-то его можно только за большія тысячи! отвѣтилъ онъ.

— Хе-хе-е... Какія нынѣ у тебя дѣла завелись, а?.. Ну, ну, я и пытать не буду, подожду пока поболѣе тысячъ накопится!

— А много ли скоплено ихъ, смази-ко?.. шутливо спросилъ Петръ Никитичъ.

— Не успѣлъ прійхать, да ужъ и сказывай тебѣ, сколько тысячъ накоплено. А ты посиди, обогрѣйся! Што до время чашку-то накрылъ, а въ узоръ-то на днѣ ея приглянулся? спросилъ онъ.—Пей-ко еще чаю-то, ну, ну...

— И радъ бы потѣшить тебя, да не могу...

— Ну, не можешь, такъ не насилую; всякій своему животу мѣру знаетъ!.. Такъ какое же это дѣло-то у тебя встрѣтилось, что за тысячи сказывать собираешься, а?.. снова спросилъ онъ, снимая пальцами нагаръ съ сальной свѣчи и отирая ихъ о голенище своихъ высокихъ смазныхъ сапоговъ.

— Компаньона ищутъ!

— На какую же забаву онъ понадобился тебѣ, а?..

— Забава-то на мой бы умъ не скучная, Харитонъ Игнатьевичъ... съ ироніей отвѣтилъ Петръ Никитичъ.—Помогать мнѣ лонагами деньги загрывать...

— А-а-ахъ, окрести тебя воротомъ!.. произнесъ Харитонъ Игнатьевичъ, и животою его заколыхался отъ тихаго, беззвучнаго смѣха. Спустивъ синій поясокъ на рубахѣ ниже живота, онъ съ усмѣшкой продолжалъ:—Ну, на этакую забаву, по нѣшнему времени, охотниковъ много найдется, только кличь клички!..

— Найдется-то много, да не всякій къ моему-то мѣрку подойдетъ! Въ компаньоны-то мнѣ, Харитонъ Игнатьевичъ, требуется человекъ съ особыми примѣтами!..

— О-о-о!.. Ну, такъ я, стало быть, не годюсь; у меня и въ начпортѣ сказано, что особыхъ примѣтъ нѣту, хе-хе-е... А я ужъ было и уни развѣсилъ. Экое горе-то!..

— Не горкой до время, примѣты-то эти въ начпортѣ не вписываются: кто не брезгливъ, склевываетъ червячка, не боится крючка, да не скучаетъ о совѣсти, тотъ мнѣ и на-руку!..

— А-а!.. Ну, по этимъ-то примѣтамъ я, пожалуй, и годюсь.

— И на мой-то глазъ мѣрка-то по росту-бы тебѣ!..

— Гожу, у усь, хе, хе! Одного развѣ побоекъ, что заботы съ деньгами не оберешься, куда ихъ дѣвать, не придумаешь, хе-хе-хе!.. смѣясь заключилъ онъ.

— Ну, этакая забота всякому была-бы по душѣ; скучать объ ней нечего. Деньги—товаръ емкій, кладовыхъ не требуютъ, во всякую щель влѣзуть и вылѣзуть. А ты вотъ послунай-ко лучше, чего я прочту тебѣ, да и смѣлкой! провоньетъ Петръ Никитичъ, доставая изъ кармана циркуляръ.

— Ну, ну, читай, читай! смѣясь отвѣтилъ Харитонъ Игнатьевичъ, опираясь локтемъ о столъ, и, нагнувъ ладонью шляпку праваго уха, приготовился внимательно слушать.

Придвинувъ къ себѣ свѣчу, Петръ Никитичъ откашлялся и началъ читать: „Вслѣдствіе часто возникавшихъ въ послѣднее время между крестьянскими обществами различныхъ селъ и деревень, а также инородцами, споровъ за право пользованія рыболовными песками на рѣкахъ, озерами и сѣнокосными лугами, нерѣдко обнаруживалось, при разслѣдованіи возникавшихъ по сему поводу дѣлъ, что спорныя угодыя, не входя въ земельный надѣлъ спорящихъ сторонъ, составляютъ собственность казны, и что, по зачисленіи таковыхъ въ оброчныя статьи, отъ сдачи ихъ съ торговъ въ аренду, въ значительной мѣрѣ могла бы увеличиться степень государственнаго дохода. Въ виду вышеизложеннаго, предписывается X—му волостному правленію немедленно доставить свѣдѣнія: 1) имѣются ли въ предѣлахъ волости рыболовные пески на рѣкахъ, озера или сѣнокосные луга, кои не отданы въ надѣлъ крестьянъ, а составляютъ собственность казны. 2) Буде имѣется какое-либо изъ означенныхъ угодій, то въ донесеніи необходимо точно обозначить мѣстонахожденіе рыболовнаго песка или озера, а относительно луговыхъ количество десятинъ занимаемой ими земли, а равно и разстояніе таковыхъ отъ населенныхъ мѣстъ; и 3) исчислить съ возможной подробностью, чрезъ спросъ знающихъ людей, доходъ, какой могутъ приносить означенныя угодыя, дабы, соображаясь съ сими свѣдѣніями, при сдачѣ оныхъ угодій въ аренд-



шее пользованіе могла быть назначена имъ совершенно правильная оцѣнка“.

— Смыкнулъ?.. спросилъ Петръ Никитичъ, окончивъ чтеніе и пристально посмотрѣвъ на Харитона Игнатьевича.

Вмѣсто отвѣта, Харитонъ Игнатьевичъ молча взялъ изъ рукъ его циркуляръ и, вертя его между пальцами, внимательно осматривалъ печатный заголовокъ, подписи членовъ, номеръ и число, какимъ бумага была помѣчена.

— Что-жь? спросилъ онъ, возвращая циркуляръ: — стало быть, нонѣ всё луга и рыбные пески въ казну отойдутъ, что ли? Мнѣ, признаться, не вдомекъ что-то, на што ты мнѣ эту бумагу читалъ. Ужь не это ли и есть то дѣло, съ котораго ты собираешься деньги лопатами загребать? насмѣшливо спросилъ онъ.

— А ты не раскусишь развѣ! спросилъ Петръ Никитичъ.

— Отъ старости, что ли, другъ, а ужъ нонѣ мнѣ эти орѣхи ровно не по зубамъ, я и готовое-то съ трудомъ жую!.. съ ироніей отвѣтилъ ему Харитонъ Игнатьевичъ.

— Э-эхъ, Харитонъ Игнатьевичъ, а еще комерціей занимаешься! укоризненно произнесъ Петръ Никитичъ. — Да вѣдь въ этомъ-то орѣшкѣ, другъ мой, золотое ядрышко лежитъ, для умѣлаго человѣка цѣлое состояніе!..

— А-а-а? Ну, ну! отозвался Харитонъ Игнатьевичъ, заерзавъ на сундукъ съ несвойственною лѣтамъ его живостью. — Ну-ко, ну, раскуси мнѣ орѣшекъ-то!.. Ишь, вѣдь ученые-то люди изъ каждой строки золото добываютъ, а мы по темнотѣ-то своей и бисеръ, поди, ногами попираемъ, да не вдомекъ! Тутъ, ровно шишутъ, чтобъ ты донесъ въ палату, какія есть въ волости угодыя, чтобы зачислить ихъ въ оброкъ, да сдавать въ аренду? прищурившись, спросилъ онъ:—Такъ развѣ у васъ есть экія-то угодыя?

— Про Святое-то озеро слыхалъ когда?

— Какъ не слыхать!.. Такъ ужъ не оно-ли золотое-то ядрышко, што въ скорлупкѣ-то энтотъ спрятано, а?

— Оно, не ошибся!.. Вѣдь озеро-то не отдано въ надѣль крестьянамъ, хотя они и пользуются имъ!..

— Ну... ну, раскусывай, раскусывай... авось разжую, хе-хе-е... прервалъ его Харитонъ Игнатъевичъ.

— Я долженъ донести теперь, что въ волости есть озеро, уловъ рыбы изъ котораго даетъ крестьянамъ дохода самое меньшее отъ трехъ до четырехъ тысячъ въ годъ, и, какъ не отданное въ надѣль имъ, оно подлежитъ зачисленію въ казенную оброчную статью.

— Вотъ оно что-о-о!.. Ну, ну..!

— На основаніи этого отвѣта, палата зачислитъ его въ оброкъ и будетъ сдавать съ торговъ въ аренду!..

— Э, э! Тэ, тэ!.. Теперь понимаю. Теперь, стало быть, всякій, кто пожелаетъ, можетъ взять его въ аренду за себя?

— Нѣтъ, не всякій, не торопись.

— О-о-о!.. Аль и тутъ особья примѣты понадобятся? намъ вливно спросилъ онъ.

— Понадобятся!.. сухо отвѣтилъ Петръ Никитичъ.—Озеро должно сдавать въ аренду только крестьянамъ.

— А нѣшто человѣку въ сапогахъ къ нему пути заіазаны, а только для тѣхъ дорога-то на торги широка, кто бродни носить? а?.. снова прервалъ его Харитонъ Игнатъевичъ.

— Не отдадутъ тебѣ озеро, не потому что ты сапоги носишь, а потому, чтобъ отдачей его въ аренду постороннему лицу не нарушить интересовъ и благосостоянія крестьянъ. Палата, по зачисленіи озера въ оброчную статью, должна назначить торги на него и предписать намъ произвести публикацію по волости о вызовѣ крестьянъ на торги. По закону и самыя торги должны состояться не иначе какъ въ волостномъ правленіи!..

— Ну, не отдадутъ, такъ и носу совать не будемъ!..

— Тебѣ отдадутъ его только въ такомъ случаѣ, если крестьяне отказались бы взять озеро. Ну, а наши крестьяне не пожалѣютъ дать за это озеро и четыре, и пять тысячъ арендной платы въ годъ...

— Ты-ахъ!.. Это, чего говорить, обою бога-ахъ?.. Ну, такъ чѣмъ же ты хвалился въ такомъ разѣ, а!.. съ прѣшней спросилъ Харитонъ Игнатьевичъ.—Я было смѣкнулъ съ твоими словъ, что ты дѣльце-то это обсоюзилъ, а охъ, выходить, по подговоркѣ: скусанъ нирожокъ, да ретикъ обожжетъ...

— Обсоюзилъ, ты не ошибся?..

— Какой же ты это драгвой союзы-то пристегнулъ?

— Умственной!..

— Э, э! Дивлюсь я на тебя, Петръ Никитичъ: съ твоимъ умомъ да талантомъ тебѣ давно бы надоть въ атласѣ да бархатѣ щеголять, а ты все, грѣшнымъ дѣломъ, изъ нацковой шкурки не вылъзаешь!—насмѣшливо замѣтилъ Харитонъ Игнатьевичъ, окинувъ взглядомъ полинявшій нацковый скюртукъ своего собесѣдника. Ну, какъ же ты, къ примѣру, оборудуешь это дѣло; скажи, буде не секретъ?

— Затѣмъ и прѣхалъ къ тебѣ, чтобы вмѣстѣ его на колдуку-то натянуть! Старые мы знакомые, Харитонъ Игнатьевичъ, всего съ тобой видывали на вѣку, и худого и добраго. Скажи по душѣ мнѣ теперь: другъ ли ты мнѣ, а?..

Окинувъ его пристальнымъ взглядомъ, Харитонъ Игнатьевичъ отеръ правою рукою свою черную съ просѣдью бороду и усы.

— Кажись-бы, мея и допытывать объ этомъ не слѣдовало, сухо отвѣтилъ онъ, глядя куда-то въ сторону. — Припомни, сколько разъ я выручалъ тебя изъ бѣды; равно и теперь-бы счеты-то межъ насъ не кончены, да я ужъ рукою на нихъ махнулъ, не тревожу! Денегъ-то хвалишься лопатами нагрести, и безъ поминожь отдашь, цоди?..

— Про долгъ мой не сомнѣвайся, возвращу!.. отвѣтилъ Петръ Никитичъ, слегка покраснѣвъ.

— Давай Господи, пора бы! снова погладивъ ладонью усы и бороду, и не смотря на Петра Никитича, отвѣтилъ онъ.— А только, если ты тецерица касательно денегъ разговоръ-то о дружбѣ подводишь подъ меня, такъ лучше помолчи; не утру-

ждайся. Денегъ у меня и въ заводѣ нѣтъ. Самъ нуждаюсь!.. закончилъ онъ, усиленно отхаркивая слюну и сплевывая ее на полъ.

— А если мнѣ не нужно денегъ? съ усмѣшкой отвѣтилъ Петръ Никитичъ.—Если я спрашиваю тебя, другъ ли ты мнѣ по другой причинѣ?..

— На что жь это тебѣ занадобилось, на какія причины? Сколько помнится, мы не-однова съ тобой дѣла вершали, да о дружбѣ другъ друга не допытывали! Развѣ ты былъ когда въ моемъ домѣ постылымъ гостемъ? Развѣ уходилъ отъ меня не напоенный и не накормленный? Когда тебѣ перекусить-то было нечего, когда рыло-то всѣ на сторону воротили отъ тебя, кто тебя и поилъ, и кормилъ, и въ теплѣ-то тебѣ не отказывалъ, а-а? Ну-ко?..

— За твое добро я и хочу отплатить тебѣ со сторицей. Понялъ-ли,—со сторицей!—повторилъ Петръ Никитичъ съ особеннымъ удареніемъ на послѣднемъ словѣ.

— Спасибо, что добро помнишь; но нѣ и за это людей благодарить надо! Да грѣхъ бы, говорю, и забыть-то меня—добавилъ онъ.—А чѣмъ же ты заплатишь-то мнѣ хочешь? мягкимъ и нѣсколько меланхолическимъ тономъ спросилъ Харитонъ Игнатьевичъ, взглянувъ на него.

— Для того я и спрашиваю тебя, другъ ли ты мнѣ?

— Другъ, другъ! Вотъ-те Христось! Всѣмъ сердцемъ расположенъ къ тебѣ, горячливо отвѣтилъ онъ.—Чего хошь, проси, не постою; еслибъ вотъ деньги были, самъ бы далъ, вѣрное слово сказываю! Не гляди на меня этакъ-то съ сумнѣніемъ,—произнесъ онъ, замѣтивъ устремленный на него пытливо-насмѣшливый взглядъ Петра Никитича.—А можетъ, не выпьешь ли рюмочку; все бы, обогрѣло съ дороги-то. Одна-то рюмочка—не бѣда, сказываютъ, другая-то лиха!..

— Не пью, спасибо; да мнѣ и не холодно!

— Ну, твоя воля!.. Мадерцы бы надоть, да вишь — горе, въ запасъ-то не держу!.. Э-ахъ! Кабы всѣ-то, говорю, добро

мое помнили, не валились бы теперь заборы у дома, не ходилъ бы я въ поддевкѣ, не перебивался-бы съ денежки на денежку, внезапно перемѣнивъ тонъ и грустно качая головой, продолжалъ Харитонъ Игнатьевичъ. — Вотъ дѣтки теперь подрастають, занятіе надо имъ дать, а на что поднимешься, гдѣ капиталы-то? пѣвучимъ голосомъ закончилъ онъ.

— Не скучай, помогу и дѣтокъ устроить, и заборы новые поставить...

— Пошли тебѣ Господи за твое радѣнье! Ты не въ другихъ, помнишь добро. Развѣ только на словахъ, можетъ, помочь-то сулишь мнѣ, а до дѣла коснется, такъ стороной друга-то обойдешь? Чѣмъ же ты, къ примѣру, помочь-то мнѣ собираешься? нѣжно заглядывая ему въ глаза, спросилъ онъ.

— На поправу. хочу тебѣ Святое озеро въ аренду отдать за сто рублей въ годъ... Хочешь, а-а?

— За сто рублей въ го-о-одъ?! удивленно спросилъ Харитонъ Игнатьевичъ.

— Можетъ быть — и дешевле еще, можетъ быть и за пятьдесятъ рублей его купишь...

— Ты... ты... ты... въ умѣ-ли, Петръ Никитичъ? заикаясь и пристально глядя на него, спросилъ онъ. — Ты пощупай кудри-то на макушкѣ. Да развѣ можетъ это статья, чтобъ угоде, которое даетъ на пять, на шесть тысячъ товару въ годъ, отдали за сто рублей, а?..

— Говорю, такъ, значить, можно!..

— О-о-охъ ты, Господи! Да нѣтъ, это ты смѣешься надо мной... произнесъ онъ, махнувъ рукой и быстро отвернувшись отъ него; — грѣхъ бы, говорю, этакъ-то!..

— Хочешь или нѣтъ, скажи мнѣ одно.. какъ-бы наслаждаясь его сомнѣніемъ, спросилъ Петръ Никитичъ.

— А-а-ахъ, ты, Боже мой. Да неужь это можно, а-а? Да вѣдь послѣ этого... што жь? Вѣдь это ты навѣкъ счастье даешь! отрывисто говорилъ онъ, захлебываясь отъ волненія. Да неужь это, слышь, можно? Ты, ты... Увѣрь меня, ты того, а?.. Мнѣ

сдастся все, что ты это ради смѣха говоришь. Да вѣдь коли это правда, такъ чего жь тогда будетъ-то съ нами?..

— Ничего... Вотъ тогда вмѣсто нанки-то и принакроемся атласомъ да бархатомъ, хе-хе-е... А особеннаго ничего не произойдетъ!..

— Ну, Петръ Нивитичъ, если ты, теперича, все это въ сущую правду говоришь, съ особенною торжественностью въ голосъ началъ Харитонъ Игнатьевичъ, вставши съ сундука: — то вотъ тебѣ угодникъ Божій Никола въ свидѣтели, по гробъ жизни буду тебѣ первый слуга и другъ. Проси, чего ты отъ меня хочешь, безъ слова отдамъ. Проси, чего тебѣ только надоть, заикнись!..

— Мнѣ ничего пока не нужно.

— Денегъ тебѣ надо?

— Не нужно.

— Ты заикнись, заикнись, говорю тебѣ, попроси. Есть вѣдь у меня деньги-то, слава тебѣ Господи, не оскудѣлъ я... Я вѣдь это даве только попытать тебя хотѣлъ, говорилъ, что ни гроша нѣтъ. Я вѣдь простой человѣкъ, самъ ты знаешь, последнее отдамъ! Да что жь это мы въ сухоматку рѣчь-то ведемъ, прости Господи. Дарья! подойдя къ двери, крикнулъ онъ. — Запекли-ко намъ селяночку съ грузочками, авось до утра-то и не замремъ, притворивъ дверь и снова присаживаясь къ столу произнесъ онъ. — Одного я только въ толкъ не возьму, другъ ты мой сердешный, снова тоскливо и нараспѣвъ началъ онъ: — самъ же ты сказать, что озеро если и обратятъ въ оброчную статью, то всетаки сдадутъ его въ аренду крестьянамъ, а посторонняго человѣка и коснуться къ нему не допустятъ. Такъ какъ же ты наградишь-то меня имъ хочешь, а-а?..

— Ужь это мое дѣло; будь въ покоѣ...

— Развѣ, можетъ, у тебя на примѣтѣ законъ этакой есть, а?.. подлюбопытствовалъ Харитонъ Игнатьевичъ, будто не слышавъ его отвѣта.

— Нѣтъ!..

— Въ тодьк не возьму, какъ ты это съорудуешь?

— Прежде время тебѣ и знать не нужно; или сомнѣнье-то мучить тебя, а?..

— Томить!.. Чудно какъ-то кажется! И вѣрный ты чело-вѣкъ, знаю, что зря слова не вымолвишь, а все — нѣтъ, нѣтъ, и засосетъ подь сердцемъ-то, словно червь какой! Вотъ я было обрадовался словамъ-то твоимъ, а теперь сязанова тоскливо стало. Не вѣрится!.. грустнымъ, разбитымъ голосомъ гово-рилъ онъ.

— Вѣрь не вѣрь, а сказалъ тебѣ сдѣлаю, такъ сдѣлаю! Чѣмъ сомнѣньемъ-то мучиться, поговоримъ-ко лучше объ усло-віяхъ, на какихъ я намѣренъ отдать тебѣ озеро, чтобъ послѣ грѣха между нами не вышло, оглядки-бы не было.

— Избави Господи отъ грѣха да оглядки; да нѣшто я плутъ какой, а?.. обидчиво отвѣтилъ Харитонъ Игнатьевичъ.

— Плутъ не плутъ, а случай не ровень, Харитонъ Игнатье-вичъ. Въ такихъ дѣлахъ аккуратность первое дѣло!

— Ну... ну будь по твоему, согласился онъ, — пощип-лемъ пуху у непойманной птицы! Хе... хе!.. говори!

— Прежде всего скажу тебѣ, что озеро ты возьмешь съ торговъ въ аренду на одного себя. Сами ли мы будемъ хозяй-ничать на озерѣ или сдадимъ его отъ себя въ аренду крестья-намъ, объ этомъ поговоримъ послѣ, когда увидимъ, что будетъ выгодише!..

— Извѣстное дѣло, обувь-то примѣряютъ, когда она спита, замѣтилъ Харитонъ Игнатьевичъ, — а она, вишь, пока еще умственной драгвой стачена, хе... хе-е!.. Ну?..

— Главная причина тутъ въ томъ, Харитонъ Игнатьевичъ, продолжалъ Петръ Никитичъ, не обративъ вниманія на колкое замѣчаніе его, — что имя мое въ этомъ дѣлѣ не должно упо-минаться, какъ будто-бы все это помимо меня будетъ дѣлаться, а я ничего не знаю и не вѣдаю, арендуешь ты озеро, или нѣтъ, понялъ?

— А-а-а!.. протянулъ Харитонъ Игнатьевичъ, вопреси-

тельно приподнявъ брови. — Стало быть, ты совѣшь какъ-бы втунѣ будешь; къ примѣру теперича взять, какъ-бы никакого касательства къ озеру не имѣешь?..

— Да, да, пока, до время, а тамъ, что далѣе будетъ, увидимъ!..

— Понялъ... понялъ! отвѣтилъ онъ, кивнувъ головой и погладилъ ладонью усы и бороду, желая скрыть радость, сверкнувшую въ маленькихъ карихъ глазахъ его. — Стало быть, дратва-то, какой ты обсоюзишь это дѣльце-то, будетъ съ изьянцемъ... хе-хе-е... ну что-жь!.. Я ужъ сказалъ тебѣ, что не брезгливъ, мнѣ все на-руку... всякая обувь по ногѣ!..

— Знаю, знаю! Поэтому на всякій случай, продолжалъ Петръ Никитичъ, — мы сдѣлаемъ между собою документикъ, къ примѣру — вексель, что будто-бы ты занялъ у меня пятнадцать тысячъ рублей серебромъ наличными деньгами, съ обязательствомъ уплатить ихъ по востребованіи мнѣ или кому прикажу я!..

Харитонъ Игнатьевичъ съ минуту сидѣлъ совершенно неподвижно, пристально посматривая на своего собесѣдника.

— То есть, какъ это вексель? спросилъ наконецъ онъ. — Съ какой это радости, для какой бы, къ примѣру, potrzeby?

— Единственно въ огражденіе меня отъ всякой случайности!..

— Отъ какой же, къ слову?

— Отъ обмана, напримѣръ!..

— Штобъ я-бы это да покусился на обманъ?.. крикнулъ Харитонъ Игнатьевичъ.

— Не сердись, Харитонъ Игнатьевъ, прервалъ Петръ Никитичъ, грѣхъ-то не ровень; въ жизни-то случается, что и сынъ отцу ножку подставить, когда до наживы дѣло коснется! Тутъ тебѣ и обижаться не на что, съ разстановкой говорилъ онъ;—ты только выслушай внимательнѣе, что я тебѣ скажу. Я берусь обдѣлать дѣло, что озеро, которое на худой конецъ принесетъ въ годъ четыре, пять тысячъ чистаго дохода, ты по-



лучишь въ аренду на двѣнадцать лѣтъ за сто или за пятьдесятъ рублей въ годъ! Это я предлагаю тебѣ на тѣхъ условіяхъ, что мы должны владѣть озеромъ вмѣстѣ, дѣлить съ тобой и доходы и расходы поровну, но участіе мое въ этомъ дѣлѣ должно оставаться въ тайнѣ, по крайней мѣрѣ на два, на три года, пока утихнетъ эта исторія! Слѣдовательно, я съ тобой никакого формальнаго условія по этому дѣлу заключить не могу.

— И не надоть, ну ихъ къ Богу, всё эти формальности! Мы такъ съ тобой, по душевному будемъ владѣть; дѣлить каждый грошъ съобча!..

— Э... э! Нѣтъ, Харитонъ Игнатьевичъ, такъ-то на словахъ только говорится, а на дѣлѣ-то частенько иное случается! Слово-то, что птица, на лету слѣда не оставляетъ! А кто мнѣ поручится, что когда ты получишь въ аренду озеро, то вмѣсто того, чтобы дѣлить со мной поровну весь доходъ, и на порогъ своего дома меня непустишь, а?.. Скажешь, что ты меня и знать не знаешь и вѣдать не вѣдаешь?... Ну, что я тогда возьму съ тебя за то, что рискую и мѣсто потерять, и можетъ быть подъ судъ попасть, а?..

— Я тѣ поруку-то на этотъ случай предоставлю почище векселя, коли ужъ на то между нами дѣло пошло!..

— Какую?

— Святителя Николу многомилостиваго въ свидѣтели призову, что между нами все по душевному будетъ!..

— О-о-о! Нѣтъ, Харитонъ Игнатьевичъ, такихъ то свидѣтелей въ эти дѣла не вмѣшиваютъ. И зачѣмъ угодниковъ Божьихъ тревожить, когда вексельная бумага есть и стоитъ-то не дорого. Оно и проще, и душѣ-то спокойнѣе!.. А вотъ если ты мнѣ дашь вексель, мы его засвидѣтельствуемъ формальнымъ порядкомъ у маклера, и тогда ужъ мнѣ нечего опасаться за будущее, потому что, на случай уклоненія съ твоей стороны, и у меня камешекъ за пазухой будетъ; и будемъ мы съ тобой состоять тогда въ истинной и неразрывной дружбѣ... Понялъ?.

— Ка-агъ не понять,—не малолѣтокъ, во всякихъ хому-

тахъ на своемъ-то вѣку обьязонтъ, разбираемъ, гдѣ чѣмъ шею-то третъ, хе-хе-е! Это я и будь бы просто, и дай тебѣ вексель, а ты завтра пойдешь да предоставишь его ко выиска-нiю, и я долженъ буду нищую суму надѣвать на себя? А дашь ты мнѣ озеро въ аренду или нѣтъ, это еще на водѣ пальцемъ писано...

— Теперь я и самъ не возьму отъ тебя векселя, пойми!.. возьму его тогда, когда дѣло обдѣлаю!..

— Не дамъ я тебѣ векселя!.. рѣшительно отвѣтилъ Харитонъ Игнатьевичъ, отвернувшись отъ него.

— Не дашь и не нужно, короче рѣчь!.. Найдутся и безъ тебя охотники, что за обладанiе озеромъ не на такія условiя согласятся и внесутъ мнѣ наличныя деньги въ обезпеченiе...

— Блужь это наличными-то тебѣ отсыплетъ, скажи-ко?..

— Любой купецъ!..

— Поди-же къ этакому купцу, поинци его. Не надоть-ли, фонарь засвѣчу, чтобъ свѣтлѣе было искать-то? Только уходи изъ моего дома, слышь сейчасъ же уходи, веыхнувь и задрожавъ весь, крикнулъ Харитонъ Игнатьевичъ, поднимаясь съ сундука.

— Подожди гнать-то, не покайся!.. спокойно замѣтилъ ему Петръ Никитичъ.

— Дай ему вексель!.. продолжалъ, между тѣмъ, Харитонъ Игнатьевичъ, не глядя на него и какъ бы обращаясь къ треть-ему лицу—Хе... хе-е!.. дурака нащелъ!.. Это опосля супротивъ его не смѣй и слова сказать, а? Хошь не хошь, а цляши по его дудѣ. Да ты въ памяти-ли, спрошу я тебя?—обратился онъ къ нему.

— Въ памяти!

— Виѣ одной, забылся; забылся говорю! Ты бы знашь какъ долженъ чтить-то меня, если памятуешь добро-то мое. Ты бы долженъ придти и сказать мнѣ: вотъ Харитонъ, за то, что ты меня нищаго призрѣвалъ, хочу я выискать тебя своей помощью:

на, тебѣ озеро владѣй имѣ! А ты вмѣсто того обманной вексель требуешь съ меня... по совѣсти ли это а?..

— Объясни, почему ты опасаясь дать мнѣ вексель? лукаво усмѣхнувшись, спросилъ Петръ Никитичъ. — Вѣдь ты хорошо знаешь, что я возьму его только тогда, когда дѣло будетъ навѣрное обдѣлано мной, что обмануть я тебя не обману по той простой причинѣ, что въ этомъ дѣлѣ заключается обоюдная наша выгода. Чего-жъ ты опасаясь, а?..

— Скажи ты мнѣ на-перво, кто ты таковъ? гордо глядя на него, спросилъ Харитонъ Игнатьевичъ. — Какимъ ты званіемъ почтешь: дворянинъ ли ты, купецъ ли, крестьянинъ ли?..

— Ссылъно-поселенецъ!.. спокойно отвѣтилъ Петръ Никитичъ.

— А-а-а! Стало быть, человекъ въявь ешельманннй, хе... хе!.. Такъ могу-ль я къ тебѣ какое довѣріе питать, а?..

— Не довѣряешь, и не нужно!.. Одинаково вѣдь и я милый другъ, не могу довѣрить человеку, который два раза въ острогѣ сидѣлъ по подозрѣнію въ грабежѣ и прикосновенѣ къ десятку дѣлъ о подлогѣ.

— А все-таки я не поселщикъ, все-таки моя честь при мнѣ!..

— Ну, честь-то у насъ съ тобой, Харитонъ Игнатьевичъ, тоньше паутины, постороннему-то глазу едва-ли примѣтна! Будемъ-ко правду говорить, а не вилать хвостами. Дѣло все въ томъ, что мы очень подробно знаемъ другъ друга: выходитъ, что я коса, а ты камень. Сидѣлъ ты сразу, что озеро взять въ аренду выгодно. Знаешь, что дѣло съ моей стороны о передаче его будетъ темное, рискованное, а тебѣ это и на-руку. Вотъ ты теперь и замышляешь, какими-бы тебѣ путями обейти меня и завладѣть озеромъ одному, потому что судиться съ тобой я не посмѣю, такъ какъ самъ на себя никто петля не накинеть. Вѣрно или нѣтъ? Ну-ко, скажи напрямки, стыднись-то намъ другъ друга нечего...

— Ну, въявь вижу теперь, что не даромъ тебѣ на прис-

какъ кудри-то расчесывали!.. отвѣтилъ покраснѣвшій до ушей Харитонъ Игнатьевичъ.

— Уму учили!

— И выучили, уме-е-ень?.. Въ прокъ пошла тебѣ эта грамота. Не умру, поколь не увижу тебя въ атласѣ да бархатѣ. Такъ что-жь, селяночкой, что ли, заѣдимъ, душевное-то расположеніе другъ къ другу... а?.. Хе, хе... е? шутливо спросилъ Харитонъ Игнатьевичъ.

— Отъ селянки я не прочь, кушанье хорошее...

— Люблю я ее, особливо когда это съ пылу-то она, да шипитъ это, шипитъ, хе, хе... а грузочки въ ней такъ и прискакиваютъ, словно заманиваютъ тебя, хе, хе... какъ ты теперь меня, къ слову сказать. Откровенный ты человѣкъ, Петръ Никитичъ, люблю я такихъ-то, что на-чисто узоры выводятъ, право! Теперь и я тебѣ скажу свое душевное слово: не сердись ты на меня, что я тебя по колоченымъ-то ребрамъ щупалъ, это я тебя нарочито пыталъ, что можно ли еще съ тобой темныя то дѣла вести, не возьметъ ли опаска...

— Ну, можно ли?.. съ ироніей спросилъ Петръ Никитичъ.

— Дока, братъ, ты, до-о-ка! Вотъ ужъ про тебя можно сказать твое же слово: что со всякаго крючка сорвешь червячка!.. Откровеніе это тебѣ Богъ далъ!

— Не пожалуюсь, умомъ не обиженъ!.. самодовольно отвѣтилъ Петръ Никитичъ.

— О-о-охъ... великое дѣло, коли умъ въ человѣкѣ есть, качая головой, глубокомысленно продолжалъ Харитонъ Игнатьевичъ. Съ умомъ человѣку и родительскаго наслѣдья не надоть. Спроси-ка меня, съ тѣмъ я жить пошелъ на бѣломъ свѣтѣ, а-а?... Съ двумя гривнами. А слава тебѣ Господи, и домикъ сторудовалъ, и въ домикѣ теперь пустого мѣста не найдешь. До тридцати лѣтъ у всѣхъ на языкѣ былъ Харитоншкой, а теперь всякій ко мнѣ съ почетомъ да уваженіемъ относится, всякій чтить меня Харитономъ Игнатьевичемъ. А все умъ,

умъ!.. Не будь у тебя ума, развѣ бы ты додумался до такой фортуны, а?.. А векселя, другъ, я все-таки не дамъ тебѣ!.. лукаво, но пристально посмотрѣвъ на него, заключилъ онъ...

— Не дамъ, такъ къ другому пойду?..

— Хе, хе, хе-хе-е-е!.. Знаю, знаю, милый ты человѣкъ, что на такую рыбу, какъ Святое озеро, самолововъ много найдется; да не бойся!.. Это я такъ, шучу. Страсть моя, другъ, шутки шутить. Другой, кто не знаетъ меня, подумаетъ, что я ни вѣсть какой плуть, а я, по душѣ тебѣ скажу, — простой человѣкъ, что твой младенецъ, ей Богу. А поломаться люблю... люблю.

— Со мной бы нечего шутки шутить, Харитонъ Игнатьевичъ, насковозъ другъ друга видимъ!..

— А все-жъ какъ-то вотъ легче стало, любовнѣй ровню, какъ супротивнымъ-то словомъ перекинулись. По крайности увидѣли, что другъ друга стоимъ, хе-хе-е!.. Дарья, меси-во селяночку-то, коли готово! благодушнымъ тономъ крикнулъ Харитонъ Игнатьевичъ, подойдя къ двери. — Вотъ другъ ты мой, снова началъ онъ, когда въ комнату вошла жена его, неся въ рукахъ тарелки и чистую скатерть на столъ, — разведи меня съ бабой, озолочу!.. Ну, что, какъ въ купечество выйдешь, какъ ты въ люди-то съ такимъ перестаркомъ покажешься, а?

— О-охъ, ужъ молчалъ-бы; куп-ецъ!.. Кто тебя еще въ купцы-то пустить, спросилъ бы наперво!.. отвѣтила жена, обведа его насмѣшливымъ взглядомъ, и, быстро отодвинувъ столъ отъ стѣны, накрыла его скатертью.

— Хе, хе, хе-е!.. Заживо, тронуло!.. Ну, ну, не сердись, Дарья Артамоновна, я вѣдь шучу! На насъ и въ мѣщанствѣ Господь оглядывается! произнесъ Харитонъ Игнатьевичъ, хлопнувъ ее ладонью по широкой спинѣ. — Двоихъ укомплектуешь, а-а?.. Вотъ намъ какую подь старость Господь супругу послалъ, хе-хе-е!.. обратился онъ къ Петру Никитичу.

— Тѣфу, ты!.. сплунувъ, произнесла Дарья Артамоновна,

и посвѣтло лица изъ конюшны, сопровождаемая веселыми смѣхомъ друзей.

На слѣдующій день, часу въ десятомъ утра, Харитонъ Игнатьевичъ подвезъ Петра Никитича къ одноэтажному деревянному дому, стоявшему внутри обширнаго двора, обнесеннаго съ улицы рѣвною деревянною рѣшеткою. Домъ стоялъ въ центрѣ города, на одной изъ лучшихъ улицъ, и принадлежалъ уважаемому исправнику Ивану Степановичу Кашкадамову. Пройдя чисто выметенный и усыпанный пескомъ дворъ, Петръ Никитичъ вошелъ въ людскую, помѣщавшуюся во флигелѣ, позади дома. У конюшенъ суетились кучера, чистившіе лошадей; два конюха обнимали щегольскую полуколяску; недалеко отъ нихъ, на завалинѣ сидѣло четверо крестьянъ, пришедшихъ еще на разсвѣтѣ и терпѣливо ожидавшихъ, когда ихъ примутъ и выслушаютъ. Просители были старики. Осеннее солнце обливало яркимъ свѣтомъ авторѣдья, морщинистыя лица и ихъ сѣрые, изъ домашнего сукна вѣсны. Что-то грустное проглядывало въ этой молчаливо сидѣвшей группѣ, пришедшей, можетъ быть за сотню верстъ, оторвавшись отъ неотложныхъ работъ по хозяйству. По двору суетливо перебѣгали въ флигеля въ домъ горничныя, то съ чайной посудой на подносѣ, то съ самоваромъ и кофейникомъ, уголомъ или выглаженной юбкой. Каждый разъ, какъ только отворялась дверь во флигелѣ или домъ, просветля точно по сигналу поднимались съ завалины и обнажали свои лысыя головы, обрамленныя прядями сѣдыхъ волосъ; но видя, что на нихъ никто не обращаетъ вниманія, медленно садились одинъ за другимъ, перекидываясь изрѣдка какимъ-нибудь словомъ.

Иванъ Степановичъ Кашкадамовъ, сидя въ это время въ кабинетѣ у письменнаго стола, отдавалъ приказанія повару и эконому о необходимыхъ приготовленіяхъ къ предстоящей охотѣ къ участію въ которой приглашены были вліятельныя лица

мѣстной администраціи. Красивое лицо его было крайне озабочено. Онъ постоянно хмурилъ брови, теръ лобъ, стараясь припомнить, не упустилъ ли чего-нибудь изъ виду; нѣсколько разъ повторялъ одни и тѣ-же слова, перечислялъ одни и тѣ-же сорта винъ, закусокъ и настетовъ. Поглощенный этой заботой, онъ нѣсколько дней не посѣщалъ даже управления, не подписывалъ накопившихся бумагъ, журналовъ и постановленій. Многимъ изъ этихъ бумагъ заключали въ себѣ судьбу какого-нибудь крестьянскаго семейства, рѣшеніе давнишняго сшора о чрезполосномъ кускѣ земли, освобожденіе изъ подъ ареста какаго-нибудь бѣдняка, но Ивану Степановичу было не до того... Онъ принадлежалъ къ тому многочисленному типу людей, которые, доживши иногда до глубокой старости, не выходятъ изъ младенческаго возраста и были известны въ губерніи болѣе подъ именемъ „Ваньчки“, и уменьшительное имя это, несмотря на солидный возрастъ и служебное положеніе, нагъ нельзя болѣе шло къ нему. Бывши нѣкогда адъютантомъ при какой-то особѣ, Иванъ Степановичъ считался въ высшемъ кругу города О... а „горячей и опасной головой“ и, вслѣдствіе свободомыслія, вынужденъ былъ прожѣвать военную карьеру на болѣе скромную гражданскую дѣятельность. Рассказывали, что принимая предложенную ему должность исправника, онъ открыто заявлялъ: „что каждый развитой и просвѣщенный человѣкъ обязанъ посвящать свои силы на служеніе интересамъ народа!“ Какъ посвящалъ Иванъ Степановичъ свои силы на подобное служеніе до женитьбы своей на дочери винокуренного заводчика и золотопромышленника Пѣгова, о томъ біографы его умалчивали, иронически улыбаясь, но послѣ женитьбы ни для кого не составляло секрета, что тестъ его въ компаніи съ нимъ оцѣнилъ половину губерніи кабаками и винными складами. Сдѣлавшись однимъ изъ крупныхъ капиталистовъ и душою высшего губернскаго общества, Иванъ Степановичъ тятотился службою, рѣдко заглядывалъ въ округъ и поговаривалъ даже о выходѣ въ отставку, еслибъ его не задерживало

благоклонное вниманіе къ нему начальства, прѣвившаго въ немъ не умъ, но честность.

Окончивъ распоряженіе, Иванъ Степановичъ отпустилъ повара и приказалъ лакею подать одѣться. Въ это время горничная доложила ему, что его желаютъ видѣть по весьма нужному дѣлу писарь X—ой волости и мужики съ просьбой, „пришедшіе еще до свѣта“, добавила она.

— Что тамъ такое? Что имъ нужно! съ неудовольствіемъ спросилъ онъ и приказалъ ввести просителей въ переднюю, предупредивъ горничную наблюдать, чтобъ они вытерли ноги и не натоптали на коврѣ. Тщательно вымытый и причесанный, съ дорогими перстнями на пальцахъ и запонками на груди бѣлоснѣжной сорочки, въ безукоризненно сшитомъ фракѣ, вышелъ Иванъ Степановичъ въ переднюю, гдѣ въ ожиданіи его, стояли у порога крестьяне, а поодаль отъ нихъ Петръ Никитичъ.

— А-а, Болдыревъ!.. Ну что такое?.. Какое такое дѣло? спросилъ онъ, кивнувъ головой на низкіе поклоны крестьянъ и пристально разсматривая порывѣвшій нанковый сюртукъ Петра Никитича и шаровары его съ побѣлѣвшими волѣнами.

— Извините, ваше высочордіе, что осмѣлился беспокоить васъ, но встрѣтилосъ нетерпящее отлагательства дѣло, отчетливо отвѣтилъ Петръ Никитичъ, слегка склонивъ голову на правую сторону и стоя передъ нимъ съ полузакрытыми глазами, какъ бы не вынося блеска, какимъ обливалъ его Иванъ Степановичъ.

— Хорошо, послѣ объяснишь, прервалъ его Иванъ Степановичъ.—Ну, а вамъ чего нужно? спросилъ онъ, обратившись къ крестьянамъ.

— Окажи намъ защиту, милостивецъ; за тѣмъ и пришли къ тебѣ!! въ голосъ заговорили они, сопровождая слова поклонами.

— Въ чемъ защиту, отъ кого? Вы какой волости? спросилъ онъ.



— Бѣлоярской и села-то Бѣлоярскаго!.. Миръ насъ выбралъ ходательствовать предъ тобой!.. началъ низенькій коренастый старикъ съ нависшими на глаза бровями, изъ-подъ которыхъ искрились черные пронизательные глаза. — Обидитъ насъ, батюшка, голова нашъ, Семень Алпатычъ, съ ятенькомъ своимъ, Антоень Прокофичемъ! Силы нѣтъ владеть съ ними, заступись?... и старикъ низко поклонился ему.

— Чѣмъ же обидятъ, ну?

— Много дѣловъ-то за ними, о-охъ! Коли все-то поспазать, и до вечера время не хватить... Мы, што есть, изъ села-то крадучись ушли: опаска брала, штобъ не провѣдалъ голова-то что къ тебѣ идемъ, да не заперъ бы насъ въ волость...

— Развѣ случалось, что онъ запираетъ въ волость, кто шель на него жаловаться... а?..

— Всячины у насъ дѣется, батюшка! И не на такія дѣла востеръ Семень Алпатычъ, продолжалъ старикъ.—Запереть-то въ волость не мудрое дѣло! Судись тамъ съ нимъ изъ-подъ замка-то.

— Осмѣлюсь доложить, ваше высокородіе, я не разъ слышалъ, что у нихъ въ волости дѣйствительно случаются продолжительные аресты безъ суда и слѣдствія, почтительно замѣтилъ Петръ Никитичъ, прервавъ старика, съ удивленіемъ посмотрѣвшаго на неожиданнаго заступника.

— Не вѣрится что-то. Я знаю, голова у нихъ степенный и разсудительный мужикъ...

— Это точно, ваше высокородіе, онъ очень разсудительный человекъ, съ улыбкой, откашлявшись въ руку, продолжалъ Петръ Никитичъ:—но я слышалъ недавно, что онъ сельскаго старосту деревни Черемши, превысивъ власть, продержалъ двѣ недѣли подъ арестомъ и до того застращалъ его, что онъ будто бы представилъ въ подать фальшивый кредитный билетъ, утаивъ настоящія деньги у себя, что тотъ и заикнуться не смѣетъ теперъ о жалобѣ на него.

— Давно это случилось? спросилъ Иванъ Степановичъ нахмуривъ брови.

— Недавно, какъ слышалъ я...

— И это правда:

— Такъ точно-съ!

— Странно! задумчиво произнесъ Иванъ Степановичъ. — Отчего же до сихъ поръ никто не доведъ объ этомъ до моего свѣдѣнія, а?

— Не могу знать, отвѣтилъ Петръ Никитичъ.

— Удивляюсь... произнесъ Иванъ Степановичъ, съ изумленіемъ пожавъ плечами. — Что это за народъ! Съ нихъ хоть съ живыхъ кожу сдирай, они все будутъ молчать!..

— И сдираютъ, батюшка! И кожу-то сдираютъ, и что подъ кожей-то есть и то поскоблють! подхватилъ старикъ. — И плачешь, да молчишь: онъ властный человѣкъ, богатый, а мы-то што супротивъ его? Вонъ теперь зятекъ-то его какъ мѣръ-то обидѣлъ, одинъ Богъ только видитъ. Лужокъ у насъ есть. Мы събача и косили на немъ. Только, въ прошломъ году, зять-то головы, Антонъ Прокофѣичъ, и пристаишь къ намъ: отдай ему этотъ лужокъ на лѣто въ ренду? Скота онъ скупаеъ по деревнямъ-то, сѣна на прокормъ-то его въ зиму много требуется, покупать-то насадно, вишь, карману-то... все какъ подешевле наровить. Ну и вздумалъ лужокъ у насъ въ ренду взять для сѣнокосу. Мы-то и не хотѣли, признаться, отдавать, такъ голова-то присталъ къ намъ—отдайте, да отдайте; плату дали хорошую, нечего сказать: сто двадцать рублей за лѣто мы взяли съ него. Ладно!.. Условіе сдѣлали въ волости, какъ слѣдуетъ. Мы-то, признаться, и не хотѣли условія-то дѣлать: въ отпоръ, молъ, не пойдемъ, коли слово дали; такъ голова же тогда и настоялъ, что безъ условія не можно. Сдѣлали. Только нонче, какъ пришелъ сѣнокосъ-то, мы, по порядку, подѣлили, какъ значить, промежъ себя лугъ, скосили, сметали стоги; все ничего, все молчалъ нашъ Антонъ Прокофѣичъ. Только, когда ужъ управились дѣломъ, онъ

и вступишь: по какому-де праву мы на чужомъ дугу хозяйствуемъ?—Какъ на чужомъ? говоримъ ему. Лугъ нашъ, мы тебѣ отдали его только на одно лѣто.—Нѣтъ, говорить, лугъ, мой, а вашимъ онъ будетъ по скончаніи трехъ годовъ, какъ въ условіи сказано!.. А въ условіи-то они, ваша милость, замѣсто одного-то лѣта, на четыре годочка вписали! Вотъ какія дѣла у насъ дѣются! Совсѣмъ теперь безъ сѣна остались, скотинка хошь пропадай! Кой-гдѣ по болотцамъ покосили, и все тутъ. Што ись за работу-то намъ не заплатилъ: вольно, говорить, вамъ было, очертя голову, косить-то!..

— А точно ли вы на одно лѣто отдавали лугъ? Вѣрно ли это? спросилъ Иванъ Степановичъ, прерывая старика.—Смотрите, говорите, да обдумывайте. Вѣдь вы обвиняете волость въ подлогѣ, въ фальшивомъ составленіи условія! Когда условіе-то заключили, пили вино?...

— Пили!... Былъ этотъ грѣхъ, батюшка!..

— До пьяна пили?

— Пошатывало, не потаимся! Голова-та не угощеніе не покупился, всѣ были довольны.

— Еще бы довольны не были! Вы за ведро-то душу продадите, знаю!

— Полно, милостивецъ! тоскливо глядя на него, отвѣтилъ старикъ.

— Сами же, вѣрно, съ пьяна отдали лугъ на четыре года,—разгорячась говорилъ Иванъ Степановичъ, обратившись къ Петру Никитичу,—а теперь спохватились и пошли съ жалобой. Знаю я, какъ всѣ васъ обижаютъ да обираютъ! Не остаетесь и вы въ долгу, гуси-то лапчатые!..

— На лѣто, родной, мы отдали лугъ ему, на лѣто! Коли намъ вѣры не даешь, Богу повѣрь!.. отвѣтилъ старикъ.

— Въ этомъ и вся ваша жалоба?

— О-охъ! Много дѣловъ-то, много-ого!.. Вдову, теперича, жену покойнаго Мирона Силича, дѣтнюю сироту, обобрали до чиста...

— Кто!..

— Все тотъ же Антонъ Прокофѣичъ съ головой, Семеновъ Алпатычѣмъ. Повойникъ-то, вишь, должень былъ Антону-то. Столько должень-то былъ, Богъ ихъ знаетъ. Темное дѣло-то. Акулина, вдова-то, говорила на міру, што и двадцати рублей не будетъ, а Антонъ-то сказываетъ, што и отъ сотни хвостики останутся. Да теперича и отобрали, съ головой-то, у нея лошадь, корову да нетель годовалую, да еще грозятъ жаловаться. Разорили бабу-то въ корень...

— Ну, и все тутъ?

— Дивья, кабы все-то. Кабахъ теперь Антонъ-то завель...

— Ну, хорошо, довольно!.. остановилъ его Иванъ Степановичъ.—Подите теперь въ полицейское управленіе и скажите, что я прислалъ васъ и приказалъ снять съ васъ письменное заявленіе о вашей претензіи на голову. А ты, Волдыревъ, пройди ко мнѣ въ кабинетъ, сказалъ Иванъ Степановичъ, выходя изъ передней въ залу.

Съ минуту постоявъ въ нерѣшительности у порога, крестьяне одинъ за другимъ вышли изъ передней и, почесывая въ затылкахъ, медленно пошли со двора, держа палки въ рукахъ; а Петръ Никитичъ, пройдя осторожно на носкахъ черезъ залу въ кабинетъ, остановился у порога, почтительно откашливаясь въ руку.

— Какое же дѣло встрѣтилось у тебя? спросилъ Иванъ Степановичъ, опускаясь въ кресло.—Надѣюсь, по волости ничего особеннаго не случилось?

— Все благополучно-съ! Подати, по обыкновенію, собрали сполна и сдали въ казначейство!

— Хорошо!.. Говори же скорѣе, какое дѣло. Я тороплюсь, мнѣ некогда, нужно ѣхать! предупредилъ онъ, любуясь носкомъ своего лакированного сапога.

Осторожно переступая по мягкому, дорогому ковру, Петръ Никитичъ подошелъ къ Ивану Степановичу и, подавъ ему пакетъ съ циркуляромъ, снова отошелъ къ порогу. Молча вы-

нувъ циркуляръ, Иванъ Степановичъ прочиталъ его и съ недоумѣніемъ посмотрѣлъ на Петра Никитича.

— Въ этомъ и заключается затруднившее тебя дѣло? спросилъ онъ.

— Такъ точно-съ...

— Что-жь тутъ особеннаго ты нашель?.. Палата требуетъ, чтобъ ей доставили свѣдѣнія, какія есть въ волости сѣвочесныя дуга, рыбныя озера или пески, которыя принадлежатъ казнѣ и могли-бы быть обращены въ оброчныя статьи...

— Такъ точно-съ...

— Есть въ волости такія угоды, которыя принадлежатъ казнѣ?..

— Есть.

— И донеси палатѣ, что есть. Объ этакихъ пустякахъ не слѣдовало и ѣхать спрашивать меня! съ неудовольствіемъ произнесъ Иванъ Степановичъ, доставая изъ коробки свѣжіе лайковыя перчатки и растягивая ихъ на пальцахъ лѣвой руки.

— Позвольте, ваше высокородіе, обстоятельнѣе изложить предъ вами настоящее дѣло! спросилъ Петръ Никитичъ, откашлявшись въ руку.

— Говори, отвѣтилъ Иванъ Степановичъ, не оглядываясь.

— На основаніи этого циркуляра, ваше высокородіе, мы должны донести, что въ предѣлахъ волости есть рыбное озеро, называемое Святымъ, которое принадлежитъ казнѣ и приносить крестьянамъ въ годъ отъ трехъ до четырехъ тысячъ рублей дохода. Палата зачислитъ озеро въ оброчную статью, и тогда крестьяне, чтобъ пользоваться имъ, должны будутъ арендовать его у казны.

— Весьма естественно. Палата и имѣетъ это въ виду...

— Такъ точно-съ. Но тутъ встрѣчается, ваше высокородіе, обстоятельство, для изложенія коего я и осмѣлился беспокоить васъ.

— Какое же еще обстоятельство?

— Вашему высокородію не безъ извѣстно, что не многіе

изъ крестьянъ нашей волости занимаются хлѣбопашествомъ, вслѣдствіе дурной, болотистой почвы земли?

— Знаю!..

— Единственными источниками для безбѣднаго существованія ихъ и безнедоимочной уплаты податей и повинностей служатъ: вырубка на продажу строевого лѣса, выдѣлка деревянной посуды, а главное уловъ рыбы изъ озера. Если озеро отберутъ у нихъ, тогда они неминуемо обнищаютъ, такъ какъ исключительно только вырубкой лѣса и подѣлкой посуды они не могутъ существовать...

— Они будутъ арендовать озеро и пользоваться имъ, замятилъ Иванъ Степановичъ.

— Совершенно справедливо, ваше высокородіе; но такъ какъ арендная плата, въ виду того дохода, какой приноситъ озеро, по всѣмъ вѣроятіямъ будетъ значительная,—не менѣе полутора или двухъ тысячъ въ годъ, то уплачивать такую значительную сумму, не нарушая своего благосостоянія, крестьяне могли бы, ваше высокородіе, только въ такомъ случаѣ, еслибы, сообразно съ новымъ расходомъ, увеличился и ихъ доходъ; но нести подобный непредвидѣнный расходъ изъ той же суммы дохода, какой они имѣютъ теперь, они не въ состояніи. А посему они будутъ постепенно бѣднѣть, на нихъ будетъ накапливаться недоимка, и кончится тѣмъ, что богатая теперь волость придетъ современемъ въ состояніе крайняго упадка...

— Ну, такъ что жъ намъ дѣлать въ такомъ случаѣ? вопрошительно взглянувъ на него, сказалъ Иванъ Степановичъ.— Вѣдь мы не виноваты въ этомъ; распоряженіе это идетъ не отъ насъ...

— Такъ точно-съ... Посему я и осмѣлился беспокоить васъ: не благоудно ли вамъ будетъ изыскать мѣры къ предотвращенію сего зла...

— Ну, ну, ну... Какія же мѣры?.. Ну, что бы ты сдѣлалъ, бывши на моемъ мѣстѣ?.. спросилъ Иванъ Степановичъ,

вскочивъ съ кресла, и остановился посреди комнаты, заложивъ руки за фалды фрака.

— Я бы донесъ, ваше высокородіе, что въ предѣлахъ волости есть озеро, не вошедшее въ надѣлъ крестьянъ и составляющее собственность казны, но озеро совершенно безрыбное, дохода никакого не приноситъ, и зачислять его въ обреченную статью не встрѣчается надобности...

— То есть, какъ же это?.. широко раскрывъ глаза, съ недоумѣніемъ спросилъ Иванъ Степановичъ.—Совершилъ бы наглій обманъ, клонящійся къ намѣренному подрыву интересовъ казны, а-а?..

— Подобнымъ донесеніемъ, ваше высокородіе, я не подорвалъ бы интересовъ казны, а сохранилъ бы ихъ, спокойно отвѣтилъ Петръ Никитичъ.

— Не понимаю, какъ это: объясни...

— Какъ я уже имѣлъ честь доложить вашему высокородію, началъ Петръ Никитичъ,—если озеро зачислять въ казну и крестьяне будутъ арендовать его, то это немедленно повлечетъ за собою постепенное обѣднѣніе ихъ, что прежде всего выразится въ неаккуратной уплатѣ податей и въ накопленіи недоимки. Казна будетъ получать ежегодно полторы или двѣ тысячи рублей за озеро и въ то же время будетъ болѣе терять отъ недобора податей съ волости. Для казны, ваше высокородіе, болѣе интереса, если волость въ количествѣ 1,300 душъ живетъ безбѣдно, аккуратно уплачиваетъ подати и повинности въ размѣрѣ девяти или десяти тысячъ въ годъ, нежели, потнавшись за тысячью пятьюстами или двумя тысячами рублей дохода отъ аренды озера, она приведетъ современемъ волость въ крайнюю нищету и допустить накопленіе недоимки, которую должна будетъ прощать имъ по безнадежности взысканія...

Молча выслушавъ доводы Петра Никитича, Иванъ Степановичъ, понуривъ голову, задумчиво прошелся нѣсколько разъ по кабинету, и затѣмъ, остановившись у окна, забарабанилъ

пальцами по стеклу. Петръ Никитичъ искоса наблюдалъ за нимъ, покашливая время отъ времени въ руку.

— Хорошо! произнесъ вдругъ Иванъ Степановичъ, круто повернувшись къ нему на каблукѣ. — Донесемъ мы, что озеро безрыбное, доходу не даетъ; а вдругъ откроется, что мы донесли ложно, а?... Тогда что?... Тогда вѣдь, братъ, не похвалить! Тогда вѣдь достанется всѣмъ сестрамъ по серьгамъ!...

— Не достанется, ваше высокородіе...

— Да вѣдь это ты говоришь! А я тебѣ говорю, что достанется. Вѣдь озеро-то это здѣсь всѣ знаютъ.

— Знають... такъ точно-съ!...

— А ты донесашь, что оно безрыбное? Отличишься!... Положимъ, ты сдѣлаешь это съ похвальной цѣлью оградить интересы казны и крестьянъ! да такими ли глазами посмотреть на твой поступокъ вверху, а-а?... Ты подумалъ ли объ этомъ а?...

— Думалъ, ваше высокородіе!

— Ну, что жъ?...

— Если даже и догадаются, то посмотреть на это донесеніе сквозь пальцы... а чтобъ догадались—сомнительно!...

— Ну, нѣ-ѣтъ, братъ, это ты шалишь! сдѣлавъ пируэтъ передъ нимъ на каблукѣ и закусивъ губу, фамильярно произнесъ Иванъ Степановичъ.—Шали-и-шь! повторилъ онъ.

— Неужели вы, ваше высокородіе, изволите полагать, что палата будетъ справляться: вѣрно мы донесли или нѣтъ. Да вѣдь въ такомъ случаѣ ей бы по каждому донесенію волостныхъ правленій слѣдовало производить удостовѣренія. А если бы даже и догадались, что свѣдѣнія, доставленные нами, не вѣрны, то палата также хорошо знаетъ, что въ большинствѣ случаевъ доставляемые волостными правленіями свѣдѣнія страдаютъ отсутствіемъ истины. Вотъ, если бы волости, ваше высокородіе, стали всегда доносить одну истину, такъ это бы скорѣе не понравилось, съ ироніей произнесъ Петръ Никитичъ.

— Что ты за вздоръ городишь, прервалъ его Иванъ Степановичъ.



— Истину докладываю вамъ!... Позвольте мнѣ, въ подтвержденіе моихъ словъ, рассказать случай, бывшій со мной еще при покойномъ предмѣстникѣ нашемъ, Олимпіанѣ Гавриловичѣ Неурядовѣ.

— Ну... что такое? произнесъ Иванъ Степановичъ, взглянувъ на часы и снова опуская ихъ въ карманъ.

— Это было еще въ первый годъ моей службы писаремъ, ваше высокогородіе. Нужно было представить обычный годовоіъ отчетъ о состояніи волости. Я и представилъ, составивъ его по сущей совѣсти и правдѣ. Преходить недѣли двѣ: вдругъ требуютъ доставить меня съ нарочнымъ въ губернское правленіе. Я испугался, думаю: что такое случилось? Приѣзжаю, являюсь. Выходитъ ко мнѣ совѣтникъ съ моимъ отчетомъ въ рукахъ. „Ты, говоритъ, писарь X—ой волости?“ — Я! „Ты составлялъ отчетъ?“ — Я! „Что говоритъ, въ волости дѣйствительно нѣтъ ни одной школы, завода... и не существуетъ между крестьянами никакихъ ремеселъ кромѣ выдѣлки деревянной посуды?“ — Такъ точно, говорю, ваше высоко-благородіе!... „Что же говоритъ, подумаетъ высшее начальство, когда мы представимъ такіа статистическія данныя? Значить, мы небрежемъ о народномъ образованіи, о народномъ благосостояніи и развитіи мануфактуръ и промышленности? — Не могу, говорю, знать, ваше высокоблагородіе: я составлялъ по сущей совѣсти!... Взглянулъ онъ на меня такъ сурово и говоритъ: „сидись и перебѣли эту страницу; ищи: школъ — одна; посѣщаютъ ее отъ пятидесяти до шестидесяти учениковъ обою пола“. Я такъ и обомлѣлъ: но дѣлать нечего, сѣлъ и пишу!... „Ищи: что въ волости имѣется одинъ канатный заводъ, производящій оборотъ капитала отъ трехъ до пяти тысячъ въ годъ, и заводъ для выдѣлки лыка на куди и рогожи, и кромѣ того въ населеніи распространены мелкіе заводы для выдѣлки посуды и другихъ деревянныхъ издѣлій. Промышленность среди крестьянъ ежегодно увеличивается, а вмѣстѣ съ

оной возрастает ихъ благосостояніе, съ развитіемъ же среди нихъ грамотности, замѣтно улучшается нравственность.“

— И ты написалъ все это?..

— Смѣлъ ли послушаться, ваше высокородіе; если приказали...

— Ну, это того, однако жъ, курьезъ, ха-ха-ха... И съ тѣхъ поръ ты такъ и составляешь отчеты?

— Сами изволите читать, ваше высокородіе!

— Да, да, отвѣтилъ, покраснѣвъ, Иванъ Степановичъ, который никогда не читалъ отчетовъ, доставляемыхъ волостными правленіями, хотя и скрѣплялъ ихъ подписью;—да, да, у насъ все такъ, на бумагѣ все есть, все процвѣтаетъ: и промышленность, и образованіе, и благосостояніе народа, съ какою-то грустью въ голосѣ произнесъ онъ.

— Такъ и въ этомъ случаѣ, ваше высокородіе: неужели палата знаетъ, какія гдѣ озера, и рыбыны они или нѣтъ, и будетъ повѣрять всѣ донесенія волостныхъ правленій? Еслибъ она знала о существованіи Святаго озера, то давно бы ужъ зачислила его въ оброчную статью. Получать нашъ отвѣтъ, прочтуть и пришлютъ къ дѣду. Тѣмъ все и ограничится!..

— Рискованно, братъ, рискованно!.. А вдругъ а?..

— Какъ угодно-съ...

— А вдругъ, говорю, откроется, а?.. Тогда что? остановившись противъ него, спросилъ Иванъ Степановичъ.—Тогда вѣдь и того, потянуть...

— И не такія дѣла, ваше высокородіе, дѣлаютъ, да не притягиваютъ!.. замѣтилъ Петръ Никитичъ.

— Ну, представь себѣ, что ты донесъ, какъ говоришь, и вдругъ получаешь запросъ: что такъ какъ, по имѣющимся свѣдѣніямъ, озеро, называемое Святымъ, оказывается рыбнымъ и весьма доходнымъ, то какими данными руководилось волостное правленіе, сообщая о совершенной бездоходности такового, а?

— Отпишемъ-съ!..

— Говори, что же ты отпинешь?

— Сообщить, что озеро это, действительно когда-то считалось чрезвычайно богатым рыбой, но съ течениемъ времени уловъ таковой становился все менѣе и менѣе, а за послѣдніе года, по отзывамъ крестьянъ, спрошенныхъ по сему поводу, окончательно изсякъ, вслѣдствіе чего, дабы не ввести налату въ заблужденіе неосновательнымъ сообщеніемъ о доходности озера, волостное правленіе донесло въ отрицательномъ смыслѣ...

— И ты полагаешь, этимъ удовлетворишься?..

— Удовлетворятся, ваше высокородіе, на томъ основаніи, что кто же можетъ поручиться, что завтра же въ этомъ озерѣ не можетъ исчезнуть вся рыба, и завтра же снова появиться? Вѣдь все это дѣло въ рукахъ Божіихъ...

— Гм! Такъ-то оно такъ! пройдя по комнатѣ, съ раздумьемъ произнесъ видимо колебавшійся Иванъ Степановичъ...

— Если донести, ваше высокородіе, не скрывая истины, снова началъ Петръ Никитичъ,—и выяснитъ при этомъ палатѣ, что зачисленіе озера въ оброчную статью будетъ угрожать разореніемъ волости, и ходатайствовать о томъ, чтобы озеро отдали въ надѣлъ крестьянамъ, то рѣшеніе этого вопроса будетъ зависѣть отъ министерства, и пока онъ выяснится, озеро все-таки зачислятъ въ оброчную статью; а будетъ уважено ходатайство или нѣтъ, это еще неизвѣстно. Тогда какъ, донесъ теперь о непригодности озера, мы можемъ, выше высокородіе, чрезъ полгода войти съ ходатайствомъ объ отдачѣ его въ надѣлъ крестьянамъ, въ томъ вниманіи, что они пользуются озеромъ для сплава вырубимаго за тундрю лѣса. Въ виду непригодности озера, рѣшеніе вопроса объ отдачѣ его въ надѣлъ будетъ зависѣть отъ палаты, и она уважитъ наше ходатайство!...

— А-а! Вотъ такъ-то развѣ! Ну, такъ оно того... Однако жь, заболтался я съ тобой, неожиданно произнесъ Иванъ Степановичъ, взглянувъ на часы:—миѣ вѣдь давно уже нужно бы ѣхать! О-охъ, дѣла, дѣла! вздохнувъ сказалъ онъ съ усталымъ видомъ. Да! Такъ что я хотѣлъ сказать тебѣ? Да! Хотѣ

миѣ, признаться сказать, и не хотѣлось бы прибѣгать въ какой бы то ни было лжи, потому что ложь противна моей натурѣ, не какъ я внивулъ теперь въ положеніе крестьянъ, которое, дѣйствительно, будетъ безотрадно, если у нихъ отберутъ озеро... а я желаю всякому добра, и желаю его искренно, а въ особенности мужику, те... донеси, какъ ты говорилъ. Попробуй, посмотримъ, что выйдетъ. Можетъ быть, и удастся оправдать ихъ отъ нужды!.. Ну, а если загорится дѣло, такъ я постараюсь уладить его своими мѣрами. Пежаль?..

— Слушаю-съ!

— Болѣе у тебя ничего нѣтъ сказать миѣ?..

— Никакъ нѣтъ-съ, ваше высокородіе!..

— Ну, такъ прощай, или, скорѣе, до свиданья! Я, можетъ быть, въ началѣ будущаго мѣсяца улучу денежекъ-другой и заверну въ волость. Да пойдемъ когда, такъ зайдѣ въ людскую, скажи, чтобъ миѣ подали лошадей...

Въ тотъ же день, послѣ сытнаго обѣда, Петръ Никитичъ собрался въ обратный путь. Харитонъ Игнатьевичъ, тщетно старавшійся проникнуть въ тайну совѣщаній его съ Иваномъ Степановичемъ и ничего не добившійся, только вздыхалъ, трепалъ Петра Никитича по плечу, да приговаривалъ время отъ времени: „Ну, ну, смотри, точай дѣло крѣпче, кабы умственная-то дратва не подпоролась гдѣ, хе-хе-е!“ и любовно заглядывалъ ему при этомъ въ глаза, потирая руки. Прощаясь съ нимъ, Дарья Артамоновна вручила ему небольшой кулекъ на память, въ которомъ было завернуто фунтъ чаю, два фунта сахара и банка домашнего варенья. Гостинцы эти были вручены ею Петру Никитичу по особому приказанію Харитона Игнатьевича, не любившаго безъ нужды баловать своихъ друзей угощеніемъ и подачками.

Въ глухой, пустынной мѣстности была заброшена Х—ская волость. Пробраться въ нее была возможность только въ одно-

колѣкъ или на лошади верхомъ, чрезъ первобытные лѣса и ба-  
 лота, устѣянные мелкими озерами. Изрѣдка среди унылой,  
 однообразной равнины выдавалась узкая полоса удобной хлѣбо-  
 пахатной земли или небольшая холмистая поляна, и эти за-  
 сѣканные взглядомъ оазисы природа, казалось, разсыпала только  
 для того, чтобы рѣзче отгѣнить безплодную тундру. Немногіе  
 изъ крестьянъ этой волости занимались хлѣбопашествомъ, да и  
 тѣ часто не возвращали зерна; потраченного на посѣвъ, и,  
 несмотря на такія условія, крестьяне все-таки славились круп-  
 ной зажиточностью. „Гиблыя у насъ мѣста, не родъ на нихъ  
 хлѣбу; не будь у насъ лѣску да богатнаго озера, такъ дав-  
 но бы ходили по міру!“ обыкновенно отгѣчали они на вопросы  
 любопытныхъ, интересовавшихся знать, на чемъ основывается  
 ихъ благосостояніе. Густые обширные лѣса, или „Божья ни-  
 за“, какъ говоритъ народъ, тянулись отъ востока къ сѣверу  
 по всей волости и терялись въ глубинѣ тундры, куда не захо-  
 дила еще нога человѣка. Въ лѣсахъ таились обширныя озера,  
 окаймляющія волость, какъ ожерелье. Весь рядъ этихъ озеръ  
 крестьяне соединили искусственными протоками для сплава во-  
 дою вырубяемаго лѣса, дровъ, лыка, угли и выгоняемыхъ изъ  
 дерева смолы и дегтя. Деревянная посуда, какую выдѣлывали  
 они, а также колеса, телѣги и дуги славились своею проч-  
 ностью далеко за предѣлами Т—ой губерніи. Не на одинъ де-  
 сятокъ рублей сбывала трудолюбивая крестьянская семья этихъ  
 издѣлій на сельскихъ ярмаркахъ и заѣзжимъ скупщикамъ. Но  
 одна торговля лѣсомъ и издѣліями изъ дерева не доставила бы  
 крестьянамъ того благосостоянія, какимъ они пользовались. Они  
 черпали его главнымъ образомъ въ Святомъ озерѣ. Богатое  
 рыбой, озеро занимало площадь въ двѣнадцать, а мѣстами въ  
 шестнадцать верстъ ширины и тянулось на протяженіи двад-  
 цати верстъ. Плоскіе берега его скрывались въ зеленой осоцѣ,  
 дѣвственные лѣса окаймляли его со всѣхъ сторонъ, какъ бы  
 охраняя свою густую непроницаемую сѣтью отъ завистливаго  
 глаза. Узенькими тропинками, опасными даже для опытнаго

пѣшехода, проложившими среди топиныхъ болотъ, пробирались къ нему промышленники, неся на себѣ провизію, невода и рыболовные снаряды. Лѣжившія кое-гдѣ по берегамъ озера, устроенныя на сваяхъ, избушки, въ которыхъ промышленники находили приютъ отъ осеннихъ вѣтровъ и зимнихъ вьюговъ, придавали нѣсколько оживленный видъ этой пустынной мѣстности. Добываемая въ озерѣ рыба, особенно караси, по своему крупному объему, составляла рѣдкость даже въ Сибири, и дорого цѣнилась на рынкахъ. Въ годы, богатые уловомъ, бѣдная по числу работниковъ семья сбывала рыбы съ одного лѣтняго промысла на шестьдесятъ, на семьдесятъ рублей. Лѣтъ за шестьдесятъ до описываемаго мною времени, крестьяне пользовались озеромъ вмѣстѣ съ инородцами. Чубур...ой волости, небольшія селенія которыхъ, или юрты, были разбросаны въ пограничныхъ лѣсахъ. Отчасти по природной безпечности, а вѣрнѣе всего во избѣжаніе столкновеній съ крестьянами, робкіе и уступчивые инородцы постепенно отстранились отъ озера и въ послѣднее время не смѣли даже появляться около него. Отчужденіе ихъ отъ озера крестьяне объясняли тѣмъ, что какой-то старецъ, необычайно свѣтлый ликомъ, пугаль, будто-бы, каждаго инородца, желавшаго забросить въ озеро свою сѣть или неводъ, или скрывалъ пути къ озеру, заставляя безцѣльно блуждать по лѣсамъ и болотамъ. Благодаря этимъ легендамъ, переходившимъ изъ рода въ родъ, озеро нарекли „Святымъ“ и построили около него часовню, въ которой ежегодно передъ началомъ весенняго улова служили молебень. Крестьяне домогались даже устроить крестный ходъ къ озеру и ярмарку въ ближнемъ къ нему селѣ, но епархіальное начальство почему-то не уважило ходатайства, и вопросъ объ этомъ замолкъ.

Волость считалась богатѣйшею въ Т—й губерніи и единственной, на которой никогда не числилось недоимки. Но эта завидная для другихъ зажиточность не легко доставалась крестьянамъ. Круглый годъ они проводили въ упорномъ трудѣ, не зная отдыха и праздниковъ. Лѣтомъ и осенью села и де-

рѣки совершенно пустыли; мужчины, чередуясь между собою погодно, уходили артелями, — одна половина въ лѣса, сплавлять дрова и строевой лѣсъ, вырубленный зимою, другая на озеро, на рыбный промысел. Многолѣтніе старики, и тѣ жили лѣтомъ въ лѣсахъ, выкуривали деготь, выгоняли смолу, жгли уголь и драли лыко. Зимою, до января, большинство крестьянъ занималось выдѣлкою посуды и другихъ издѣлій, а съ января снова уходило въ лѣса, для вырубки дровъ и строевого и пѣдлочнаго дерева. Вязанье сѣтей, мережи для неводовъ и окраска посуды лежали исключительно на обязанности женщинъ и дѣтей. Жители смежныхъ волостей частенько подсмѣивались надъ неутомимымъ трудолюбіемъ своихъ сосѣдей, называя ихъ „болотными скаредами“, но втайнѣ завидовали имъ, и, въ нуждѣ, не иначе какъ къ нимъ обращались за помощью, уступая имъ за безцѣнокъ ленъ, коноплю, хлѣбъ, овощи и сѣно. Благодаря своей заброшенности въ глуши, волость эта представляла особенный мірокъ, съ особымъ складомъ жизни и обычаевъ. Случались-ли между крестьянами споры изъ за промысловъ или при дѣлежѣ добычи, всѣ эти дѣла кончали по рѣшенію стариковъ, выбираемыхъ обществомъ изъ своей среды. Ни одно дѣло не доходило даже до волостнаго суда, не только далѣе. Власти рѣдко заглядывали въ этотъ уголокъ, по отсутствію хорошихъ дорогъ, и появленіе чиновника каждый разъ возбуждало въ крестьянахъ любопытство, смѣшанное съ боязнью. Въ волости не было ни одной школы, но не было также и ни одного кабака, и хотя крестьяне отзывались „что имъ некогда пить, что до баловства этого они не охочи“, но существовали сильныя подозрѣнія что защищенные неудобствомъ путей сообщенія отъ надзора полиціи и чиновниковъ акцизнаго вѣдомства, они свободно выкуривали вино для своего удовольствія.

Возвратившись изъ города, Петръ Никитичъ засталъ въ селѣ Х...во волостнаго голову, Мирона Кузьмича Бочарова, пригласилъ его къ себѣ, прочиталъ ему циркуляръ и объяснилъ,

что, по приказанію исправника, для того, чтобы оставить озеро во владѣніи крестьянъ, нужно составить общественный приговоръ и донести, что озеро безрыбное, не приноситъ никакого дохода и крестьяне не имѣютъ въ немъ надобности. Миронъ Кузьмичъ былъ человекъ пошлой, тихаго, нерѣшительнаго характера, не отличался умомъ, хотя и любилъ съ глубокомысленнымъ видомъ резонерствовать по всякому поводу. Онъ не нашелся, что отвѣчать, и съ полчаса сидѣлъ молча, усердно отирая потъ, крупными каплями выступавшій на лбу и щекахъ. Онъ не могъ понять ничего изъ всѣхъ разъясненій Петра Никитича. Въ ушахъ его только и звенѣли грозныя слова: „озеро отберутъ въ казну и зачислятъ въ оброчную статью!“ Онъ такъ и ушелъ, не уяснивъ въ чемъ дѣло, и немедленно поѣхалъ въ деревню Подбельную, къ крестьянину Никифору Гавриловичу Бахлыкову, считавшемуся въ народѣ умнымъ и опытнымъ человекомъ. Выслушавъ безсвязный рассказъ Мирона Кузьмича, старикъ Бахлыковъ сказалъ ему: „Дѣло это, Миронъ Кузьмичъ, общественное, вѣковое; отъ озера питались и дѣды, и отцы наши, отъ озера и мы сыты и благополучны. Хотя мы отъ Петра Никитича и не видали ничего худого, но доказаться на одни его слова въ эфтомъ дѣлѣ не можно. А ты, на мой умъ, поѣзжай-ко завтра самъ къ исправнику и спроси его доподлинно, какъ и что, а опосля того собери все общество, и мы собча подумаемъ, какъ и что дѣлать намъ!“ Пока, по совѣту Бахлыкова, Миронъ Кузьмичъ ѣздилъ въ городъ, вѣсть, что озеро зачисляютъ въ оброчную статью, пробралась въ народъ, вызывая въ немъ шумное волненіе, и когда волостные сотники объѣзжали села и деревни, сзывая крестьянъ на сходъ, каждый зналъ уже причины схода.

Никогда еще не замѣчалось въ крестьянахъ такого оживленія, какъ въ эту памятную для нихъ пору. Вышедшіе изъ подушнаго оклада старики и молодежь, не имѣвшая еще права голоса, одинаково ѣхали въ волость послушать, чѣмъ рѣшить мѣръ вопросъ объ озерѣ, отъ котораго зависѣло все ихъ благо-



состояніе. Въ день схода небольшое зданіе волости не вмѣстило въ своихъ стѣнахъ массы народа. Крестьяне тѣснились на крыльцѣ и на улицѣ, у раскрытыхъ оконъ. Миронъ Кузьмичъ, облеченный въ жалованный кафтанъ, съ трудомъ пробрался черезъ толпу. Нѣсколько минутъ по приходѣ его дѣлалось молчаніе. Вынувъ изъ кармана платокъ и отеревъ имъ потное лицо, онъ спросилъ, обратившись къ народу:

— Слышали, поди, господа общественники, про горе-то наше?

— Какъ не слышать, Миронъ Кузьмичъ, слышали! заговорили въ толпѣ, въ отвѣтъ ему.

— Добрая-то вѣсть не скоро доходить, а худую-то на полсловѣ вѣтеръ подхватываетъ да въ уши несетъ!..

— Учи, чего теперь дѣлать-то намъ! Неужь поступимся озеромъ-то?.. наперерывъ говорили въ толпѣ.

— За озеро намъ, общественники, надо грудью стоять, дѣло это вѣковое! отвѣтилъ Миронъ Кузьмичъ, глубоко вздохнувъ.— Не дай Господи сплѣсать намъ! Передъ Богомъ отвѣтъ за нашихъ дѣтокъ дадимъ, ежели пустимъ ихъ идти по міру за наши грѣхи... Поэтому самому былъ я у исправника, общественники, утруждалъ его милость разговоромъ, и теперича, по разговорамъ этимъ, касательно озера такъ обсудили, чтобы намъ при всякомъ случаѣ...

— Миронъ Кузьмичъ, прервалъ его Петръ Никитичъ, вставая со стула,—обществу-бы нужно прочесть прежде циркулярное предписаніе палаты и потомъ уже выяснитъ соображенія, какъ предполагаемъ мы отвѣтить на него...

— Извѣстное дѣло, надоть гумагу прежде читать, что написано въ ней про озеро!.. раздались голоса.—А то мы эхъ-то до ночи будемъ слова-то, што зерно безъ толку изъ мѣшка въ мѣшокъ, пересыпать...

— Читай гумагу, послушаемъ, чего пишуть! рѣшилъ сходить.

— Громко и отчетливо произнесъ каждое слово, прочитавъ

Петръ Никитичъ циркуляръ. Слушая его, народъ, казалось, затихъ дыханіе, и нѣсколько минутъ по окончаніи чтенія всё молчали.

— Што-то я въ толкъ не возьму! произнесъ, наконецъ, высокій, худой старикъ въ халатѣ изъ чернаго смурата сукна, стоящій въ переднемъ ряду. — Въ бумагѣ о Святомъ озерѣ ровно и помину нѣтъ? спросилъ онъ, пристально глядя на Петра Никитича.

— Не упоминается! отвѣтилъ, Петръ Никитичъ.—Въ этой бумагѣ требуютъ, чтобы волостное правленіе донесло, нѣтъ ли въ волости озеръ или рыбныхъ песковъ на рѣкахъ, не отданныхъ въ надѣлъ крестьянамъ, а принадлежащихъ казнѣ, которыя по зачисленіи ихъ въ оброчныя статьи могли бы сдаваться въ аренду, пояснилъ Петръ Никитичъ.

— А развѣ наше-то озеро казенное? прервали его.

— Казенное...

— Съ коихъ это поръ казна-то хозяиномъ ему стала? заговорили въ толпѣ.—Мы все думали въ простотѣ-то, что оно Божье, да наше...

— Всё земли, лѣса и другія угодыя, началъ пояснять Петръ Никитичъ,—хотя бы даже и отданные въ надѣлъ крестьянамъ, все-таки принадлежать казнѣ, какъ ея собственность, и казна сдаетъ эти земли вамъ въ оброкъ, почему вы и платите за пользованіе ими оброчную подать!.. Святое же озеро не отдано вамъ въ надѣлъ, и слѣдовательно, хозяинъ ему во всякомъ случаѣ казна, а не вы...

— Съ чего ты взялъ, што хозяинъ ему казна, а не мы?.. прервали его.—Што не отдано намъ, а?.. Пошто же это дѣды и отцы наши владѣли озеромъ? Казна не вступалась въ него, а теперъ вдругъ спохватилась...

— Постой!.. постой!.. прервали ихъ десятки голосовъ изъ толпы, въ которой сыпался крупный говоръ...—Ты говоришь, что озеро казенное!..

— Казенное!.. отвѣтилъ Петръ Никитичъ...

— А мы-то какіе такіе люди, казенные, аль вольные, а-а?..

— Государственные крестьяне...

— Стало быть, и мы казенные, и озеро казенное какъ бы одной матки дѣти, такъ што-ли?..

— Такъ...

— Пошто же это казна-то у своихъ дѣтокъ добро отнимаетъ, а?.. Статочное ли дѣло, штобы мать у своего ребенка грудь отнимала, оставила его голодомъ, да подпустила бы къ ней чужого, а?..

— Богъ, вѣдь, озерко-то рыбкой населилъ на обчую потребу...

— Не то вы все говорите, братцы!.. Тутъ надо всякое слово по формѣ выпускать!.. крикнуть старикъ въ смуромъ халатѣ, обращаясь къ толпѣ.—Постойте, дайте вымолвить-то! кричалъ онъ.—Ты говоришь, Петръ Никитичъ, что озеро не отдано намъ?..

— Нѣтъ!..

— Втолкуй же, пошто отцы и дѣды владѣли озеромъ, казна не вступалась, а теперь отбираетъ его у насъ?.. Стало быть, оно наше было?..

— Оно никогда не было вашимъ, а не отобрано до сихъ поръ у васъ озеро потому, что не знали о существованіи его...

— А теперича знаютъ?

— И теперь не знаютъ, почему и требуютъ, чтобъ донесли, нѣтъ ли въ волости озеръ, которые принадлежать казнѣ.

— А-а!.. Не знаютъ! Такъ и ты молчи, притаись...

— И то, Петръ Никитичъ! Прямое дѣло, слышь, языкъ-то за зубами держать...

— Пиши, что нѣтъ озера...

— Было-моль озеро, да пристращали въ оброкъ отдать, такъ спряталось... ходи тамъ по лѣсамъ-то да по болотамъ, аукай его, откликнется-ль!..

Въ толпѣ прокатился громкій взрывъ хохота, поощрившій выходку остряка.

— Нѣтъ, господа, умолчать объ озерѣ, довести, что нѣтъ его — нельзя! произнесъ Петръ Никитичъ, возвышая голосъ, чтобъ заглушить неумолкавшій говоръ и смѣхъ. — А вдругъ откроется, что въ волости есть озеро, принадлежитъ оно казнѣ, что вы испоконъ вѣку хозяйничаете на немъ, а мы умышленно умолчимъ, съ цѣлью подорвать интересъ казны. Тогда вѣдь, господа, не поздоровится ни мнѣ, ни волостному, ни земскому начальству. Тогда вѣдь и подъ судъ отдадутъ...

— Правду, братцы, Петръ Никитичъ говорить, правду! вступился старикъ Бахлыковъ. — Въ цѣлое-то бревно никто клина не вколачиваетъ, а все прежде надколетъ его; такъ и въ этомъ дѣлѣ, надоть прежде обсудить, да потомъ вершить. Вотъ ты скажи-ко намъ, Петръ Никитичъ, а вы, общественники, послушайте, обратился онъ къ толпѣ, — зря-то слова не мечите, не обивайте съ рѣчи... Коли ты напишешь, что у насъ есть озеро, казеннымъ считается, то чего же опосля того будетъ, чего казна-то съ нимъ дѣлать станетъ?

— Зачислить въ оброчную статью и будетъ отдавать съ торговъ въ аренду желающимъ взять его...

— За плату?..

— Конечно, не даромъ!

— А много ли она этой платы положить?.. заговорили въ толпѣ, прервавъ Бахлыкова.

— Вы слышали, что въ бумагѣ требуютъ подробно донести, какой доходъ даетъ озеро или рыбный песокъ. Слѣдовательно, мы должны донести, что вы вылавливаете въ озерѣ рыбы, ну, скажемъ, хоть на четыре тысячи въ годъ. Имѣя въ виду такой доходъ отъ озера, казна положить арендной платы за него тысячу рублей въ годъ, и на торгахъ оставить озеро за тѣмъ, кто больше дастъ.

— Кому же она отдавать его будетъ?

— Если вы пожелаете оставить его за собой, она вамъ и отдастъ его.

— За тысячу рублей?

— Ну, нѣ-ѣ-тъ, подороже; можетъ быть, и за двѣ, и за три тысячи, а то и всѣ четыре заплатите. Охотниковъ-то пользоваться озеромъ и кромѣ васъ много найдется. Значить, на торгахъ-то наколотятъ на него цѣну.

— О-о-о!.. Три аль четыре тысячи!.. Ну, это деньги!..

— Погни-ко горбъ-то добыть ихъ!..

— И въ морозъ потомъ обольешься!..

— Обольешься, братъ, а нуждой, што солнышкомъ, обсушишься...

— Петръ Никитичъ, послушай-ко!—кричалъ въ толпѣ молодой крестьянинъ, усиливаясь пробраться впередъ.— Скажи-ко намъ, если мы теперича всѣмъ обществомъ, сколько есть насъ, сколотимся съ казной-то на трехъ тысячахъ за озеро, тогда ужъ, стало быть, мы не будемъ платить ни подушной, ни оброчной подати, и ужъ никакой крестьянской тяготы не будемъ нести на горбахъ-то, а-а?...

— За что же такая милость настанетъ для васъ, а?.. съ ироніей спросилъ Петръ Никитичъ.

— Эва, а какъ же иначе-то, сердешный ты человекъ? — отвѣчалъ тотъ, продравшись, наконецъ, послѣ многихъ усилій, къ рѣшеткѣ. Лицо его было обито потомъ и всклооченная борода торчала почти стоймя. Мы вѣдь деньги-то, что выручаемъ за рыбку, въ казну же отдаемъ, мимо кармана то ея онѣ не минуютъ; а то бы гдѣ же намъ денегъ-то на податъ взять, кабы не озеро? На мой умъ, оно и выходитъ, коли палата озеро возьметъ у насъ и мы его купимъ у ней за три тысячи арендательскихъ денегъ, то ужъ, стало быть, податей съ насъ брать не будутъ, арендательскія деньги замѣсто податей и пойдутъ въ казну.

— Нѣтъ, это не все равно. Вы и тогда будете платить и подушную, и оброчную податъ, и аренду само по себѣ. Вѣдь ужъ я толковалъ вамъ, что озеро казенное. Если вы не возьмете его въ аренду, то возьметъ другой и отдастъ казнѣ деньги за него. Если возьмете вы, то аренду будете платить за то, что

будете пользоваться озеромъ, а подушную и оброчную подать по закону, какъ платите и теперь!..

— Ой-ой-ой!.. Это и за озеро плати, изъ котораго мы добываемъ теперь подать, да и подати своимъ чередомъ вноси. Да гдѣ жъ мы, братецъ, наберемся денегъ-то?... А то, можетъ, если озеро отберуть у насъ, такъ тогда не стануть и податей съ насъ брать, а?..

— Почему?

— Да вѣдь палата-то знаетъ-поди, что кромѣ какъ изъ озера намъ не откуда денегъ добывать...

— Еслибъ и знала, то все-таки она не можетъ освободить васъ отъ уплаты податей и повинностей.

— Такъ гдѣ жъ мы будемъ денегъ доставать, скажи ты намъ, научи!.. спросили уже десятки голосовъ...

— Гдѣ знаете; это ужъ ваше дѣло...

Послѣ отвѣта Петра Никитича, на мгновеніе все смолкло. Но вдругъ, точно отъ какого толчка, всѣ заговорили разомъ. Какъ всегда бываетъ въ многолюдной толпѣ, голоса слились въ общій нестройный хоръ, въ которомъ и чуткое ухо, при всемъ напряженіи, уловило бы только отдѣльныя, ничего не объясняющія, слова.

— Я и говорю, что намъ не надо плошать, общественники. Непусти насъ, Господи, нищими остаться! — говорилъ съ тоскою въ голосѣ Миронъ Кузьмичъ небольшой кучкѣ крестьянъ, преимущественно стариковъ, сгруппировавшихся у рѣшетки.—Вѣдь это что жъ, разсуждалъ онъ, разводя руками:— коли мы озера рѣшимся, такъ заживо въ гробъ ложись! Вотъ мы и думали думу,—я да Петръ Никитичъ, пошли ему Богъ здоровья за то, что радѣеть объ насъ... Оно бы и лучше не надо, чего мы надумали, да ты того, Петръ Никитичъ... я-то, признаться... ты бы самъ обсказалъ, обратился онъ къ нему, замѣвшись.

— Ти-и-ше! Помолчите, братцы, прислушайтесь! закричали въ переднихъ рядахъ, обращаясь къ толпѣ, гдѣ взволнованныя

страсти вызывали горячій говоръ. У всѣхъ были раскраснѣвшіяся и потныя отъ духоты лица; всѣ говорили, и трудно сказать, слушалъ ли ктонибудь, что говорилъ ему другой. „Тше... ти-и-ше!..“ понеслось и въ толпѣ. „Молчите ужь!.. Слушайте!.. Э-э-эхъ, воронь!.. Да помолчите, не каркайте!.. Чтобъ васъ!..“ раздались уже болѣе энергическія восклицанія, сопровождаемая бранью.

— Отстоять озеро, общественники, дѣло не трудное, — началъ Петръ Никитичъ. — Обсудите только все основательнѣе. Намъ нужно теперь сдѣлать такъ, чтобъ озеро попрежнему осталось за вами...

— Любо бы это; дай бы Господи!.. послушались въ отвѣтъ ему восклицанія.

— И мы отстоимъ его.

— Похвались-ко, какъ ты отстоишь-то его?.. спросилъ Бахлыковъ.

— Дѣло не мудрое!.. Палата не знаетъ, что въ волости есть озеро, а то бы давно отобрала его у васъ и зачислила въ оброчную статью. Поняли?..

— Зѣвка бы не дала; какъ не понять, поняли!..

— Вы составите общественный приговоръ, что озеро лежитъ среди болотъ и лѣсовъ, вдали отъ жилыхъ мѣстъ, что оно совершенно безрыбное, такъ сказать, бросовое; поняли?..

— Это какъ же такъ! Мы всей волостью отъ озера кормимся, а ты изъ него единымъ словомъ всю рыбку выловилъ?..

— Слушайте далѣе, не прерывайте...

— Ну, ну, послушаемъ, будь оно, по твоему, безъ рыбы!

— Мы скажемъ въ общественномъ приговорѣ, продолжалъ онъ, — что обращать озеро въ оброчную статью, въ виду его непригодности, палатѣ не предстоитъ надобности, такъ какъ едва ли найдутся желающіе взять его въ аренду. Поняли?..

— Какъ не понять, хошь и мудрено что-то...

— Мудренаго ничего нѣтъ; вы только подумайте хорошенько. Приговоръ мы представимъ въ палату, и палата, убѣ-

дивились изъ него, что озеро бездоходное, махнуть на него рукой, забудеть объ немъ, поняли?..

— Оно и го... какъ будто дѣло-то подходящее...

— Сдается, будто хорошее слово-то! заговорили въ толпѣ...

— А ежели палата сиюхватится пошупать, надумаетъ: правду ли написали, что въ озерѣ рыбы нѣтъ? спросили изъ толпы.

— Что жь, вы думаете, она чиновниковъ пошлетъ неводить на немъ, а? спросилъ Петръ Никитичъ.

— А-а-ахъ-ха-ха-а-а! разразилась толпа.— Ну, это, точно: наневодятъ!.. Ахъ, какъ ты любо утрафилъ словцомъ-то: наневодя-я-ять! Иной и самъ, замѣсто рыбы, въ неводъ угодить...

— Не ладно чего-то надумалъ ты, Петръ Никитичъ, — утрюмо отозвался старикъ Бахлыковъ; среди хохота и сыпавшихся въ толпѣ остротъ, вызванныхъ послѣднимъ замѣчаніемъ.— Какъ бы грѣха какого не вышло, смотри! Ты даве сказалъ, что написать, что у насъ нѣтъ озера—боязно, не ровня грѣхъ, откроется фальшь,—подъ судъ отдадутъ! А этакъ-то написать, какъ ты говоришь, еще опасливѣе; на мой умъ, тутъ ужь вѣзвѣ обмазъ...

— Обманъ, не скрываю... сказалъ Петръ Никитичъ.

— То и говорю!.. А ты подумать ли: вѣдь про наше-то озеро молва-то далеко идетъ. Всѣ знаютъ, что мы имъ живемъ, а ты напишець, что рыбы въ немъ нѣтъ; ладно ли это будетъ?..

— И напишемъ; а если уеумнятся, пошлютъ удостовѣриться, такъ развѣ у васъ языкъ-то не поворотится, ради своей козямы, сказать, что прежде-моль оно было рыбное, а нынѣ, хотъ и невода не мечи, оскудѣло!.. Вѣдь не полѣзаетъ же чиновникъ-то неводить, правду вы говорите или нѣтъ...

— Ужъ гдѣ полѣзаетъ, это точно! согласился съ нимъ Бахлыковъ, съ раздумьемъ почесавъ затылокъ.— А если бы безъ обману обойтись, по душевному бы, на-прямки бы сказать, что нѣтъ у насъ ни хлѣбопахотной земли, ни сѣнокосовъ и ника-



ких промысловъ, окромя лѣсного; что мы этимъ озеркомъ только и кормимся и подушную въ немъ добываемъ и безъ доимки вносимъ; а коли это озеро отнять, такъ и подать намъ негдѣ будетъ добывать, да и кормиться-то Христовымъ имемъ придется... Такъ пусшай начальство-то снизойдетъ къ нашей слезницѣ и подаритъ намъ озерко-то...

— Не имѣетъ оно права сдѣлать этого! рѣзко отвѣтилъ ему Петръ Никитичъ.

— Пошто?..

— Озеро казенное, а начальство не имѣетъ права дарить казенныя угодья, кому захочетъ, по своему произволу!..

— По бѣдности-то нашей?..

— Мало ли бѣдныхъ-то на свѣтѣ, не вы одни, такъ всѣмъ и раздаривай казенное добро?

— И то точка.

— Какъ ни повернись, все о что-нибудь запнешься; ну и статья-я! со вздохомъ произнесъ низенькій старичекъ съ живыми искрившимися глазами, придававшими лицу его добродушный видъ.—А ежели теперича мы, по твоему слову, отопремся отъ озера, скажемъ, что намъ его не надо, а палата провѣдаетъ про него да и запишетъ его въ оброкъ. Какъ же мы тогда будемъ, подумай-ко!

— Не бѣда, еслибъ его и въ оброкъ зачислили... Оно все-таки не минуетъ вашихъ рукъ...

— Не минуетъ? пронеслось въ толпѣ.

— Ни подь какимъ видомъ. Если озеро и обратятъ въ оброчную статью, то прежде торговъ предпишутъ намъ произвести публикацію по волости для вызова желающихъ ваять его въ аренду и явиться на торги. По закону-то, и самые торги произведутся въ нашемъ волостномъ правленіи; слѣдовательно, поцѣмъ васъ, никто не возьметъ его въ аренду...

— Это ты вѣрно знаешь, что все такъ будетъ?

— Законъ такъ гласитъ, а кто же осмѣлится обходить его?

— А-а!.. Ну это особь статья...

— Я одно скажу вамъ, общественники, продолжалъ Петръ Никитичъ, возвышая голосъ, — рѣшайте, какъ знаете, а я человѣкъ посторонній, и если даю вамъ совѣтъ, какъ лучше поступить, такъ единственно желая добра вамъ, потому что я ужь больше васъ знаю и законы, и порядки.

— Извѣстное дѣло! Ты всякой законъ жуешь, дай тебѣ Господи за твое радѣнье объ насъ! Мы вѣримъ, что ты намъ худа не скажешь. Слава тебѣ, Господи, одиннадцать годочковъ вмѣстѣ хлѣбъ-соль ѣдимъ, приглядѣлись! говорили наперерывъ въ толпѣ.

— Если сдѣлаете такъ, какъ я вамъ говорю, то худа вамъ не будетъ, продолжалъ онъ: — озеро не зачислять въ оброкъ, а оставлять его безъ вниманія, и тогда пользуйтесь имъ по старому; а для того, чтобъ его отдали въ надѣль вамъ, спустя нѣсколько мѣсяцевъ мы войдемъ о томъ съ ходатайствомъ по начальству, и озеро отдадутъ вамъ на вѣки вѣчные. Поняли?.. Одобряете-ли?..

Сходъ длился три дня... Много различныхъ предположеній составлялось крестьянами и отвергалось вслѣдствіе какихъ-нибудь неудобствъ. Общество разбилось на нѣсколько партій. Одни настаивали на томъ, чтобы положиться на милость начальства и, въ виду крайняго разоренія, если отберутъ озеро, немедленно хлопотать объ отдачѣ его въ надѣль. Вожакомъ этой партіи былъ старикъ Бахлыковъ, но немногіе держались его мнѣнія. Иные говорили, что лучше совсѣмъ молчать, что если ранѣе не знали о существованіи озера, то не узнаютъ и теперь. Большинство крестьянъ, въ томъ числѣ голова, волостные чины и другія вліятельныя въ волости лица, отстаивало предложеніе Петра Никитича и подъ конецъ склонило въ пользу его все общество. На третій день, около часу ночи, Петръ Никитичъ прочиталъ, наконецъ, обществу составленный имъ приговоръ слѣдующаго содержанія: „Мы нижепоименованные государственные крестьяне разныхъ сель и деревень X-ой волости, T-аго округа и губерніи, полноправные домохозяева, бывъ въ общемъ собраніи, обсуждали содержаніе предъявлен-

наго намъ циркулярнаго предписанія Т-ой казенной палаты отъ 12 октября сего 185... года за № 13,746, и постановили: составить сей общественный нашъ приговоръ въ томъ, что на землѣ, приписанной къ нашей волости, въ 65 верстахъ отъ населенныхъ нами мѣстъ, среди болотъ и лѣсовъ, имѣется невошедшее въ земельный надѣлъ нашъ озеро, называемое Святимъ. Такъ какъ вышереченное озеро безрыбно, то, по единогласному нашему мнѣнію, по зачисленіи такового въ казенную оброчную статью, по непригодности онаго ни къ какому пользованію, не найдется желающихъ взять его въ аренду. Въ томъ, что приговоръ сей учиненъ нами по добровольному и совокупному нашему соглашенію, подписуемся...“

Не успѣлъ еще крестьянинъ, подписывавшій за общество приговоръ, окончить работу, какъ общество постановило прибавить Петру Никитичу сто рублей жалованья и купить ему на общественный счетъ корову и лошадь. „Ты и умирай у насъ писаремъ! кричали ему крестьяне. — Буде и женишься когда, и дѣтками Богъ благословить тебя, мы и ихъ за твое добро не покинемъ, и ихъ обстроимъ, не пойдутъ уже по міру! Дай Богъ тебѣ вѣку за твое радѣнье объ насъ!“ — кричали ему сотни голосовъ.

Харитонъ Игнатьевичъ, со дня на день съ нетерпѣніемъ ожидавшій пріѣзда Петра Никитича, встрѣтилъ его небывалымъ угѣщеніемъ. На столѣ, покрытомъ чистою скатертью, стояла бутылка мадеры, тарелка съ пряниками, на другой тарелкѣ были наръзаны тоненькими ломтиками балыкъ, походившій скорѣе на кирпичъ, и паюсная икра съ подозрительными зелененькими жилками по краямъ. Пирогъ изъ свѣже-просольнаго максуна завершалъ закуску. Даже, какъ будто, и комната въ ожиданіи его была прибрана почище. Широкая перина, покрытая одѣяломъ, сшитымъ изъ ситцевыхъ доскутковъ, гордо высилась на двухспальной кровати. Сундуки были покрыты

ковриками, чистые холщевые половники скрывали косою, расщелившийся полъ. Бесѣда давно уже длилась между ними, не касаясь интересующаго ихъ дѣла. Базалось, ни тому, ни другому не хотѣлось поднять щекотливаго вопроса, хотя наблюдательный Харитонъ Игнатьевичъ, по первому взгляду на веселую наружность гостя, понялъ, что дѣло кончилось успѣшно. „Испей мадерцы-то, что-жь ты! поминутно приглашалъ онъ.—Я ждалъ тебя, готовилъ угощеніе, а ты и не касаешься ни къ чему?..“

— А очень поджидалъ ты меня?.. съ ироніей спросилъ Петръ Никитичъ.

— Не то, чтобы очень, ну, а все жѣ поглядывалъ въ окна-то, не ѣдешь ли... Не потаю правды: за тебя-то я шибко радуюсь, ужъ хоть бы Богъ-то оглянулся на тебя да пригрѣлъ бы... Облупилъ ли скорлупку-то съ ядрышка, какъ похвалялся?.. спросилъ наконецъ онъ.

— Облупилъ...

— Хе-хе-хе... Ну, и давай тебѣ Господи!.. Такой характеръ теперича у меня, Петръ Никитичъ, что я завсякаго радъ!.. Вижу я, что человѣку Богъ счастья даетъ, фартунить ему—я и радъ!.. Нѣтъ у меня этой зависти, какъ у другихъ, жадности этой, чтобы все только мнѣ одному въ карманъ шло, а другому бы ничего... Нѣтъ! И всякому я готовъ помочь, ей-Богу! Да кому говорить, и ты это знаешь... Помнишь, какъ нищую-то долю ты несъ?..

— Ну, что было, то прошло, Харитонъ Игнатьевичъ. Чего старое перетрахивать... оно ужъ не вернется болѣе!.. съ неудовольствіемъ прервалъ его Петръ Никитичъ.

— Не въ укоръ это я говорю тебѣ, не въ укоръ. Избави Господи... Бѣдность не порожь, и тыкать ей въ глаза человѣку грѣхъ. Я къ тому это говорю, что много горя ты потерпѣлъ: и перекусить-то тебѣ было нечего, и головы-то было негдѣ преклонить, и на плечи-то нечего было вздернуть! съ грустью качая головой, перечислялъ Харитонъ Игнатьевичъ претерпѣнныя Петромъ Никитичемъ невзгоды.—Видалъ ли ты тогда отъ

людей, чтобъ они по братски-то были съ тобой, участіемъ да лаской обогрѣли бы тебя, а-а?..

— Не видалъ!..

— Не видалъ—вѣрно!.. повторилъ Харитонъ Игнатьевичъ.— Всѣ сторонились отъ тебя, какъ отъ чумнаго. А погляди, ежели усчастливить тебя Богъ, богатъ-то будешь, такъ отколѣ и наберется друзей и пріятелей: отбою не будетъ.

— Ужъ это какъ водится, старая истина.

— И завсегда будетъ новая по вся дни на свѣтѣ! А я вотъ не таковъ, я не въ другихъ. Сердце-то, говорю, у меня, Петръ Никитичъ, доброжелательное. Да выпей ты мадерцы-то, вѣдь для тебя я расходовался; балычка-то отвѣдай, аль икорочки вкусныя!—При послѣднихъ словахъ онъ налилъ ему въ рюмку вина и задумался.—Въ старину не такіе люди были, Петръ Никитичъ! грустно качая головой, произнесъ онъ.

— Хуже или лучше? спросилъ тотъ, слегка прихлѣбывая изъ рюмки.

— Лучше, не въ примѣръ лучше!.. Хуже-то нонѣшнихъ едва ли братъ, и народятся когда; нонѣ ровно и не люди, а звѣри будто хищные!..

— За что ты вдругъ людей-то не влюбилъ... съ чего это?..—съ ироніей спросилъ Петръ Никитичъ.

— Не стоятъ они любви и радѣнія объ нихъ, не стоятъ!.. Поживи съ мое на свѣтѣ, и узнаешь. О-о-охъ, наболитъ на душѣ-то, насаднѣтъ!.. произнесъ Харитонъ Игнатьевичъ, приложивъ руку къ груди, какъ бы для облегченія саднѣющей боли въ ней.

— Люди, какъ люди, Харитонъ Игнатьевичъ; все одно: какіе они прежде были, такіе и теперь. Нынче только поумнѣе будто стали, отвѣтилъ Петръ Никитичъ.

— Плутоватье, а не умнѣе, поправилъ его Харитонъ Игнатьевичъ:—нынѣ всякій только и нарываетъ, какъ бы круглѣе обвести самого перваго друга и пріятеля, да запутать бы его, да кусокъ бы у него изъ горла урвать! Нонѣшняго человѣка

ты какъ звѣря лютаго стерегись. А прежде все было проще, любовнѣй... Дружба межъ людьми была, другъ за друга душу клали; ну, это люди были стоящіе званія!..

— Правда ли это, Харитонъ Игнатьевичъ, не преувеличиваешь ли ты? улыбаясь, спросилъ Петръ Никитичъ.

— Съ чего мнѣ врать... Сущую правду говорю тебѣ, а нонѣ, и Харитонъ Игнатьевичъ, не докончивъ, махнулъ рукой и, грустно склонивъ голову на правую ладонь, задумался.

Съ минуту въ комнатѣ царила невозмутимая тишина, прерываемая время отъ времени трескомъ салныхъ, оплывающихъ свѣтъ да доносившимся изъ кухни плачемъ и возней дѣтей, которыхъ Дарья Артамоновна укладывала спать.

— Стало быть, ужъ ты совсѣмъ покончилъ дѣло-то съ озеромъ? томнымъ, какъ будто болѣзненнымъ голосомъ спросилъ Харитонъ Игнатьевичъ, повидимому, вовсе не интересуясь этимъ дѣломъ, а только желая поддержать прерванный разговоръ.

— Окончилъ...

— Какъ же ты это обломалъ-то его?

— Читай и увидишь, отвѣтилъ Петръ Никитичъ, вынувъ изъ портфеля, не менѣ ветхаго, какъ и бывшій на немъ нанковый сюртукъ, общественный приговоръ.

Харитонъ Игнатьевичъ внимательно, но тоже, повидимому, безучастно осмотрѣлъ приложенныя къ приговору печати водостныхъ начальниковъ, номеръ, какимъ былъ помѣченъ приговоръ, прочиталъ про себя и самый приговоръ и рапортъ, при которомъ онъ представлялся въ казенную палату, и молча подаль его Петру Никитичу.

— Чего жъ теперь далѣе-то будетъ? спросилъ онъ.

— Завтра сдамъ его въ палату, и если кто хочетъ взять озеро, то нужно только подать въ палату прошеніе и ему безпрекословно отдадутъ его въ пользованіе, — отвѣтилъ Петръ Никитичъ.

— Ну, давай Богъ!.. Шибко я радъ за тебя... все жъ хотъ

кусокъ ты будешь имѣть по гробъ жизни. Не докуда тебѣ мыкаться безъ приюта на свѣтѣ, пора и своимъ домкомъ пожить, по-людски, отдохнуть отъ нужды да горести, произнесъ Харитонъ Игнатьевичъ, снимая пальцами нагаръ со свѣчь.

— А за себя-то что жъ ты не радуешься: вѣдь, кажется, озеро-то общій нашъ кусокъ, а?.. Што жъ ты себя-то выдѣляешь? спросилъ Петръ Никитичъ, прищурившись и пристально глядя на него.

— Нѣ-ѣ-ѣтъ... меня уволь, разслабленнымъ голосомъ отвѣтилъ онъ.—Я передумалъ, и касательства не хочу къ озеру имѣть.

— А-а... неужели? какимъ-то неопредѣленнымъ тономъ спросилъ Петръ Никитичъ.

— Лѣта, другъ, ушли, тѣмъ же голосомъ отвѣтилъ Харитонъ Игнатьевичъ.—Гдѣ ужъ мнѣ такими дѣлами орудовать... да и то опять скажу тебѣ: у меня, слава тебѣ Господи, есть хлѣбъ, не голодую; за что я буду у тебя половину дохода отнимать, въ два-то горла хватать?.. Владѣй ужъ ты имъ одинъ... поправляйся!..

— Спасибо тебѣ, Харитонъ Игнатьевичъ, что ты облегчилъ мою совѣсть! громкимъ, радостнымъ голосомъ прервалъ его Петръ Никитичъ, вскочивъ съ сундука. — А я, признаться, ѣхалъ къ тебѣ... и не зналъ какъ приступить... какъ сказать тебѣ...

— Про что это? спросилъ онъ, не глядя на него, хотя по движенію головы было замѣтно, что его, какъ будто, что-то кольнуло.

— Совѣсть мучила меня, продолжалъ Петръ Никитичъ, быстро ходя по комнатѣ:—ну, думалъ, выгонить меня Харитонъ Игнатьевичъ и наругается до-сыта. И стояло бы, стояло, не похвалю себя.

За что мнѣ тебя бранить? Живемъ любовно, пакостей другъ другу не дѣлали, одолжались еще.

— Я вѣдь порѣшилъ съ озеромъ-то,—продаль его Балмы-

кову, знаешь ли ты это? спросилъ Петръ Никитичъ, остано- вившись противъ него.

— Ка-а-акъ?.. протянулъ Харитонъ Игнатьевичъ, мѣняясь въ лицѣ.

— Нынѣ прѣхалъ онъ въ волость къ намъ, продолжалъ Петръ Никитичъ, будто не замѣчая переменъ въ лицѣ и го- лосѣ своего собесѣдника, — затѣмъ, чтобы скупать, по обыкно- венію, у крестьянъ рыбу и посуду; зазвалъ меня къ себѣ... подпоилъ меня, братецъ, бутылки двѣ мадеры мы высидѣли съ нимъ въ вечеръ-то, разговорились о томъ, да о семь... Чортъ меня и дерни разболтать ему про озеро-то... А паренъ вѣдь онъ, самъ знаешь, разбитной, на всѣ руки, и присталъ ко мнѣ: отдай, да отдай ему озеро... а то, говорить, открою му- жикамъ весь твой умыселъ... На пятнадцать тысячахъ и сла- дились.

— Сла-а-адились?.. повторилъ глухимъ голосомъ Харитонъ Игнатьевичъ.

— Задатокъ ужъ взять!.. На другой день я только опом- нился... а-а-ахъ, да о-о-охъ... да ужъ чего... сдѣлано — не воротилъ!.. Просто, не зналъ, какъ къ тебѣ глаза показать... И такъ ты теперь облегчилъ мнѣ душу своимъ отказомъ отъ озера, что не знаю—какое и спасибо тебѣ говорить... Ъхаль- то я къ тебѣ...

— Напрасно ѣхаль-то, за одно бы ужъ и воротилъ мимо... весь блѣдный, дрожащимъ голосомъ прервалъ его Харитонъ Игнатьевичъ.

— Все же, сказать нужно было тебѣ...

— Какими же мнѣ теперича глазами глядѣть на тебя, скажи ты мнѣ, а-а?.. сжимая кулаки спросилъ онъ.

— Ругай, ругай какъ знаешь, кругомъ виноватъ предъ тобой...

— Ругай!.. Да развѣ слово-то прильнетъ къ тебѣ?

— Ну, плюнь мнѣ въ глаза; все же мнѣ легче будетъ глядѣть на тебя...



— Оботрешься... да такой же станешь! дрожащимъ голо-  
сомъ окровавъ зубы процѣдилъ Харитонъ Игнатьевичъ. — Вишь,  
какая совѣсть-то у тебя, а-а? захлебываясь заговорилъ онъ,  
не скрывая болѣе своего волненія. — Меня-я... человѣка, что  
тебя ницгаго призравалъ, поелъ... кормилъ... ты смѣялъ на  
перваго попавшагоси тебѣ на глаза, а-а-а!..

— Съ пьяна поддѣлъ онъ меня, Харитонъ Игнатьевичъ,  
какошь, съ пьяна!.. жалобнымъ голосомъ и съ сокрушеннымъ  
видомъ оправдывался Петръ Никитичъ.

— Что ты теперича сдѣлалъ со мной, а?.. Вѣдь я, въ  
надежѣ на озеро-то, пооряда лишился, что тыщи бы даль  
миѣ... вскочивъ въ свою очередь съ сундука, говорилъ онъ. —  
Вѣдь я залогил, что внесь, обратно ваялъ... подлая душа твоя...  
знаешь ли ты это?..

— Неужели!.. А-ахъ, Боже мой, Боже мой! повидимому  
съ ужасомъ произнесъ Петръ Никитичъ. — Прости ты меня,  
Бога ради. Вотъ что я надѣлалъ съ тобой за твою-то хлѣбъ-  
соль... А все вино... все это оно, проклятое!..

— Ну, что я теперь дѣлать буду?! всклонивъ руками  
произнесъ Харитонъ Игнатьевичъ. — И ты, подлый, еще въ  
домъ ко миѣ... глаза казать прѣхалъ... со слезами въ голосѣ  
уже говорилъ онъ, — итуть еще, ужъ зазнамо обокравши меня...  
хлѣбъ мой ѣлъ, вино мое пилъ...

— Отплатчу, Богъ дастъ...

— Отплатишь!.. Знаю теперь твою-то расплату!.. Ну  
помни же Петръ Никитичъ, продолжалъ онъ, съ азартомъ стуча  
кулакомъ по столу, — буду и я тебѣ другъ... помни ты это...  
Я тебѣ это озеро поперекъ горла поставлю... ужъ коли не миѣ...  
такъ и никому оно не достанется.. Помни!..

— Но вѣдь тебѣ же не нужно озера, ты самъ сказалъ!..

— Когда я говорилъ тебѣ это?.. Развѣ ужъ не рѣшено  
было межъ нами, что озеро будетъ общее наше, а?..

— Сейчасъ говорилъ ты миѣ!.. Припомни свои слова, не  
волнуйся!.. Минуты не прошло еще, какъ ты сказалъ миѣ,

что и дѣла тебѣ не дозволяютъ этимъ дѣломъ орудовать... и что тебѣ не хочется меня обижать — брать половину дохода себя!.. чтобъ я владѣлъ озеромъ одинъ, а тебя уволилъ... что ты и касаться къ нему не хочешь!..

— А... а... если... я, можетъ быть... того... пыталъ твою душу, говоря эти слова... заикаясь отвѣтилъ онъ.

— Милый другъ, ты и не сердись на меня, переменная тонъ на суровыя ноты, заговорилъ Петръ Никитичъ:—я, когда продавалъ озеро Калмыкову, то такъ и думалъ, что ты согласишься взять озеро за себя ради шутки, просто только испытывая меня. Вишь, вѣдь, ты какое чадо: у тебя на дню семь пятницъ, ты сейчасъ скажешь слово, да тутъ же и отопрешься. Могъ ли я надѣяться, несуди, что когда ужъ все дѣло будетъ обдѣлано, ты снова не откажешься отъ озера? Оно такъ и вышло!.. Вотъ почему, когда подвернулся подходящій покупатель, я и согрѣшилъ предъ тобой—продалъ его... прости!..

— Разорилъ ты меня... разорилъ... Помни ты это! опустившись въ изнеможеніи на сундукъ, хриплымъ голосомъ отвѣтилъ Харитонъ Игнатьевичъ...

— Чѣмъ я тебѣ разорилъ?.. Развѣ деньги ты далъ мнѣ, а??.. Ты и векселя не хотѣлъ давать, вспомни-ко хорошенько!..

— Я-бъ тѣ наличными выдалъ.

— Такъ бы и говорилъ тогда, когда я предлагалъ тебѣ озеро; а ты тогда только безъ пути ломался надо мной. Шутки шутилъ, да ругалъ меня... а?..

— Ладно; коли ты со мной такъ поступилъ, такъ и я тебѣ, другъ буду, услужу... не увидитъ твой Калмыковъ озеро!.. снова вскочивъ съ сундука, крикнулъ Харитонъ Игнатьевичъ.

— Почему не увидитъ?.. Вѣдь ты читалъ приговоръ... Теперь ужъ все кончено, теперь ужъ озеро въ моихъ рукахъ.

— Завтра же въ волость поѣду... и всѣ твои умыслы мужикамъ раскрою горячился Харитонъ Игнатьевичъ, то садясь на сундукъ, то снова вскакивая съ него и поминутно поправляя поясокъ на рубахѣ, который, казалось, стѣснялъ его...

— О-о-о!.. Поѣзжай, голубчикъ, и говори, что хочешь... Тебя вѣдь знаютъ тамъ! Спроси-ко прежде, кто еще твоимъ словамъ вѣру дастъ, а?...

— Мы и повыше пойдёмъ... ушито и у начальства есть.

— Иди!.. Я не больно боюсь, не изъ трусливыхъ! Только кто про кого болѣе повѣдаетъ начальству, посмотримъ!.. А я тебѣ вотъ что скажу, Харитонъ Игнатьевичъ; отрывисто и блѣднѣя продолжалъ Петръ Никитичъ: — ты со мной такъ не разговаривай, я не люблю... Ты, братъ, помни, что коли дѣло на ссору пойдетъ, то мнѣ стоитъ только сказать кой-кому два-три словца, и ты затапчешься на арканѣ. Слышалъ?..

— Ты... ты... ты... что жь это взвѣлся-то на меня? Развѣ... я... я... обидѣлъ тебя чѣмъ? — заикаясь и блѣднѣя произнесъ Харитонъ Игнатьевичъ... Я... я... кажись, любовно съ тобой...

— Если любовно жить хочешь со мной, такъ и дѣлай любовно, а обидныхъ намековъ да шутокъ не выкидывай! Я вѣдь ужъ не ребенокъ... школь-то много прошелъ; а ты еще не ученъ, помни это! Если ты мнѣ когда-то кусокъ хлѣба бросалъ, какъ собакѣ, такъ ужъ я тебѣ втрое за него заплатилъ, и мы квиты... Слышалъ?...

— Я... я... я... я, вотъ тѣ Христось!... Да ты выней мадерцы-го, полно... полно тебѣ. Съ чего ты взвѣлся? Да я... первый другъ... Неужь ты не знашь меня?

— Знаю!

— Слава тебѣ, Господи, какіе дѣла-то обоюднѣо вершили съ тобой, вспомни! Намъ ли ссориться, да выней ты, ну... ну... Экой какой вѣдь ты, кипятокъ: я съ тобой въ шутку, а ты все въ щеть да въ щеть.

— Пиши сейчасъ вексель на пятнадцать тысячъ!

— Писать?.. А Калмыковъ-то какъ же?

— Пиши, если говорятъ тебѣ! Если ты со мной шутилъ, такъ и я съ тобой пошутилъ! сердито отвѣтилъ Петръ Никитичъ, подавая ему заранѣе приготовленный имъ вексельный листъ.

— Хе-хе-хе-е!.. Такъ вотъ она что, ты пошутилъ! А я-то было испугался. Ахъ ты Боже мой, даже ровню душу-то захолонуло! Ну... ну давай, напишимъ! А не то, можетъ, завтра бы утречкомъ написали-и, а? Теперь бы поговорили на мировой-то, а? Да выпей ты. Ну, подѣлуемся не то.

— Для чего же цѣловаться-то?

— Ну... ну, уважь, я вотъ хочу закрѣпиться съ тобой!

— Умойся, поди, прежде, а то посмотри на лицо-то, точно его кто въ маслѣ поджаривалъ насмѣшливо отвѣтилъ Петръ Никитичъ.

— Вотъ ужъ ты и грубишь! Позволь тебѣ только на ноготь наступить, такъ ужъ ты всю ступню отдавишь, сейчасъ зазнаешься! обидчиво отозвался Харитонъ Игнатьевичъ, отирая лицо полотенцемъ.—На себя-то бы прежде оглянулся, хорошъ ли! Дай-ко вотъ тебѣ капиталъ-то, хе хе-е... носъ задерешь превыше Ивана Великаго.

— Оба хороши будемъ, нечего сказать! Пиши же вексель, настойчиво повторилъ Петръ Никитичъ.

— Што такъ приспѣло тебѣ? Не убѣжить! Я вотъ еще подумаю, писать ли, кабы еще какого обману не вышло...

— Харитонъ Игнатьевичъ, я не шута говорю тебѣ: брось ломаться! Слышишь? крикнуть, выходя изъ себя и поднимаясь съ сундука Петръ Никитичъ.—Не доводи меня до грѣха.

— О-о-о!.. Ну, а что ты сдѣлалъ мнѣ, что ты стращаешь то меня?

— Даешь вексель или нѣтъ?

— Хе-хе... а ты вотъ испей мадерцы-то, побалуи меня, старика. Вѣдь я тебѣ въ отцы гожусь по лѣтамъ-то,—ты бы это вспомнилъ, Петръ Никитичъ. Мнѣ ужъ, коли чего я не по ндраву сдѣлаю, и простить бы можно. Ну, ну ужъ коли ты неотвязный такой—изволь, напишу. Гдѣ у насъ чернильница-то? Перо-то еще есть ли?—говорилъ онъ, вставая и намѣреваясь выйти изъ комнаты.

— Сиди, не хлопочи, у меня все есть, отвѣтилъ Петръ Никитичъ, вынимая изъ портфеля глухую дорожную черниль-

ницу и гусиное перо, вложенное въ пакетъ, въ которомъ лежалъ приговоръ.

— Занесливый же ты, хе... хе... отвѣтилъ Харитонъ Игнатьевичъ, надѣвая круглые очки въ толстой серебряной оправѣ.

Писаніе векселя подъ диктовку Петра Никитича шло очень долго. Харитонъ Игнатьевичъ поминутно облизывалъ перо губами; выводилъ буквы, поводя и языкомъ по направленію пера, кряхтѣлъ и вздыхалъ, точно несъ на плечахъ тяжесть, превышавшую его силы. Лобъ и щеки его лоснились отъ пота. Наконецъ, окончивъ писать, онъ вздохнулъ и, поплевавъ на пальцы, потеръ руку объ руку.

— Теперь все по формѣ? спросилъ онъ, когда Петръ Никитичъ, прочитавъ вексель, бережно сложилъ его и опустилъ въ карманъ.

— Все по формѣ, отвѣтилъ Петръ Никитичъ. — Только завтра утромъ сходимъ засвидѣтельствовать его къ маклеру...

— Ну, и слава Богу, что онъ управилъ насъ!.. Теперь ужъ, стало быть, мы неразрывны съ тобой?.. спросилъ онъ.

— Не отцѣпишься, еслибъ и захотѣлъ! съ ироніей отвѣтилъ Петръ Никитичъ.

— И отцѣпляться надобности не вижу... Ну, вынемъ же для пѣчины дѣла... Давай намъ Богъ жить безъ грѣха... любовно... да добра наживать... торжественно произнесъ Харитонъ Игнатьевичъ.

Они крѣпко обнялись и поцѣловались, завершая дѣло. Харитонъ Игнатьевичъ позвалъ и Дарью Артамонову, одѣтую ради пріѣзда гостя въ шелковый шугай, и заставилъ ее тоже поцѣловаться съ Петромъ Никитичемъ. Заздравная рюмка обошла ихъ поочередно... За ужиномъ развеселившійся Петръ Никитичъ рассказалъ собесѣдникамъ о продолжкѣ своей съ крестьянами. Харитонъ Игнатьевичъ хохоталъ, слушая его, и время отъ времени острилъ, но подъ конецъ задумался.

— Проворный же ты, ай-ай! произнесъ онъ покачавъ головою. — Неужь въ Расей-то у вась всё такіе?

— Есть и почище, самодовольно улыбаясь, отвѣтилъ Петръ Никитичъ: — есть такіе тузы, что милліоны мимоходомъ проглатываютъ и не даются...

— И сходить съ рукъ?...

— Сходить!.. Мелюзга-то попадаетея подчасъ, а кто по-крупнѣй, такъ не бывало еще пригѣра.

— Ну, и кра-а-й! удивленно произнесъ Харитонъ Игнатьевичъ. — Вотъ бы гдѣ пожить, ума-то бы понабраться!.. А впрочемъ, нечего скучать, съ раздумьемъ продолжала онъ: — теперь и сибирскую-то пашенку такъ уназмили привознымъ-то изъ Расей добромъ, что урожай-то со сторицей пошелъ!.. Скоро, поди, отборную-то фрухту ужь изъ Сибири въ Расею повезуть... А все, братъ, скажу, хошь бы однимъ глазкомъ посмотреть, какъ это у вась тамъ милліоны-то глатаютъ!..

На другой день, часовъ въ десять утра, по узенькой лѣстницѣ двух-этажнаго деревяннаго зданія, стоявшаго около базарной площади, въ верхнемъ этажѣ котораго помѣщалась контора маклера, поднимались Петръ Никитичъ и Харитонъ Игнатьевичъ, надѣвшій на себя на этотъ разъ лисью шубу и высокую бобровую шапку, отчего вся наружность его представляла сидишней мѣхъ, разнообразный только по цвѣту и густотѣ шерсти. Раздѣвшись въ смрадной передней, они вошли въ контору... Помолвившись на икону, висѣвшую въ переднемъ углу, Харитонъ Игнатьевичъ подошелъ къ маклеру, сидѣвшему у стола за грудой бумагъ и книгъ и не обратившему даже вниманія на вошедшихъ.

— Векселькъ бы мнѣ требовалось, Матвѣй Степановичъ, за свидѣтельствовавъ; за большое бы это одолженіе счелъ, обратился къ маклеру Харитонъ Игнатьевичъ, подавая вексель.

Маклеръ молча взялъ изъ рукъ его вексель и, внимательно прочитавъ его, осмотрѣлъ къ свѣту.

— Ого-го-о! Пятнадцать тысячъ! съ удивленіемъ произнесъ онъ, посмотрѣвъ на Харитона Игнатьевича. — Ты на что же такую страсть денегъ занимаешь? болѣе мягкимъ и даже радужнымъ голосомъ спросилъ онъ, окинувъ въ то же время своимъ насупленнымъ взглядомъ Петра Никитича стоявшаго у порога, всторонѣ отъ нихъ.

— По дѣлу понадобилось: новое дѣло завожу, Матвѣй Степановичъ! отвѣтилъ Харитонъ Игнатьевичъ.

— Какое?..

— Ругаться будете, коли сказать-то вамъ... Да оно, пожалуй, и слѣдуетъ обругать меня... Ну, да ужъ коли фундаментъ заложилъ, такъ вѣней-неволей, а домъ выводи, говорилъ, онъ разводя руками. — Божевенный заводъ сооружаю, слышали ли?..

— А-а... что жъ, это дѣло хорошее выгодное; только смотри, пойдетъ ли?.. предупредилъ маклеръ.

— Въ этомъ-то и задача вся! Про себя-то полагаю, что надо бы пойти ему, задумчиво говорилъ Харитонъ Игнатьевичъ, — а за все прочее ни кто, какъ Богъ!..

— Хорошее дѣло... похвально... Пора тебѣ за умъ ваяться, не до куда хламьемъ торговать. Человѣкъ вы оборотистый... напередъ скажу: маху не дадите... Поздравляю... радъ... радъ... и маклеръ, протянувъ ему руку, дружески пожалъ широкую съ коротенькими сучковатыми пальцами длань Харитона Игнатьевича. Въ мѣщанахъ ужъ не останетесь... гильдію внесете?.. спросилъ онъ.

— Ужъ какъ ни пойдетъ дѣло, а гильдіи не минуешь...

— Виднѣй... виднѣй будетъ... почему будетъ болѣе, — убѣдительно говорилъ маклеръ, то хмуря, то приподнимая свои густыя брови. — Очень радъ за васъ, давай вамъ Богъ... можетъ быть еще и послужимъ вмѣстѣ, кто знаетъ, заключилъ

онъ.—Только... только... произнесъ онъ, искоса осмотрѣвъ Петра Никитича—Вѣдь это, кажется, тотъ самый Волдыревъ, что писаремъ въ Х-ой волости? въ подгелеса спросилъ онъ.—Поселенецъ, что нѣсколько лѣтъ тому назадъ шлялся по городу въ опоркахъ и рвани... съ поздравительными стихами по купцамъ ходилъ, а-а?

— Онъ самый, улыбаясь и такъ же тихо отвѣтилъ ему Харитонъ Игнатьевичъ.

— Неужели онъ за нѣсколько лѣтъ службы въ писаряхъ нажилъ такое состояніе? удивленно спросилъ маклеръ.—Пятнадцать тысячъ подъ вексель дать... это вѣдь... ой-ой!..

— Хе-хе-хе! Делайте-съ! Гдѣ ему до этакихъ денегъ дожить; у него, чай, и пятиалтынного-то въ карманѣ нѣтъ! уснокомилъ его Харитонъ Игнатьевичъ.—Онъ вѣдь подставное лицо, шенуулъ онъ на ухо.—Только вексель-то на его имя, во избѣжаніе огласки...

— Подставное-е-е... отъ кого?.. удивленно спросилъ маклеръ..

— Отца Пимена знаете? Б-го благочиннаго...

— Знаю, какъ не знать....

— Я у него деньги-то занялъ!.. Вексель-то онъ на свое имя бонится дѣлать: онасается, чтобы по духовенству не разнеслось, до архіерея бы не дошло... А этотъ-то гусь—кумъ ему будетъ. Счеты межъ ними какіе-то да дѣла ведутся... Богъ ихъ разберетъ! Въ большой они пріявни живутъ. Ну, для отвода, онъ и ведѣль сдѣлать вексель-то на его имя...

— А-а, вотъ что-о!.. Ну, теперь понятно, отвѣтилъ маклеръ.—Пимень-то богатый человѣкъ, знаю.

— Богатый, первѣющій по округѣ.

— Богатый, богатый человѣкъ, подтвердилъ маклеръ.—Такъ вотъ оно что-о... Архіерея бонится... ха-ха-ха!.. Да, строгонекъ онъ у нихъ, поблажки не даетъ! Ну, теперь понятно, а то ужъ я подумалъ: откуда у Волдырева такіа деньги взялись? Какъ, такъ вдругъ разбогатѣлъ, что по пятнадцати



тысячь подь вексель дасть... Оно точно, волость богатѣйшая... но все же... Ну, а Имень-то и тридцать отсыплет да не почешется, бага-а-ать!..

Процедура засвидѣтельствованія векселя и внесенія его въ маклерскую книгу продолжалась не болѣе часу. Маклеръ, холодно встрѣтившій Харитона Игнатьевича, теперь не только проводилъ его до дверей, но даже самъ отворилъ ему дверь и, почтительно пожимая руку его, пригласилъ его къ себѣ въ гости въ ближайшій праздникъ. Отъ маклера пріятель отправился въ казенную палату, и Петръ Никитичъ, въ присутствіи Харитона Игнатьевича, возже слѣдывшаго за нимъ, сдалъ пакетъ съ рапортомъ и общественнымъ приговоромъ дежурному чиновнику, подъ росписку его въ разносной книгѣ волости. Когда они вышли изъ палаты, Харитонъ Игнатьевичъ, снявъ шапку, набожно перекрестился.

— Надоть бы, Петръ Никитичъ, для почину дѣла молебень отслужить, ссазалъ онъ.

— Служи... я не прочь, отвѣтилъ Веддыревъ.

— Пойдемъ-ко! Мы Бога не забудемъ, такъ и онъ възыщеть насъ своею милостью, произнесъ съ умиленіемъ Харитонъ Игнатьевичъ.

Обѣдня окончилась, и священникъ вышелъ изъ собора, стоявшаго противъ зданія присутственныхъ мѣстъ, когда на панирть вошли Харитонъ Игнатьевичъ и Петръ Никитичъ. Остановивъ священника Харитонъ Игнатьевичъ попросилъ его отслужить молебень. „Съ Божьей бы помощью надоть дѣльце соорудить... ваше благочыніе“, отвѣтилъ онъ на вопросъ священника, по какому поводу онъ служить молебень. Все время молебна Харитонъ Игнатьевичъ стоялъ на колѣняхъ, осѣняя голову и грудь широкими крестами и кладя земные поклоны. „Ровно оно легче на душѣ-то, свободнѣй стало!“ сказалъ онъ Петру Никитичу, выходя изъ сбора и одѣлая нищихъ грошами и копейками изъ длиннаго кожаннаго кошелька.

Черезъ нѣсколько дней, раннимъ утромъ, Харитонъ Игнатье-

вичъ подошелъ къ воротамъ нищенскаго деревяннаго дома, стоявшаго въ пустынной улицѣ одного изъ предмѣстій города, называвшагося „Солдатской слободкой“. Рядомъ съ домомъ, на обширномъ пустырь обнесенномъ плетнемъ, высился недостроенный деревянный домъ на каменномъ фундаментѣ. Широкія окна дома, еще безъ рамъ, были завѣшаны рогожами; на крышѣ высидишь одни стропила. Груды накатанныхъ бревенъ и квадратами сложенный кирпичъ загромождали почти всю улицу. Низенькій, покосившійся домикъ и строившійся домъ-щеголь принадлежали начальнику хозяйственнаго отдѣленія казенной палаты, Андрею Аристарховичу Второву. Войдя во дворъ, Харитонъ Игнатьевичъ прошелъ сначала въ людскую, и, черезъ нѣсколько минутъ, чистенько одѣтая горничная ввела его въ кабинетъ Андрея Аристарховича. Присѣвъ на плетеный стулъ, Харитонъ Игнатьевичъ съ любопытствомъ осмотрѣлъ письменный столъ, заваленный бумагами и уставленный различными дорогами бездѣлюшками и серебрянными и бронзовыми прессъ-папье, въ формѣ лежавыхъ собакъ, бѣгущихъ лошадей, изящныхъ женскихъ ножекъ и т. п. Стѣны кабинета были увѣшаны картинами, выражавшими вкусъ и наклонности Андрея Аристарховича. Широкое, маслившееся лицо Харитона Игнатьевича сложилось въ сладострастную улыбку при взглядѣ на обнаженную нимфу, готовившуюся спуститься въ прозрачныя струи ручья. Онъ до того увлекся созерцаніемъ роскошныхъ, дѣвственныхъ формъ нимфы, что не слышалъ, какъ изъ сосѣдней комнаты, дверь въ которую была завѣшена шелковой портьерой, вошелъ въ кабинетъ Андрей Аристарховичъ, низенькій, толстый человѣкъ, казавшійся еще толще отъ широкаго халата, свободно охватывавшаго его выхоленное тѣло.

— Харитонъ Игнатьевичъ, добро пожаловать! привѣтливо встрѣтилъ его Андрей Аристарховичъ, протянувъ ему два пальца. — Вотъ, какъ нельзя кстати подошелъ ты ко мнѣ... Правду пословица-то говорить, что на ловца и звѣрь сбѣжить! А я только что на-дняхъ собирался ѣхать къ тебѣ, говорилъ

онъ, опустившись въ кресло и предложивъ ему стулъ напротивъ тебя.

— Нешто дѣльцо какое встрѣтилось до меня?.. спросилъ Харитонъ Игнатьевичъ, заворачивая полы своего суконнаго длиннополага сюртука и осторожно присаживаясь на кончикъ стула.

— Съ постройкой замучился; только что одно закупишь— другое требуется. Не радъ, что и затѣялъ: деньги такъ и тають! пожаловался ему Андрей Аристарховичъ.

— Эфто точно-съ, на мелочи эфти невидимо деньги идутъ. А я, признаться, шедши къ вамъ, осмотрѣть обновку-то ваму, полюбопытствовалъ.

— Что жъ, какъ находишь?..

— Отлично хорошо... краса!..

— Домъ будетъ хорошій, правда твоя... Средства не жалѣю. Все по возможности дѣлаю въ современномъ вкусѣ: и ванна у меня будетъ, и звонки электрическіе... И самый наружный видъ...

— Патреть касательно наружи, если взять, прервалъ Харитонъ Игнатьевичъ.

— То есть, какъ это портреть?.. Чей?.. съ удивленіемъ спросилъ Андрей Аристарховичъ...

— Картина, говорю-съ, поправился сконфузившійся Харитонъ Игнатьевичъ, откашливаясь въ руку:—первѣющее, можно сказать сооруженіе въ городѣ...

— Да, да... мнѣ и то завидуютъ многіе.

— А что бы вамъ отъ меня требовалось, что изволили собираться пожаловать ко мнѣ? спросилъ Харитонъ Игнатьевичъ, когда разговоръ пресѣкся...

— У тебя, я слышалъ, все можно достать, отвѣтилъ Андрей Аристарховичъ.—Остряки говорятъ даже, что и птичье молоко есть... а-а?.. Правда это? усмѣхнувшись спросилъ онъ.

— Хе-хе-хе-е... Придумаютъ же чего сказать: птичье молоко...

— Что жь, нѣтъ это, а-а?..

— Нѣ-ѣ-ѣтъ-съ... Эфтакихъ мануфактуръ еще не пытались закупать, смѣясь отвѣтилъ онъ. — А остальное прочее, кому чего требуется, милости просимъ; по силѣ возможности, за- всегда можемъ снабдить...

— Кровельное желѣзо есть у тебя, а?..

— Какъ не быть, цѣлые сараи навалены. Года два тому назадъ, когда зданія упраздненныхъ этаповъ съ укиону предавали, такъ мы занасились имъ. И хорошее желѣзо, плотное и несколько не мятое, потому—мы бережно съ эфими вещами обращаемся...

— О-отлично!.. Ну, а болты къ ставнямъ, гвозди, жебы для дверей, конечно не комнатныхъ, — тѣ я изъ Екатеринбургъ выписываю, а такъ, для людскихъ пристроекъ, тоже найдутся, а?..

— Сколько требуется, предоставить можемъ!

— Хорошо, право, хорошо, что ты зашелъ ко мнѣ. Я тебѣ, Харитонъ Игнатьевичъ, списочекъ дамъ нужныхъ мнѣ вещей, и ты ужь одолжи меня ими; да, кстати, скажи мнѣ: дорого ты возьмешь съ меня за весь этотъ хламъ, а?

— Сочтемся, хе-хе-хе... что вы это утруждаетесь!

— Однако жь?

— Полноте-съ!.. Совсѣмъ это пустой разговоръ вы затѣяли!.. Свои люди-то, всѣ другъ о другѣ, а Богъ за всѣхъ!

— Нѣтъ, ты скажи. Не даромъ же, наконецъ, ты дашь мнѣ, да я и не возьму...

— Сколь положите, всѣмъ будемъ довольны... Признаться, вѣдь и мнѣ до васъ, Андрей Аристарховичъ, просьбица есть: помогите и вы мнѣ соорудиться!

— Тоже строишься, что ли? спросилъ Второвъ.

— Строюсь, да на другой манеръ! отвѣтилъ Харитонъ Игнатьевичъ, безцѣльно передвигаясь съ одного стула на другой.—Затѣялъ, признаться, теперича дѣло, да ужь не знаю, какъ и быть съ нимъ, ровно и не радъ. Хлопотъ, бѣготни,

ѣзды не оберешься... Всю душу выметаль, — съ тоскою въ голосѣ говорилъ онъ. — Заводъ, вѣдь, я кожевенный сооружаю, Андрей Аристарховичъ; выругайте вы меня на склоны лѣтъ моихъ!

— За что же ругать? Дѣло хорошее! У насъ во всей губерніи нѣтъ такого завода. Смѣшно сказать, изъ Сибири везутъ сырыя шкуры въ Россію, и потомъ ужъ мы получаемъ оттуда выдѣланныя кожи, готовые сапоги и платимъ за все это въ три-дорога!

— И я воть, тоже смѣкаю, что надеть бы ему пойти, что на мель не сяду. А въ ину пору, какъ пораздумаешься, такая тоска изниметь, что руки бы на себя наложилъ! жаловался Харитонъ Игнатьевичъ какимъ-то особеннымъ пѣвучимъ голосомъ.

— Пустяки! Дѣло затѣялъ ты хорошее, не сомнѣвайся! заводъ поидеть у тебя, и бойко поидеть; только энергіи нужно побольше энергіи! ободрилъ его Андрей Аристарховичъ.

— Не покладаю ровно рукъ, во всемъ свой глазъ.

— Гдѣ же строить его хочешь?

— За эфтимъ къ вамъ и пришелъ: пособи́те вы мнѣ, обладьте дѣльце! Сунулся, было, съ первоначатія на Т—ѣ строить его, такъ крестьяне не допустили: „ты, говорятъ, у насъ своими кожами всю воду отравишь“.

— Это правда; согласись, вѣдь шкуры снимаютъ съ больного и здороваго скота, замѣтилъ Второвъ.

— Какъ не правда, правда, согласился Харитонъ Игнатьевичъ. — Вотъ я и намѣтилъ теперь мѣстечко, доложу вамъ, въ Х—ой волости здѣшняго округа. Волость эта всего верстахъ въ шестидесяти отъ города, въ лѣсахъ и въ болотахъ, въ такой это трущобѣ, что не доведи Господи. Есть озеро тамъ большое озеро, да бросовое, по пословицѣ: велика Федора, да дура! Святымъ зовется. Лежитъ оно въ удаленіи отъ жилыхъ мѣстъ. Отъ города будетъ, пожалуй, версть сто, можетъ — и болѣе.

— Я что-то слыхаль про это озеро или читаль гдѣ объ

немъ, что ли... дай Богъ память! приложивъ палецъ ко лбу и почесывая его, прервалъ Андрей Аристарховичъ.—Ну, ну, продолжай! произнесъ наконецъ онъ.

— Статься можетъ, что въ бумагѣ читали, подхватилъ Харитонъ Игнатьевичъ:—потому, нынѣ я былъ въ этой волости, такъ мужики сказывали мнѣ, что ихъ собирали въ волость на сходьбище и спрашивали: не надо ли имъ это озеро въ аренду, что бумага получена изъ палаты, и что озеро отбираютъ въ казну. Ну, такъ мужики-то отъ него, сважу вамъ, руками и ногами откерещивались. Богъ, говорятъ, съ нимъ: кому надо это пустошесье? Кабы рыба была въ немъ какая-нибудь, такъ можно бы еще, а то въ немъ, говорятъ, кромѣ червя да пиявки, ничего нѣтъ... Развѣ, говорятъ, кому лѣшихъ топить потребуется...

— Ха-ха-ха. Это въ Святомъ-то озерѣ лѣшихъ топить?

— Да, вѣдь, у нихъ, сударь вы мой, что ни лужа, то и святое мѣсто. Старца, сказываютъ, на немъ какого-то, свѣтлаго ликомъ, видали, ну такъ со страху и озеро-то назвали Святымъ!

— Удивительно! Сколько еще суевѣрія въ нашемъ народѣ, съ сожалѣніемъ въ голосѣ произнесъ Андрей Аристарховичъ.

— Суевѣрства этого у мужиковъ—избави Господи сколько, Андрей Аристарховичъ! качая головой, подтвердилъ Харитонъ Игнатьевичъ. — Насмотрѣлся я досыта на ихнее невѣжество! Такъ вотъ, говорю, услышавши это отъ мужиковъ, продолжалъ онъ:—я кинулся къ писарю,—знакомый онъ мнѣ: точно ли, спрашиваю, есть бумага изъ палаты, что озеро берутъ въ казну? „Есть, говорить; у насъ ужъ, говорить, и общественный приговоръ постановленъ крестьянами, что они не хотятъ озера брать за себя!“

— Вспомнилъ теперь, вѣрно, вѣрно!. Этотъ приговоръ недняхъ вступилъ въ палату, и я читалъ его, прервалъ его Андрей Аристарховичъ. — Только одно мнѣ кажется страннымъ: кажется, вѣдь это богатое, рыбное озеро. Я самъ не

знаю мѣстности Т—го округа, никогда не бывалъ въ немъ, но слыжать, и слыжалъ отъ многихъ объ этомъ озерѣ, и самому иногда доводилось покупать рыбу на рынкѣ, особенно карасей,—такой крупный карась, такъ и называется святозерскимъ.

— Это вы смѣшали, Андрей Аристарховичъ, отвѣтить, насколько не смутившись, Харитонъ Игнатьевичъ.—Точно, есть такое озеро, Святымъ же называется, такъ оно лежитъ совсѣмъ въ другой сторонѣ, внизъ по Оби; бога-а-атое озеро, первѣющее, можно сказать, по Сибири! Это озеро вы и за тысячи рублей не купите: кладъ,—и мужики стерегутъ его, какъ зѣницу ока!

— А-а, ну, это дѣло другого рода... Я и не зналъ, что ихъ два въ одномъ округѣ!..

— Ихъ и не два по округѣ-то!..

— Какъ, и еще есть Святое озеро?..

— Есть!.. Это ежели теперича отъ Т—а по дорогѣ къ Т—рѣ ѣхать, такъ, почестъ на полпути, лежитъ озеро, и тоже большое озеро, рыбное, также крестьяне-то Святымъ зовутъ!..

— Однако жъ сколько Святыхъ-то озеръ!.. съ удивленіемъ произнесъ Второвъ.

— Говорю вамъ, сударь, что у мужиковъ, что ни лужа, то и святое мѣсто... страсть, суевѣрства сколько между ними.

— Такъ ты на этомъ озерѣ и хочешь заводъ строить?..

— На эфтомъ самомъ!.. Крестьяне же и надоумили меня... Бери, говорятъ, за себя наше-то озеро. Мы, говорятъ, тебѣ за зиму заводъ-то вымахаемъ, ты и не услышишь... Все же, говорятъ, хлѣбъ намъ дашь этимъ заработкомъ... Поѣхалъ я по ихнимъ словамъ, осмотрѣлся... вижу: мѣсто самое подходящее къ моему плану. Первое дѣло, удаленное, никому ни въ чемъ препятствія нѣтъ. Кругомъ лѣса, дубу мужики судятся надрать мнѣ хопъ запруды пруди, потому — имъ заработокъ дорогъ. Правда, что дороги къ озеру нѣтъ, кругомъ болото, ну, да современемъ, Богъ дастъ, и дорожку сладимъ. Подумалъ я... подумалъ... перекрестился и порѣшилъ взять

его за себя. Благословите теперь меня эфтимъ озеркомъ, ваша милость, Андрей Аристарховичъ, произнесъ Харитонъ Игнатьевичъ, вставая и кланяясь ему: — отдайте мнѣ его въ аренду!

— Съ готовностью!.. Это такіе пустяки, что даже и просить не о чемъ! Тебѣ прошеніе нужно не дать въ палату.

— Я, признаться... надѣялся на ваше снисхожденіе ко мнѣ... и сготовилъ его; получите-съ произнесъ онъ, вынувъ изъ кармана четверо сложенное прошеніе на гербовой бумагѣ. — Только лѣта, на сколько можно взять его въ аренду, я не проставилъ безъ вашего наставленія.

— Пиши: на двѣнадцать лѣтъ.

— Благословите ужъ на тринадцать.

— Нельзя!.. Отдать казенную оброчную статью въ арендное пользованіе свыше двѣнадцати лѣтъ можетъ только министерство... Ты возьми теперь озеро на двѣнадцать лѣтъ, а потомъ войди съ ходатайствомъ объ отдачѣ его на болѣе продолжительный срокъ... Мы даже рады будемъ этому случаю... Тутъ, собственно говоря, съ моей стороны и услуги нѣтъ... Озеро совершенно бездоходное, все равно: если-бъ ты не изъявилъ желанія взять его, такъ оно лежало бы даромъ, а теперь все-таки хоть какой нибудь доходъ принесетъ казнѣ...

— Это справедливо-съ... Ужъ много я вамъ благодаренъ буду!..

— Пустяки-и, не за что!.. Дѣйствительно, мы нынче собираемъ свѣдѣнія, гдѣ есть озера и рыбные пески, которые бы можно было обратить въ оброчныя статьи и отдавать въ аренду. Все хлопочемъ объ увеличеніи государственныхъ доходовъ, съ ироніей произнесъ Андрей Аристарховичъ. — Только тебѣ вѣдь скоро этого дѣла нельзя будетъ обдѣлать, впереди, замѣтилъ онъ

— Желательно бы поспѣшить, Андрей Аристарховичъ, потому мнѣ много еще хлопотъ, время-то дорогое, а къ веснѣ бы ужъ соорудить хотѣлось заводець-то...

— Ну, недѣли двѣ, три все таки пройдетъ, но не болѣе!



Мы зачислимъ озеро въ оброчную статью, пропечатаемъ въ губернскихъ вѣдомостяхъ объявленіе о вызовѣ желающихъ на торги; желающихъ, конечно, не явится, — можешь быть увѣренъ въ этомъ, потому что вѣдомости, кромѣ редактора ихъ, ни кто не читаетъ; а одновременно съ тѣмъ, единственно для того, чтобъ соблюсти узаконенныя формы, мы пошлемъ предписание Х—му волостному правленію о вызовѣ крестьянъ на торги... Оно бы, собственно говоря, по закону-то слѣдовало бы и самые торги произвести въ волостномъ правленіи, ну, да разъ крестьяне представили приговоръ, что озеро имъ не нужно, то грѣха не будетъ, если для выигрыша времени мы избѣгнемъ излишней формальности и обдѣлаемъ это дѣло по домашнему, въ палатѣ...

— Не требовалось бы и публикаціи-то слать въ волость, Андрей Аристарховичъ; потому, вѣдь опчественный приговоръ у всѣхъ въ видимости, замѣтилъ Харитонъ Игнатьевичъ.

— Законъ, братецъ, велить; обойти его нельзя... у насъ вѣдь на все законъ есть, каждый шагъ предписанъ.

— Хе-хе-е... это точно-съ, что шагать-то велятъ по мѣркѣ.

— Формальность тормозитъ дѣло во всемъ, а избѣгать ея нельзя: у насъ за преступленія по должности такъ не судятъ, какъ судятъ за несоблюденіе формъ!..

— Справедливо-съ... Такъ ужъ мы, значить, въ полной надеждѣ будемъ на вашу милость.

— Будь спокоенъ — озеро твое... Ты только попроси волостнаго писаря, чтобъ онъ поскорѣ прислалъ отвѣтъ на наше предписание о вызовѣ крестьянъ на торги, тогда мы назначимъ день для торговъ... положимъ за озеро арендной платы рублей тридцать въ годъ...

— Много-ко-съ!.. Обидно какъ будто, Андрей Аристарховичъ! прервалъ его Харитонъ Игнатьевичъ.

— Ну, двадцать пять, что ли...

— И это бы... того-съ... вѣдь озеро-то совсѣмъ бросовое...

— Ну... ну, двадцать... ужъ двадцать-то не обидно... Ты

прибавишь на торгахъ рубль или два, и озеро останется за тобой; потомъ, въ день переторжки внесешь впередъ за все время арендныхъ лѣтъ плату. Мы постановимъ журналъ, предпишемъ земской полиціи о ввѣдѣ тебя въ арендное владѣніе озеромъ... и дѣлу конецъ... владѣй?..

— Дай вамъ Господи за ваше благодѣтельство! дрогнувшимъ отъ радости голосомъ произнесъ Харитонъ Игнатьевичъ!— Чѣмъ только служить вамъ!.. Стало быть, ужъ я теперича въ покоѣ буду?..

— Совершенно! Да вотъ еще что... хорошо, что вспомнилъ, суетливо прервалъ его Второвъ.— Ты знаешь секретаря палаты, Максима Ивановича Неряхина?..

— Знаемъ-съ... По малости тоже знакомы...

— Сходи къ нему, попроси и его... на всякій случай, оно не помѣшаетъ, чтобъ ускорить это дѣло.

— Съ большимъ даже одолженіемъ... заявимся...

— У него же, кстати, недавно корова пала; человѣкъ онъ небогатый, дѣтей полонъ домъ, одинъ-то ребенокъ грудной даже... ты весьма будешь полезенъ ему...

— Касательно пользы понимаемъ-съ... Завсегда, можно сказать, съ готовностью... Такъ списочекъ-то о вещахъ обѣщали выдать мнѣ, пожалуйста-съ... За одно ужъ насчетъ пользы-то, сказалъ Харитонъ Игнатьевичъ.

— А... а, да... да, изъ головы вонъ!.. Спасибо, что надумилъ! произнесъ Второвъ, суетливо перебирая бумаги на столѣ, разыскивая заранѣе приготовленный списокъ.— Ну, такъ что же ты съ меня возьмешь за этотъ хламъ, а? спросилъ онъ, подавая ему списокъ.

— Полноте-съ!.. Объ чемъ разговоръ... отвѣтилъ Харитонъ Игнатьевичъ, бережно складывая его и опуская въ карманъ.

— Ни... ни... говори, говори!.. Служба службой, а дружба дружбой!..

— Хе... хе!.. Да что же съ васъ взять-то?.. Гривенничекъ

съ листа не обидно покажется? спросилъ онъ, пытливо посмотрѣвъ на Второва.

— Гривени-и-идь!.. Что ты... что ты, дорогой другъ мой!.. съ изумленіемъ произнесъ Второвъ, отступая отъ него и разставивъ ладони рукъ, какъ бы защищаясь отъ нападенія Харитона Игнатьевича.—Съ меня въ лавкахъ девяносто копѣекъ за листъ просили. Вѣдь это будетъ съ моей стороны взятка съ тебя... Я этого не люблю!—строго произнесъ онъ.—Нѣ-ѣ-тъ... ты бери, что стоитъ тебѣ, а такъ я... ни-и-ни... Избави Богъ... Это не въ моихъ правилахъ!..

— Въ такомъ случаѣ... положте для круглаго счету пятьалтыничекъ, хе... хе...

— И... это дешево... но-о... ужъ если ты желаешь, изволь...

— Доставимъ-съ!..

— Пришлю лошадей!..

— Предоставимъ-съ!.. Не утруждайтесь!.. А затѣмъ прощенья просимъ-съ!.. Позвольте пожелать вамъ наипаче всего хорошаго!.. произнесъ, развязано раскланиваясь, Харитонъ Игнатьевичъ.

— Спасибо, спасибо, Харитонъ Игнатьевичъ! произнесъ Второвъ, запахивая халатъ и провожая гостя изъ кабинета въ переднюю...

— Ужъ перваго опочка съ завода .. на сапожки въ ваше одолженіе доставимъ!.. сказалъ Харитонъ Игнатьевичъ, надѣвая шубу и засмѣялся... Второвъ тоже засмѣялся и, крѣпко пожавъ его руку, заперъ за нимъ дверь.

Не прошло мѣсяца, какъ въ Т—е уѣздное полицейское управленіе вступило предписаніе казенной палаты о ввѣдѣ т—го мѣщанина Харитона Игнатьевича Плаксина во владѣніе Святымъ озеромъ, отданнымъ ему съ торговъ, въ арендное пользованіе на двѣнадцать лѣтъ. Сильное впечатлѣніе произвело это предписаніе на членовъ. О впечатлѣніи, какое произ-

вело оно на Ивана Степановича Кашкадамова, я не буду говорить. Петръ Никитичъ, привезенный изъ волости особо посланнымъ нарочнымъ, имѣлъ съ нимъ по этому поводу продолжительное объясненіе, кончившееся удаленіемъ его отъ должности писаря. Взрывъ горя и негодованія, какой охватилъ крестьянъ при извѣстїи объ отдачѣ озера въ аренду, вѣроятно дорого обошелся бы Петру Никитичу, но онъ уже болѣе не показывался въ волость. Выбранные народомъ ходатаи, въ томъ числѣ и Никифоръ Гавриловичъ Бахлыковъ, отправились съ просьбой о возвратѣ озера, но безуспѣшно. Представленный ими приговоръ служилъ уликою противъ нихъ въ намѣренномъ обманѣ властей. „Впередъ будьте умнѣ!“ говорили имъ повсюду, куда ни толкались они. Но все-таки объ этомъ происшествіи предписано было произвести дознаніе. Петръ Никитичъ на предложенные ему вопросы отвѣчалъ, „что онъ дѣйствовалъ такъ исключительно въ видахъ интереса казны, и главное, съ разрѣшенія своего начальства, и если бы въ волость было прислано предписаніе палаты о зачисленіи озера въ оброчную статью и о вызовѣ крестьянъ на торги, которые по закону слѣдовало произвести въ волостномъ правленіи, то этого несчастія не случилось бы!“ Въ настольномъ реестрѣ вступающихъ въ волость бумагъ, дѣйствительно, не оказалось, чтобъ въ волость вступало предписаніе палаты о вызовѣ крестьянъ на торги, точно также и по исходящему реестру не значилось отвѣта волости. По сличеніи подлинной бумаги отъ волостного правленія, извѣщавшей палату, что крестьянъ, желавшихъ явиться на торги не оказалось, — съ почеркомъ Петра Никитича, выяснилось, что она была писана и подписана не его рукою, печать волостного головы была блѣдна, неясна, номеръ фальшивый. Подлогъ былъ несомнѣнный, но кто совершилъ его и съ какою цѣлью—осталось недознаннымъ, хотя подозрѣніе и тяготѣло надъ Петромъ Никитичемъ...

Судьба улыбнулась, наконецъ, Петру Никитичу. Онъ до настоящей минуты живетъ въ неразрывной дружбѣ съ Хари-

тономъ Игнатъевичемъ, хотя каждый годъ, при дѣлежѣ доходовъ, между ними происходятъ крупныя ссоры. Петръ Никитичъ пополнѣлъ, даже бакенбарды его стали гуще, пушистѣе и приблизились къ типу первобытныхъ. Въ словахъ и манерѣ его, полной достоинства, проглядываетъ сановитость, свойственная капиталистамъ. Кромѣ озера, онъ, въ компаніи съ Харитономъ Игнатъевичемъ, арендуетъ нѣсколько рыбныхъ песковъ на Оби, имѣетъ свои суда и ведетъ обороты на десятки тысячъ. По праздничнымъ днямъ, супруга его, взятая имъ изъ богатаго купеческаго дома, катается по улицамъ города въ коляскѣ, а зимою кутается въ соболей, порождающихъ зависть у многихъ сановитыхъ дамъ. На купеческихъ вечерахъ и обѣдахъ Петръ Никитичъ и супруга его пользуются большимъ вниманіемъ. Никто изъ купцовъ какъ будто и не узнаетъ въ немъ того Болдырева, который нѣкогда подноситъ имъ поздравительные акрости и, стоя въ передней, получалъ отъ нихъ полтинники и куски пироговъ... и подозрѣвался къ тому же въ кражѣ легко уносимыхъ вещей.

Харитонъ Игнатъевичъ отслужилъ уже трехлѣтіе кандидатомъ городского головы. Онъ попрежнему ведетъ дѣятельную жизнь, хотя давно прервалъ знакомство съ темными личностями. Старый градоначальникъ, добравшійся до его шкуры, померъ, а съ новымъ Харитонъ Игнатъевичъ живетъ въ тѣсныхъ дружественныхъ отношеніяхъ. Въ дружественныхъ отношеніяхъ живетъ съ нимъ и Второвъ, хотя частенько, въ пріятельской бесѣдѣ, напоминаетъ ему объ общаніи прислать опоекъ на сапоги съ своего завода. Но, вмѣсто опойка, Харитонъ Игнатъевичъ, къ каждому посту, посылаетъ ему въ гостинцы отборныхъ святоозерскихъ карасей. Харитонъ Игнатъевичъ самъ хозяйничаетъ на озерѣ, нанимая для работъ крестьянъ за баснословно дешевыя цѣны. Въ первое время ему было много хлопотъ и неприятностей. Крестьяне, по злобѣ къ нему, рвали и портили его невода и сѣти, топили лодки, крали рыбу, поджигали устроенные имъ по берегамъ озера избы, пакгаузы и

амбары; но теперь все утихло. Только Петръ Никитичъ ни разу не заглянулъ на озеро; онъ и до настоящей минуты опасается возмездія.

А какъ же поживаютъ крестьяне X—ой волости? спросить можетъ быть читатель. Въ отвѣтъ на это, я скажу одно, что, со времени отдачи озера въ аренду, недоимка на волости накопилась въ количествѣ 37,876 рублей и считалась безнадежной ко взысканію; пополнена ли она въ настоящее время, не знаю.



## НОЧЬ НА ОЗЕРѢ.

На пути въ усадьбу Ю., гдѣ я провель въ 187\* году лѣто, совѣтовали мнѣ остановиться въ погостѣ В. у крестьянина, извѣстнаго въ Б—ъ уѣздѣ болѣе подѣ названіемъ Аггеича, чѣмъ по имени и фамиліи. Аггеичъ, какъ говорили мнѣ, былъ хорошо знакомъ съ тою мѣстностью, куда я ѣхаль, и совѣты его, указанія и рассказы о бытѣ лопмановъ, проводящихъ барки чрезъ Б—кіе пороги, могли быть крайне полезны для меня. Двухэтажный домъ Аггеича стоялъ при самомъ вѣздѣ въ погостъ В., и нѣсколько повозокъ и телѣгъ, стоявшихъ на улицѣ, около дома его, указывали профессію, какою занимался онъ. Аггеичъ былъ „поставщикъ“, какъ называютъ крестьяне Н—ской губерніи людей, принимающихъ на себя подрядъ содержать почтовую гоньбу, и, въ качествѣ „поставщика“, считался весьма зажиточнымъ человекомъ среди населенія обширнаго погоста, имѣвшаго, однако-же, четыре каменныхъ церкви.

По оказанному мнѣ крайне радушному приему, я убѣдился, что лицо, рекомендовавшее мнѣ Аггеича, пользуется глубокимъ уваженіемъ его. Аггеичъ сейчасъ-же захопоталъ о самоварѣ и объ угощеніи. Онъ предложилъ даже водочки, но, узнавъ, что я не пью, съ болью въ голосѣ выразился: „Э-эхъ, по рюмочкѣ-то опрокинуть-бы — куды ни шло!..“ Это былъ старикъ лѣтъ

шестидесяти на видъ, съ крѣпкими щеками, покрытыми свѣжимъ здоровымъ румянцемъ; волнистая, съ просѣдью борода его, падая на грудь, закрывала воротъ чистой ситцевой рубашки. Въ большихъ сѣрыхъ глазахъ старика проглядывала самая добродушная наивность. Прежде чѣмъ подали самоваръ, онъ сбѣгалъ посмотрѣть—хорошо-ли выкармливаютъ лошадей, и распорядился смазать колеса и оси у повозки не тѣмъ дегтемъ, что въ амбарчикѣ направо, а деготкомъ, что стоитъ въ амбарушкѣ подь клѣтью. „Ты, Иванъ, того... смотри... поѣдешь, такъ чалаго-то не жалѣй, говорилъ онъ, поднимаясь на крыльцо. — Онъ, подлець, сейчасъ къ тебѣ приспособится да глаза отводить почнетъ... подлая животино!“ заключилъ старикъ, входя уже въ комнату, гдѣ сидѣлъ я.

— Такъ въ Ю., батюшка, направляешься? спросилъ онъ, почти не перемѣняя тона. — Ну, што-жъ, поживи, поживи тамъ... мѣста видныя... одна Любка чего стоитъ, коли поглядѣть! говорилъ онъ, присаживаясь около меня.

— А что это за Любка, Аггеичъ? спросилъ я.

— Гора, милый, гора такая... Любойю окрещена. Круча, скажу тебѣ,—глазъ не вдымешь... Мѣста хорошія! заключилъ онъ.—Ну, и господа помѣщики... што сказать... Мы-то подь ними не жили, такъ не похаемъ ихъ... чего напрасно! Охоткой-то какой занимаешься?.. спросилъ онъ, любовно заглядывая въ глаза мнѣ.

— Удить люблю...

— А-а... удочкой промышляешь, произнесъ онъ, кивнувъ головой.—Ну, што-жъ, и это забава... и удочкой потѣпиться мѣсто найдешь... Озера есть тамъ... рыбныя озера... Ты какъ приѣдешь, скажу тебѣ, такъ спреси, штобъ для энтой-то забавы сводили тебя къ Ефиму... слышишь?

— Слышу... Спасибо тебѣ, что указалъ.

— Ну, спасибо-то ты ужъ послѣ скажи, какъ въ обратный путь поѣдешь! нравоучительнымъ тономъ замѣтилъ онъ.—Такъ не забудь, къ Ефиму, подтвердилъ онъ.—Чей онъ—не



скажу тебѣ; мы-то зовемъ его: Ефимъ изъ Стебни... тамъ его и старшій, и малшій знаютъ; только помяни Ефима изъ Стебни... сейчасъ предоставлять. Промышленникъ онъ удочкой-то, всѣ тебѣ мѣста укажетъ! За-а-авзятый мастеръ на удочку-то! протянулъ онъ. — Онъ, слышь, слово знаетъ? во-о-отъ какой мастеръ!

— Какъ это слово знаетъ?.. Какое?.. спросилъ я.

— А такъ, слово... Ты вотъ, въ примѣру, наживку на удочку-то насадишь, а онъ тебѣ, намѣсто наживки, слово на крючекъ-то зацѣпитъ...

— Какъ-же онъ слово-то на крючекъ нацѣпитъ?..

— А ты слушай... ты послушай только... не пустое я тебѣ слово говорю, вѣрь! горячо прервалъ онъ меня. — Онъ словомъ удочку-то нагружаетъ: пробормочетъ это слово-то свое надъ крючкомъ, плюнетъ на него, да и пустить въ воду... такъ форель-то вытянетъ тебѣ на свое-то слово во-о-отъ какую! разведя руками на аршинъ, произнесъ онъ.

— На слово вмѣсто наживки?..

— На слово!.. Къ нему, братъ, рыба на слово идетъ! глубоко-убѣжденнымъ тономъ произнесъ Аггейчъ, пытливо поглядывая на меня, — произвели-ли слова его надлежащее впечатлѣнiе или нѣтъ.

— Чудно что-то, произнесъ я.

— Такія-ли чудеса есть еще!.. Колдовства-то по нашей сторонѣ упаси Господи сколько! произнесъ онъ, покачавъ головой. — Ты вотъ уже спроси-ка Ефима-то, какъ онъ на словцо-то форель выудилъ, да отъ барина десятинку землицы оттягалъ.

— Тоже словцомъ? прервалъ я.

— Нѣ-ѣтъ... форелькой, што на словцо-то поймалъ. Ди-и-ковина, какъ поскажетъ онъ!.. Отъ тебя онъ не потантъ... Ты скажи ему только, што я тебя послалъ къ нему, — Аггейчъ...

— Хорошо... скажу...

— Скажи!.. А то у насъ вѣдь нонѣ порядки, милый, за-

велись: урядники... Насчетъ разговору-то стережемся. Ну, а коли скажешь, што я тебя послалъ, такъ ужь онъ таяться не станеть!.. Вишь, батюшка, года-то какіе подошли, неожиданно началъ Аггеичъ,—ровно этакіхъ-то и не бывало, а? произнесъ онъ, пытливо посмотрѣвъ на меня.

Повидимому, старику сильно хотѣлось пуститься въ политику и наговориться до-сыта о небывалыхъ еще годахъ и порядкахъ, явившихся въ деревню, въ лицѣ урядниковъ, не допуславшихъ свободнаго разговора, но онъ замѣтно все-таки остерегался мало знакомаго ему человѣка. Такъ или иначе, но новые порядки сковывали языки даже у словоохотливыхъ стариковъ, и по поводу самыхъ невинныхъ предметовъ.

— Видали ужь на своемъ вѣку начальства, началъ Аггеичъ послѣ минутнаго молчанія и точно какъ-будто про себя:—порядки тоже всякіе бывали, не мало ихъ пережили... ну, а новѣшніе-то ровно и намъ въ диковину!.. Наѣдетъ теперь этотъ самый урядникъ къ тебѣ, подавай его лошади овса... Ну, ладно: разъ даль, другой даль... Человѣкъ за честь-бы принялъ, а онъ тебѣ ужь за положеніе кладеть!.. А вѣдь нонѣ мѣрка-то овса, гляди, какъ играетъ: въ яну пору свою-то животину обмѣрешь имъ, а онъ, изволь-ка радоваться, требуетъ—и лошадку его продовольствуй, и самого-то напей. Вотъ-тѣ и поря-я-ядокъ!.. Вонъ и теперь внизу у меня сидеть... погляди-ко, лыкомъ не вяжется!..

— Кто, урядникъ-то?..

— Ну, порядокъ-то нашъ!.. Лошадь тутъ, по близости, въ деревенькѣ, у мужика околѣла, съ чумы, сказываютъ... Такъ онъ вотъ, вишь, мѣры принять поѣхалъ. Ну, и принимаетъ... никакъ ужь въ третьемъ полуштофѣ полощется!.. О-охъ-ма-а-а! произнесъ Аггеичъ, махнувъ рукой и проводя ею по своей волнистой бородѣ.—Поживешь въ Ю., такъ увидишь еще всячины, заключилъ онъ. — А то, коли время будеть, приѣзжай за лѣто-то ко мнѣ... Я тебя удовольствую...

— Чѣмъ-же?... полюбопытствовалъ я.

— На пороги свожу... Занятно вѣдь, поглядѣль-бы... Ужь я-бы тебя приладилъ въ дѣлу! На барочку-бы посадилъ, спустили-бы, какъ по графалету! Бывалое вѣдь дѣло-то... хаживали...

— Развѣ ты былъ лодманомъ?

— Бы-ы-ылъ! съ гордостью протавулъ онъ, проводя рукою по бородѣ. — Ха-аживаль! Я тебѣ, коли потребуется, всё порядки распишу: какъ, што и при какомъ случаѣ слѣдуетъ быть... Бываемые ужь мы... Ты, вотъ, не слыкаль-ли когда про Ивана Акимыча? неожиданно спросилъ онъ.

— Про какого Ивана Акимыча?

— Иванъ-то Акимыча? повторилъ онъ. — А это, милый другъ, завѣтный старикъ былъ, скажу тебѣ. Про него, чай, какой-бы молвѣ-то ходить надо... Лодманомъ былъ онъ. Тридцать годовъ барен спущалъ по нашимъ порогамъ, и хоша-бы вотъ разъ загнулся объ нихъ. А ужь у насъ-ли не пороги? На волосокъ только спотыкнись, не догляди или перегляди,— и пропасть... такъ ее всю тебѣ, барку-то, и расхрящеть по суставамъ... Вотъ онѣ, пороги-то, какіе, а-а?.. гордо глядя на меня, произнесъ онъ, точно какъ-будто пороги эти составляли какую-то неотъемлемую часть его собственныхъ достоинствъ. — Какъ въ котлѣ, въ нихъ вода-то кипить... Ужасть!.. Ну, онъ спущалъ, Иванъ-то Акимычъ... Кафтаны ему, братецъ, дали... Само начальство почтило его этой наградой... И какъ только, братецъ, дали ему этотъ кафтанъ, почтили, погналъ онъ опосля того караванъ и весь-то въ дребзги расшибъ его, а-а?..

— Отчего-же!..

— Тридцать годовъ спущалъ караваны и не спотыкался, а только вотъ кафтанъ надѣли и, словно-тѣ по уроку, въ дребезги весь караванъ расшибъ, а?.. съ оживленіемъ, привскочивъ на стулѣ, повторилъ онъ.

— Да отчего-же это, объясни мнѣ, снова спросилъ я.

— Поди-ко, вотъ, скажи, отчего?.. переспросилъ онъ. —

Ужь чего-бы кажись... тридцать годовъ барки по порогамъ спущалъ и не спотыкался, а тутъ на тебѣ... какъ нарѣнно... только почтили кафтаномъ, и весь тебѣ караванъ въ дре-е-безги размель!.. Такъ мы только руками хлопнули... А ужъ какой тебѣ завѣтный человекъ былъ, повсѣать!.. Это, хозяева-то барокъ, бывало, купцы-то, внесуть пять рублей въ артель на лощмана, по уставу, ну и пойдеть тебѣ очередной лощманъ барки его плавить, а онъ, хозяинъ-то, купецъ, и говорить: „Нѣтъ, стой... не моги!.. Подавай мнѣ Ивана Акимыча“... Вѣру въ него питали... Ну, и ведеть Иванъ Акимычъ, а очередной-то лощманъ только въ подручныхъ у него стоитъ, бывало! Ужь у хозяина-то, у купца-то, душа на мѣстѣ, когда Иванъ-то Акимычъ караванъ плавить... Хозяинъ-то ѣдетъ-себѣ горой да водочку потягиваетъ, а Акимычъ караваномъ его орудуетъ: тысячъ на сто, можетъ, добра-то его рука да глазъ стерегутъ... Вотъ и суди!.. И тридцать годовъ спущалъ безъ запинки, а только дали кафтанъ, почтили, и сейчасъ-же тебѣ спотыкнулся, а?

— Да отчего-же это произошло? Ты все-таки не сказать мнѣ, снова прервалъ я его.

— Хитрое, братъ, это дѣло, коли сказать тебѣ—отчего, качая головой, отвѣтилъ онъ.—А на мой умъ, въ кафтанѣ тутъ вся причина, другъ, рѣшительно отвѣтилъ онъ.

— А кафтанъ-то причемъ-же?

— При чемъ?.. Отвѣтитъ тоже, другъ, мудрено... Скажи ты мнѣ на-перво: кафтанъ этотъ почетъ мужику аль нѣтъ? спросилъ онъ, какъ то искоса глядя на меня...

— Почетъ.

— Вотъ и запинка!.. Какъ не было у него этого кафтана, онъ на Бога надежду клалъ; ну и помогалъ Богъ, спущалъ безъ горя; а какъ почтили его кафтаномъ,—возгордился, все-де смогу, потому жалованный человекъ... да вотъ-тѣ и смогъ, въ дре-е-безги раскачалъ... Какъ увидѣлъ Иванъ Акимычъ неустойку-то, скажу тебѣ, какъ по-о-перло это барку-то на

пероги, да пошло ее хрюкать, так онъ въ воду, слышь, бросился... едва спасли... Вытащили его, такъ слезами заплакалъ. „Ну, говорить, братцы, тридцать годовъ караваны плавили, ни единого разу Господь съдую мою голову до сраму не попустилъ, а теперя, говорить, сгнула моя голова, кафтанъ, говорить, ее утопилъ!...“ И съ этой поры, братецъ мой, и барки водить пересталъ... вотъ какой завѣтный старикъ былъ!.. Такъ я тебѣ къ тому все это привелъ, милый, што я у Ивана-то Акимча завсегда, почестъ, въ подручныхъ состоялъ... Мастерства-то этого не плошь его знаемъ... прѣзжай!..

— Прѣйду!

— Спущу тебя, што блинокъ со сковородки, право... Вѣдь крутить-то на порогахъ пойдеть—и-и-и... только гляди да поворачивайся, ажно духъ въ тебѣ замираеть. Ну, сто-о-ой твердо, стой въ эту пору — не мигни... Важивали, братъ... Хошь кафтана и не имѣемъ, а не изъ послѣднихъ были... Знали кушцы-то насъ, чествовали, да-а!.. Ты прѣзжай, говориль онъ, любовно трепля меня по плечу.— Я тебѣ басенъ-то насажу, што на возъ не укладешь...

Часовъ въ пять вечера я простился съ словоохотливымъ Агтеичемъ, давъ слово прѣхать къ нему въ серединѣ лѣта и съѣздить съ нимъ посмотрѣть на спускъ барокъ чрезъ Б—кіе пороги. Старикъ, идя около моей повозки, проводилъ меня далеко за ворота своего дома.

— Къ Ефиму-то не забудь сходить! крикнулъ онъ мнѣ, когда мы уже простились. — Помни: Ефимъ изъ Стебни... скажи, Агтеичъ прислалъ тебя!.. Ну, подь съ Богомъ! крикнулъ онъ, наконецъ, махнувъ рукой, и долго еще стоялъ на одномъ мѣстѣ, глядя вслѣдъ намъ.

Дорога отъ В. тянулась обширной равниной, мѣстами усѣянной пашнями. Кое-гдѣ, въ сторонѣ отъ нея, попадались тощіе перелѣски; по дорогѣ часто встрѣчались помѣщичьи усадьбы; иногда дорога пролегалла мимо самыхъ усадебъ, и глазамъ всегда представлялся обширный барскій домъ, обне-

сенный, густо разросшимся садомъ, фидгелями и другими пристройками. Тяжелое, непонятное уныніе производило на меня видъ этихъ запущенныхъ, разваливающихся памятниковъ крѣпостного права. Окна въ усадьбахъ чаще всего были заколочены наглухо, каменныя ограды, обносившія обширный дворъ и садъ, вездѣ почти рушились. Иногда, поодаль отъ усадьбъ, встрѣчались грандіозныя каменныя постройки съ башнями по угламъ или другими совершенно ненужными, но красивыми архитектурными украшеніями. Это были конскіе, пивоваренные и т. п. заводы, давно закрытые и заброшенные. Невдалекѣ отъ усадьбъ ютились жалкія деревеньки. Тѣсно скучившіяся между собою избы ихъ имѣли печальный, ветхій видъ; не менѣе печально смотрѣли и лица встрѣчавшихся мнѣ крестьянъ. „Навесела ты родная картина!“ невольно думалъ я, глядя съ одной стороны на слѣды безумной роскоши и затѣй разорившихся баръ, а съ другой на бьющую въ глаза нищету крестьянъ, отъ которой долго, долго еще не оправиться имъ, при тѣхъ экономическихъ условіяхъ, какими они опутаны, и корень которыхъ лежитъ въ глубинѣ ихъ недавняго процллага.

Черезъ недѣлю, по приѣздѣ въ Ю., ко мнѣ зашелъ, однажды, молодой крестьянскій парень, какъ оказалось — сынъ Ефима изъ Стебни, посланный ко мнѣ отцемъ, который, узнавъ отъ кого-то, что Аггеичъ замолвилъ о немъ слово, прислалъ сына спросить: не пойду-ли я на ночеву на Глухое озеро, удить рыбу. Я былъ радъ этому приглашенію. Я зналъ по опыту, что никакая охота не располагаетъ такъ къ откровенной бесѣдѣ, какъ уженье. Сборы мои были непродолжительны, и часовъ около шести вечера я былъ уже въ деревенькѣ Стебни. На вопросъ мой—гдѣ изба Ефима, встрѣтившая меня толпа дѣтей проводила къ жалкой, покосившейся избенкѣ, къ которой примыкалъ бревенчатый срубъ, выкрытый соломой. По наружному виду избы уже можно было безошибочно заключить, что владѣлецъ ея принадлежитъ къ числу тѣхъ горемыкъ, которые

всю жизнь бьются как рыба об ледь и живутъ болѣе на авось, чѣмъ на какіе-либо опредѣленные ресурсы.

— Вотъ изба Ефима, аль тебѣ кликнуть его? произнесъ одинъ изъ моихъ проводниковъ, ткнувъ пальцемъ въ самый срубъ, прилежавшій къ избѣ; и когда я поднялся по крылечку, ступени котораго визжали и тряслись подъ моими ногами, проводники мои все еще продолжали стоять около избы, съ какимъ-то сосредоточенно-оторопѣлымъ выраженіемъ въ лицахъ, какъ-бы недоумѣвая, почему я спросилъ дядю Ефима, а не дядю Ивана или дядю Петра, у которыхъ и избы-то почище выглядятъ, да и сами-то они не въ примѣръ осанистей кажутся.

Войдя въ избу Ефима, я прежде всего былъ пораженъ тѣмъ явленіемъ, что она освѣщалась двойнымъ свѣтомъ, проникшимъ въ нее черезъ маленькія окошечки, раскрытыя настежь, и снизу, черезъ огромнѣйшія щели въ полу. Подобныхъ щелей въ прогнившихъ, разошедшихся между собой и шатавшихся половицахъ было очень много. Оказывалось, что подъ ординарнымъ, испорченнымъ поломъ избы не было никакого фундамента: изба укрѣплена была просто на нѣсколькихъ камняхъ, высившихся на поларшина отъ земли. Несмотря на подобную вентиляцію черезъ полъ и раскрытыя окна, меня охватилъ при входѣ удушливый воздухъ, пронитанный смѣсью гнили, сырости и какъ-бы прѣлаго навоза. Полъ былъ грязенъ до послѣдней степени, а между тѣмъ валявшіеся на немъ войлокъ и подушки, холщевыя наволоки на которыхъ были чуть-ли не грязнѣе пола, указывали, что, за неимѣніемъ кроватей, население этой избы спало на полу. Вдоль закоптѣвшихъ бревенчатыхъ стѣнъ избы тянулись широкія лавки, прикрѣпленные къ нимъ; въ переднемъ углу стоялъ большой деревянный столъ. Большая русская печь занимала весь правый задній уголъ избы; она была вмазана сѣрой глиной, мѣстами отвалившейся, обнаруживая кирпичи; черная копоть лежала на ней густыми слоями. Желѣзная труба соединяла эту печь съ небольшою

печкой въ родѣ плиты, сложенной изъ кирпича и стоявшей посрединѣ избы; въ нее былъ вмазанъ небольшой чугунный котелокъ. Отпечатокъ безысходной нужды лежалъ на каждомъ предметѣ, на какомъ останавливался взглядъ мой. На полочкѣ, прикрѣпленной къ стѣнѣ около печи, лежало нѣсколько глиняныхъ горшковъ, опрокинутыхъ днами вверхъ и сохранявшихся, какъ узналъ я потомъ, на память о коровѣ, которую давно уже продали, по неимѣнію корма для нея и хлѣба для семьи. Бучка какой-то ветоши, замѣнявшей гардеробъ, валялась въ лѣвомъ углу на лавкѣ; около нея на гвоздѣ висѣла шляпа, но затѣ шляпа не простая, а цилиндръ, имѣвшій крайне неопредѣленный цвѣтъ, и около цилиндра — большой кусокъ мережи, сложенный въ нѣсколько рядовъ и приготовленный, вѣроятно, для какого-нибудь рыболовнаго снаряда. Сидя на лавкѣ у окна, Ефимъ сучилъ на обнаженномъ колѣнѣ лѣсу изъ бѣлаго конскаго волоса... Когда я вошелъ, онъ поспѣшно заткнулъ холщевую штанину за порывѣвшее голенище сапога, бережно сложилъ волосъ на лавку и, вставъ, поклонился мнѣ.

— Никакъ, Миколайъ Ивановичъ?.. спросилъ онъ, обдергивая рубаху на себѣ и шаровары.

— Откуда-же узналъ ты мое имя и отчество? спросилъ я, здороваясь съ нимъ.

— Слухомъ земля полна, улыбаясь, отвѣтилъ онъ. — Просимъ милости... присядь-ко, гостенецъ будешь, говорилъ онъ, поспѣшно стирая руками пыль съ лавки. — Усталъ, поди, съ непривычки-то: вишь, у насъ горками все дорога-то идетъ... а ты ишо и съ грузовцемъ? съ участіемъ говорилъ онъ, не безъ ироніи намекнувъ, однако-жъ, на поставленный мною на лавку большой саквояжъ съ провизіей и платьемъ на случай холода. — А сапоги-то захватилъ съ собой аль нѣтъ?.. спросилъ онъ.

— Какіе сапоги?..

— Аль ты въ этихъ на охотку-то пойдешь? говорилъ онъ,



указывая на бывшіе на мнѣ тонкіе опойковыя сапоги съ каг-  
лоцами.

— Въ этихъ.

— Оой... ой... Эко, я вѣдь дуракъ какой! крикнулъ онъ,  
съ сердцемъ почесавъ у себя въ затылкѣ. — Забылъ вѣдь  
парню-то наказавъ, штабъ ты обувью-то покрѣпче занася...  
Измокнешь вѣдь ты въ этихъ-то сапогахъ... Храни Богъ, еще  
застанешься...

— Развѣ около озера-то сыро?

— Тонь... болотина... Къ озеру-то, по крайности, сажень  
тридцать надо зыбуномъ идти, почесавъ же колѣно въ водѣ...  
Эко горе-то какое, а... а?... Не наказавъ парню-то... Ну, на-  
дѣвай уже мѣн, рѣшилъ онъ.

— А ты-то въ чемъ же пойдешь?..

— Мнѣ што-о... Я и босой пойду... Обо мнѣ не тужи...  
Привычны...

— Ну, вѣтъ, я ужъ въ своихъ пойду...

— О-о!.. Измокнешь вѣдь... застанешься...

— Не бѣда!..

— А-а-а... Ну, смотри, голубь, какъ-бы потѣха-то не ска-  
залось опосля... Ты меня-то не жалѣй: мы-то, братъ, при-  
вычны, мы и по льду босые ходимъ, да не студимся, а твое  
дѣло совсѣмъ иное, поберегайся!.. Ну, да коли што, такъ я  
тебя на себѣ донесу... подмагу... Ужъ это мой грѣхъ, што  
не наказавъ парню, штабъ ты обувью-то покрѣпче занася!..  
А удочки-то есть у тебя! спросилъ онъ.

— Есть.

— Покажь-ко?..

Я вынулъ изъ саквоза кунценыя мною въ Петербургѣ  
изящныя бѣлаго волоса лески, намотанныя на камышевыя  
пластинки, съ маленькими острыми крючками и дробняками  
вмѣсто грузева, и подаль Ефиму. Взявъ изъ рукъ мѣнъ лески,  
онъ молча разматывалъ ихъ и, подергавъ леску между пальцевъ,  
пробуя крѣпость ея, раза два скептически покачалъ головой

и потомъ, такъ-же молча, намоталъ ихъ на камышъ и подалъ мнѣ. Пока онъ производилъ осмотръ лесы, я, въ свою очередь, всматривался въ него. На видъ Ефиму было не болѣе сорока лѣтъ; росту онъ былъ средняго, плечистый; засученные по локоть рукава у синей холщевой рубахи, сильно пропотѣвшей на спинѣ и груди, обнажали мускулистыя руки, густо поросшія волосами. Толстые, короткіе пальцы его, покрытые скорѣе темно-сѣрою корою, а не кожей, съ трудомъ сгибались, до того была прочна и упруга покрывавшая ихъ кора. Густые, темно-русые волосы на головѣ, вившіеся кольцами, совершенно почти закрывали лобъ его, замѣтно сильно изрытый морщинами; борода и усы закрывали нижнюю часть лица. Смуглыя, загорѣлыя щеки также начинали бороздиться морщинами. Изъ сплошной массы волосъ рѣзко выдѣлялся только толстый носъ Ефима съ широкими, раздувавшимися ноздрями, и большіе сѣрые глаза, въ которыхъ просвѣчивала странная смѣсь простосердечія и нахальства, лукавства и добродушія. Иногда я подмѣчалъ въ нихъ затаенную насмѣшливую злость, и, признаюсь, въ эти минуты выраженіе лица его было крайне несимпатично. Вообще замѣтно было, что Ефимъ—человѣкъ себѣ на умѣ и нѣкоторая доля осторожности, при разговорѣ съ нимъ, была не излишня. На мысль объ осторожности меня неволью навелъ взглядъ Ефима, брошенный имъ на жену свою, когда она вошла въ избу и поздоровалась со мной. Не знаю, можетъ быть я и ошибаюсь, но, какъ казалось мнѣ въ ту минуту, взглядъ этотъ ясно говорилъ: „А, чай, за разговоръ-то съ бариномъ можно кой отъ-кого деньгу получить!“ Особенно меня смутило то, что Ефимъ быстро, и почти незамѣтно, мигнулъ ей. Признаюсь, мнѣ стало неловко и вѣстѣ больно, больно за развратъ, какой вносится различными порядками въ эту темную среду, заѣденную безысходной нуждой.

— Ну, что, годятся-ли мои удочки? спросилъ я, когда онъ подалъ ихъ мнѣ.

— Ссужены, чего сказать, отгѣнно: машинная работа, съ видомъ знатока произнесъ онъ. — А только съ этой лесой въ наше озеро не суйся... У насъ вѣдь рыба-то не шутитъ... и не экую лесу оборветъ.

— Брунная развѣ?

— Рѣзва!.. У насъ рыба-то по аршину есть... Пойдетъ тебѣ подъ зорьку погуливать, по озеру играть-то, такъ отъ плесу-то словно, слышь, музыка въ ухахъ-то гудеть... Вотъ какая рыба!.. Такъ идемъ што-ль? спросилъ онъ.

— Пойдемъ.

— Ну, Господи благослови! произнесъ Ефимъ, вынимая изъ кучи ветоши въ углу занесенный армякъ, сплоскъ почти усѣянный прорѣхами, надѣлъ его на себя и застегнулъ около ворота на двѣ пуговицы, изъ которыхъ одна была костяная, а другая мѣдная, артиллерійскаго вѣдомства, съ пылающею гранатою и двумя скрепченными подъ гранатою пушками. Опоясавшись тоже скорѣе остатками опояски, тѣмъ опояскою, онъ снялъ съ гвоздя цилиндръ и надѣлъ его на голову. Затѣмъ онъ досталъ изъ подъ лавки коробку отъ сардинокъ, въ которой, по всей вѣроятности, заключены были черви, и спустилъ ее въ карманъ армяка. Я всталъ и взялъ-было саквояжъ въ руку, но Ефимъ, не говоря ни слова, вырвалъ его изъ руки моей, какъ показалось мнѣ — съ нѣкоторымъ недовольствомъ за намѣреніе мое обременять себя ношей, и, не сказавъ ни слова женѣ, пошелъ изъ избы. Простившись съ ней, я послѣдовалъ за нимъ, и, провожаемые толпою дѣтей, все время терпѣливо стоявшихъ около избы, въ ожиданіи, чѣмъ кончится визитъ мой къ Ефиму, мы молча вышли изъ деревни и, спустившись подъ гору, пошли правымъ берегомъ рѣки Брикшы.

— Чудная, слышь, у насъ рыба, неожиданно началъ Ефимъ, остановившись и поджидая меня, такъ какъ я не успѣвалъ идти за нимъ.— Въ ину, слышь, пору сама на крючекъ-то лѣзеть, не успѣваешь справиться съ ней, а въ ино-то

время — сиди-и-мишь; сидишь, и хоты-бы ты на смѣхъ червя  
прошла... а?

— А ты на червя удишь? спросилъ я.

— На червя.

— А мнѣ Аггеичъ сказывалъ, что ты на слово рыбу-то  
ловишь.

— О-о!.. Неужь онъ сказалъ тебѣ это? удивленно спро-  
силъ онъ. — На слово, хе!.. насмѣшливо произнесъ онъ. — Ну  
и балагу-урь! На слово!.. Нѣтъ, братъ, по нашимъ мѣстамъ,  
другъ ты мой, слово-то плохая наживка... сытъ съ него не  
будешь, говорилъ онъ, уменьшая шагъ и идя рядомъ со мной. —  
Тебя-то какъ-разъ на слово поймають, а ужь штобъ ты на  
слово живность выудилъ — ни-и-и въ жизнь!..

— Аггеичъ сказалъ мнѣ даже, прервалъ я его, — что ты  
на слово-то такую форель выудилъ, за которую тебѣ какой-то  
баринъ десятину земли отдалъ; правда это? спросилъ я.

— На слово форель поймалъ! насмѣшливо качая головой,  
повторилъ Ефимъ. — А-ахъ, ты, старый шутъ, а?.. Ну, и  
пу-у-уть!.. На слово форель поймалъ!.. Это, ужь коли хомъ  
ты знать, было такое дѣло... точно... оттятали мы у Максима  
Яновича, барина нашего, десятинку за форель. Но штобы на  
слово ее ималъ кто — и примѣру не было!.. Не такова эта ры-  
бина, штобы на слово клюнула! заключилъ онъ.

— А какъ-же вы десятину-то оттятали, расскажи!

— Оттятали-то? повторилъ Ефимъ и, осмотрѣвъ меня нежеса  
насмѣшливымъ взглядомъ, тряхнулъ головой, отчего надбвный  
на ней цилиндръ слегка покачнулся. — Дѣловъ у насъ съ ба-  
рами, Миколай Ивановичъ, много было, произнесъ онъ вмѣсто  
отвѣта. — Ты въ первой, што-ли, въ наши-то края поехалъ?

— Въ первый разъ.

— А-а! протянулъ онъ. — А что-жъ ты самъ-то будешь?  
Помѣдиль, што-ли? спросилъ онъ.

— Нѣтъ.

— Вольный, стало-бытъ, чомовѣль?

— Да...  
 — А-а-а! снова протянул онъ, неosesа осмотръть меня интливимъ взглядомъ. — Стало-быть, ты служивый человекъ аль такъ, въ прижѣру, на своемъ поштѣ будешь, а? снова спросилъ онъ.

— Служилъ, а теперь въ отставкѣ.

— Пенцией живешь?

— Нѣтъ, не получаю.

— А-а!.. протянул онъ. — Какъ-же ты теперь — во гортовой части аль какъ, при какомъ дѣлѣ-то будешь? продолжалъ онъ допрашивать меня, все болѣе и болѣе укорачивая шагъ свой. — Я вѣдь, Миколай Ивановичъ, ма то болѣ спрашиваю тебя, што шибко-бы намъ надоть этого человека, слыши, письменнаго, неожиданно заговорилъ онъ, какъ-бы объясняя причину своихъ допросовъ. — Обидь-то у насъ много, милый, мно-о-ого обидь накопилось. Теперь, сваяу тебѣ, такъ ма слануты, такъ слануты... помирай... одно тебѣ слово... Ну, вотъ, про десятину эту, коли повести рѣчь, што у Маисима Явовляча отягали мы. Вѣдь мы этой десятинкой-то теперь почестъ кормимся. Надѣла то намъ, братецъ, отрѣзали — не подступисъ: или галька, или кочварникъ... вотъ и цапкисъ, кормисъ какъ знаешь... Лѣску тебѣ хопь-бы вкрутокъ какой попалъ... отапивайся, собирай сугреву! Вѣдь у насъ, милый, каждая древесина съ кушпи, а порубилъ коли ты дерево въ барской дачѣ, въ су-у-удѣ тащутъ п штрафъ-то, оъ теби возьмутъ, и дерево-то отберуть, и съ топоромъ-то простишь!.. Вакъ и живи какъ знаешь... Живи-и-и! протянул онъ и, едернувшись головы цилиндръ, нервно почесалъ у себя въ затылкѣ и, вычистивъ носъ первобытнымъ способомъ — посредствомъ пальца, снова надѣлъ свой цилиндръ и ускорилъ шагъ подъ влияниемъ охватившаго его волнения.

Пропидака, вивнаяся по обрывистому берегу Криккимъ, привела насъ къ крутой, почти отвѣсной горѣ, и мы стали подниматься на гору, придерживаясь за малый частый берегъ.

някъ и ольху роспіе по уступамъ. Поднявшись, я остановился отдохнуть и полюбоваться пейзажемъ, раскинувшимся предомной. Глубоко внизу текла Брикша, замкнутая съ обѣихъ сторонъ высокими, крутыми берегами, то теряясь въ заросляхъ березы и ольхи, вершины которыхъ, шатромъ нависши надъ ней, какъ-бы защищали ее, то выбѣгая изъ зарослей на равнину. Она клубилась и пѣнилась среди камней, заграждавшихъ ей путь. По обѣимъ ея сторонамъ глазъ обнималъ на далекое пространство волнообразные холмы, ярко зеленѣвшіе отъ молодыхъ всходовъ озимаго хлѣба или испещренные правильными квадратами буро-краснаго цвѣта, засѣянными яркими хлѣбами, всходы которыхъ были еще слабы. На холмахъ, какъ муравейники, были раскиданы небольшія деревенки и кой-гдѣ видѣлись усадьбы съ примыкавшими къ нимъ садами и пристройками. Солнце уже закатывалось, и легкія перистыя облака, окрашенные въ золотисто-розовый цвѣтъ, слегка задергивали небосклонъ, кидая тѣни на обнаженные холмы и густые лѣса, тянувшіеся вдаль сплошною стѣною. Поднявшись на гору, Ефимъ опустил саквояжъ на землю и сѣлъ на край горы, свѣсивъ ноги внизъ. Сдернувъ съ головы цилиндръ и положивъ его около себя, онъ досталъ изъ-за пазухи армяка засаленный бумажный свертокъ и, свернувъ изъ писчей бумаги папиросу, закурилъ ее.

— Глянь-ко, лѣсовъ-то сколь у насъ: кругомъ заросли ими? произнесъ онъ, обратившись ко мнѣ, когда, закуривъ папиросу, я сѣлъ около него.—А спроси кого хошь, дали-ли мужику хошь прутокъ какой, а... Коли клинъ-то въ избу тебѣ понадобится вбить, и тотъ поѣжай купи... все съ кушли... все съ кушли!.. Огрѣвали, братъ, такъ, што и-и-и Боже мой!.. Вотъ я тѣ про десятинку-то сказать хотѣлъ, — послушай, да и обсуди — по Божески-ли дѣлали дѣло началъ онъ. — А нашъ то баринъ, Максимъ Яковичъ, не чета другимъ, — добрый всѣхъ, почестъ, будетъ, — и тотъ, братъ, какъ поля-то вышла, все подъ свой ноготь пошолъ грести...! Огрѣ-

зали намъ земли-то, по раздѣду-то, въ тѣ поры хопь рукой махни... Не обида-ль?.. Мы къ нему: такъ и такъ, мошь, Максимъ Яковличъ, служили мы, мошь, и отцу, и дѣду твоему безперечь праву... Служили, што сказать, въ потѣ лица. Ну, теперича, мошь, и ты уважь насъ, не обидь, веди дѣло не Божьи!.. Обидь мы отъ тебя не хотѣмъ и самимъ тебя обижать въ помыслѣ нѣтъ. Землицей, говоримъ, ты насъ обдѣлишь, што сытъ не будешь... прикинь... отдай намъ хопь тѣ двѣ десятинки, што къ мельницѣ подошли... вѣкъ, мошь, твои слуги будемъ... Не отдасть!.. Мы въ ноги... У-у-уперся, и хопь-бы тѣ слово даль сказать; такъ и ушли, повѣсивъ головы. Ну, ду-у-умали, думали, и такъ и этакъ прикидывали... нѣтъ... во всемъ неустойка. А дѣло ужь къ ночи. Я, признаться тебѣ, и отшатись это, уйди къ себѣ въ избу. Только вдругъ, гляжу, деревня-то всемъ обществомъ ко мнѣ валить. „Служи, говорить, Ефимъ, службу міру“. „Што-жь, мошь, служить не прочь, лишь-бы послуга-то впрокъ шла!“ „Подь, говорить, выуди форець; поднесемъ ее обществомъ Максиму Яковличу, авось онъ снизойдетъ къ намъ за наше уваженье“... „Удить—такъ удить. Господи, мошь, благослови“, говорю имъ. А у меня, Миколой Иванычъ, скажу тебѣ, съ измальства ужь такъ повелось, — куды-бы я, братецъ, ни шоль, а удочки за- всегда при мнѣ, въ карманѣ. Съ измальства ко мнѣ пристрадка-то удить привилась, и теперича, не хвалясь скажу: опричь меня по здѣшнимъ мѣстамъ ты никого не найдешь, кто-бы тебѣ мѣста указаль, гдѣ рыбѣ водь. Не найдешь!.. Бесъ я ее свычай и обычай постигъ, вѣрь!.. Ну, што тебѣ скажу: што есть рыба? Тварь... а вѣдь сколь въ ней этого ума сидить, сколь это она хитра... нну, диво даже!.. Теперича вотъ Агтемъ тебѣ сказалъ, што я слово быдто экое знаю, на какое рыба идетъ. Нѣтъ, милый, словомъ тутъ ничего не подѣлаешь, а што рыба идетъ ко мнѣ — похваюсь... и-идеть!.. Вотъ ты рядомъ со мной сиди,—у тебя и червя не

попознать, а у меня клеветъ, а-а? произнесъ онъ, обведя жемчужнослезливо въ взглядомъ.

— Чѣмъ-же это объяснить? спросилъ я.

— Сяди-ко вотъ ты, коли ты и въ заборъ рыболовъ, а?..

— Не знаю...

— И не скажешь, а и дѣло-то, братъ, не хитрое, плевое дѣло, а вотъ не скажешь!.. Вынутить ее, милый, надо... Коли вынутить ты ее, ну, ты и господинъ надъ ней, баринъ... безъ кличу къ тебѣ подойдетъ, отвѣтилъ онъ.

— Да какъ же это вынутить ее?.. Что значить слово-то „вынутить“...

— А стало-быть—нутри ее съознать, всю эту хитрость ее проникнуть... А хитра-а-а!.. Годы, милый, надо на это, годы... Ты съ рыбой не шути: лл-о-овка!.. все болѣе и болѣе воодушевляясь, говорилъ онъ.—Я тебѣ уже поспажу про нее, по-остой, дай время, увидишь, сколь эта тварь въ разумѣ! говорилъ онъ, свертывая новую папиросу и закуривая ее.— „Ну, удить, говорю, такъ удать!“ началъ онъ послѣ минутной паузы, продолжая прерванный отступленіемъ разказъ свой.— Сборы мои не велики: положилъ краюху хлѣба за пазуху, копнулъ разъ-два червотычиной подъ огородемъ—и готовъ: благослови, моль, Господи, братцы... иду!.. „Съ Богомъ, говорять; выручай тебя Микола милосливый!“ Иду... Вотъ этой-же самой дорожкой и пошелъ; версты три ей-то считаемъ до озера... Ну, приполъ на озеро... размоталъ лесу... навязалъ на удилица, и забросилъ, благословясь... Забросилъ и сажу... Сажу, ча-а-ась; друго-о-ой... хонь-бы тѣ на смѣхъ вотъ полавковъ дрогнулъ... Вынулъ уди, нацѣлъ на нихъ новаго червя, перекрестился, забросилъ съизнова и жду: поплетъ-ли Господь за наши слезы двѣ десятияки, аль нѣтъ?.. Жду!.. Вижу, милый, ужъ и зерька играть начинается. Сажу, глазъ тебѣ съ полавковъ не спущаю: нѣ-ѣ-ѣтъ... хонь-бы тѣ вложули они. Сажу, а у самого, братецъ, такъ это и течить сердце. Ну што, моль, паче чего неустойка, а?.. Какъ, моль, быть?..



Бидь двѣ десятины што ни лучшей земли кормилицы отряхуть у насъ, а? Взмолился, вѣрь мнѣ не вѣрь... Владыко, мой, милосливый, отпусти прегрѣшенья! Нѣ-ѣ-ѣть, хощь-бы тѣ воть плеснула на оверѣ-то!.. Гляжу, ужь и солнце взошло, а ужь кола, братъ, солнце взошло, да не было тебѣ клеу за ночь, такъ ужь жди не жди — все единственно, не клѣонеть: сыта, звать... нажралась!.. И такое-то меня, братецъ ты мой, взяло въ тѣ поры сокрушенье... разорваться-бъ!.. А-а-ахъ ты, думаю, мужичья-то доля, а?.. Словно и сила-то небесная супротивъ тебя зубъ точить!.. Ну, рѣшилъ вернуться... Чего болѣе оставалось-то?.. Вынулъ это одну-то уду, сталъ лесу-то отвязывать отъ удилица; глянулъ это ненарокомъ на другую-то уду, а поплавокъ-то у нее брызгаетъ по водѣ... и мигнуть не успѣлъ, какъ и удилице въ воду потащило... Бросился я... схватилъ его въ руку, чую—пре-е-еть его изъ руки-то у меня!.. Ну и рыбина! думаю... „Стой, говорю, сразу-то тебя подтянуть — и лесу оборвешь, — видать — звѣ-ѣ-ѣрь“, а у самого сердце такъ и замерло. Вотъ я ее къ берегу это нарочно подтянуть, а она меня въ воду волочетъ... пре-е-еть, слышь, какъ есть претъ!.. Рѣзнетъ это вправо аль влѣво, такъ только волна по озеру-то пойдетъ!.. Нѣтъ, думаю, вре-е-ешь... Я тѣ наперво упыхаться дамъ, да отосля ужь выволоку тебя, когда ты силой ослабѣшь... Да никакъ, слышь, съ часъ время-то, Миколай Иванычъ, я за ней по берегу-то бѣгалъ: рванетъ это и, словно игла, понесется въ водѣ-то, а я за ней по берегу бѣгу... Ухлюпалел, скажу тебѣ, до-поту... Ну, вижу, едаеся: и дергать стала слабѣй, и лесу отпущать начала. Вотъ тутъ ужь я ее съ исподтиха и поволо-о-ожь... Такъ ужь когда это выволокъ я ее почестъ на самый берегъ, такъ она испно, слышь, какъ плеснула хвостомъ-то; такъ какъ есть съ головы до ногъ водой обдала меня... Четвертей шести росту... же звѣрь-ли, а?

— Форель?..

— Форель!.. И столь-то это; братецъ, уверная была!..

Красота! Словно, слышь, красныя-то пятнышки по ней полкомъ кто ткалъ!.. Не диво-ль?.. Живую я и донесъ. Бѣжалъ-то съ ней, языкъ высунувъ, потому, суди, вѣдь двѣ десятины міру-то несъ... А вѣдь по нашимъ мѣстамъ экой земли ты за двѣсти рублей десятину не купишь... Побѣжишь съ экой-то находкой, отколь и пруть возьметса!.. Ну прибѣгъ... Глянулъ какъ міръ, какую имъ посылочку-то Господь послалъ, такъ только перекрестился! Сію-жь, братецъ, минуту, ни мало стало быть не медля, приоблоклись мы кто во што почище и—къ барину... Пришли въ усадьбу... допустили насъ... Вотъ староста... въ эту пору-то Антонъ Федорычъ ходилъ, померши теперь... и поднесъ ему эту форельку-то и говорить: Такъ и такъ, моль, Максимъ Яковличъ, прими де отъ нашихъ щедротъ“. Увидѣлъ онъ, слышь, рыбину-то, такъ инда глаза у него загорѣлись, потому шибко онъ до рыбы-то охочъ... Лаконка!.. „Вотъ, говорить, спасибо ребята вамъ, спа-а-сибо!.. Уважили!..“ „И ты ужъ моль, насъ уважь, Максимъ Яковличъ, одолжи, въ голосъ почеть заговаривали мы,—пожертвуй намъ двѣ-то десятинки, што къ мельницѣ прилегли; для тебя, говоримъ, Богъ и рыбу-то экую послалъ намъ... не обездожь!..“ Поераснѣлъ онъ это, что кумачъ, прошелся, слышь, раза два по комнатѣ: видать это—и земли-то жалъ ему, и почеть-то отъ насъ дорогъ, а паче, можетъ, рыбины-то жалъ... ди-и-и-е-овинная была... Ну, походилъ, походилъ это по комнатѣ,—а мы стоимъ,—поерошилъ это водосы свои и сталъ вдругъ чередъ нами какъ вкопанный. „Ну, говорить, ребята, не хочу я васъ обидѣть, не хочу съ вами ссориться... десятину возьмите, дарю вамъ, а болѣ не могу и не дамъ, просите не пресите“... Мы, было, въ ноги, а онъ и дверь, почеть у нашего носу, захлопнулъ... Такъ и не даль!.. закончилъ Ефимъ.—Такъ вотъ они каковы, господа-то у насъ, были, произнесъ онъ, заправляя выбившіяся изъ-за голенищъ холщевыя шаровары.—О-охъ, посказать, братъ, есть чего... Отдохнулъ, шло-ли?.. спросилъ вдругъ онъ.

— Я готовъ...

— Подемъ-ко!.. Намъ-бы засвѣтло только доброду дойти, а те въ потемочкахъ-то тамъ шибко не ладно... грязно... убродно! говорилъ онъ, вваливая на плечи саквояжъ и идя впереди меня.—Какъ хватали, какъ жадничали! снова началъ онъ, оглядываясь по временамъ на меня, какъ-бы желая удостовѣриться, слушаю-ли я его.—Страсть!.. А куды все пошло, — спроси!.. И мужика-то, братецъ, въ нуждѣ утопили, и сами-то не воскресли. Вѣришь-ли, голоднѣй насъ живутъ...

— Помѣщики-то?..

— Ну... ну... Господа-то-дворяне!.. насмѣшливо оглянувшись на меня, отвѣтилъ онъ.—Вотъ какъ поднимаемъ мы на тотъ вонъ мысокъ, говорилъ онъ, указывая на виднѣвшійся впереди высокій холмъ, заросшій густымъ лѣсомъ,—такъ оттелева я покажу тебѣ погостъ А—во... Бо-о-огатый погостъ... У покойнаго-то барина три тыщи душъ въ кабаль-то было. Бо-о-гачъ былъ. Такъ дочка-то его въ дѣвкахъ, слышь, посѣла, въ А—вѣ живетъ теперь... такъ вѣришь-ли, Миколай Иванычъ, поѣсть въ ину пору нечего. А вѣдь сколь земли подъ ней, лѣсовъ, угодьевъ всякихъ...

— Отчего-же она такъ бѣдствуетъ? прервалъ я...

— А какъ собака, прости Господи, на снѣгъ лежитъ: и сама его не ѣсть, и другимъ не даетъ. Продасть, вотъ, лѣсную дачу на срубъ, ну и поживетъ тамъ въ сласть, на скотько хватить, а тамъ и съизнова шлетъ за мной.

— За тобой-то зачѣмъ-же?

— Зачѣмъ? насмѣшливо переспросилъ онъ.—А прокорми, вишь, ее до новой продажи, рыбки ей лови да носи, птицы пострѣлай!..

— И носинь?

— Куда-жь ее дѣть-то? Не принеси, такъ вѣдь и въ забель подохнетъ... безпомощна, что малый младенецъ, а тоже хвалится, слышь, што въ фреляхъ какихъ-то быдто пишется. Вѣришь-ли, все прошлое лѣто и осень кормилъ я ее, Мико-

дай Иванычъ! Счетъ-то во-о-о какой она мнѣ понаписала, говоритъ Ефимъ, разводя руками на аршинъ. — А какъ не приди спросить денегъ,—все нѣтъ да нѣтъ; а вѣдь я самъ, милый другъ, дѣтний человекъ, у меня вонъ за плечами-то вовсемъ ртовъ сидитъ, прокормика! Въ эту пору въ избѣ-то куска хлѣба нѣтъ. Прибѣжишь: „дай, матушка, хоть два-три рубля—мучки купить, перебиться!“ „Нѣту, говоритъ, Ефимъ, нѣту, не безлюкой!“... „Бѣтъ вѣдь, говорю, родимая, нечего!“... „У меня, говоритъ, и у самой, Ефимушка, бѣтъ-то нечего; другой, говоритъ, денекъ на кипяченомъ молокѣ сижу“. Вотъ и получай съ нее, а барыня, фреда! Ну што скажешь а? Нонѣ вимой становой-то меня драть хотѣлъ, што въ податъ ничего не припасъ? „Какъ, говорю, ваше благородье, ничего не припасъ? Я, говорю, припасъ, у меня за восемьдесятъ рублей почестъ долгу на А—ой барынѣ“, и счетъ ему вазу,—она мнѣ и счетъ-то саморучно подписала. „На, говорю, потребуй отъ нее, я и оправлюсь; тебѣ-то она отдасть, а я сколь ни хожу къ ней, все говорю; только лепешки на завтрашнемъ маслѣ ѣмъ“... Осерчалъ!

— За что-же?

— А што, говоритъ, я тѣ за приказчикъ—ѣздить, долги твои собирать? Я, говоритъ, податъ-то въ казенномъ мѣстѣ буду искать, у тебя такъ тогда, говоритъ, ты повернешься у меня я долги соберешь.

— Въ какомъ-же это казенномъ мѣстѣ? полубопытствова въ я.

— Одно у мужика казенное-то мѣсто,—спина! Съ нашимъ-то братомъ вѣдь много не разговариваютъ, Миколай Иванычъ, особливо по нонѣшнимъ-то голоднымъ годамъ: есть коли чего продать,—продадутъ; а нѣтъ, то такъ братъ казенно-то мѣсто вспашутъ, што и-и-и... душу заложить да отдашь! Такъ вотъ и суди теперъ, нашто хватали, обездоливали-то насъ, какой прокъ-то вышелъ изъ этого? Мы-же вотъ и кормимъ ихъ, а-а!

И и, милый, те-ли еще бывало! произнесъ онъ, махнувъ рукою и ускоривъ шагъ.

Мы снова спустились по тропинкѣ поъ гору и, пройдя нѣсколько сажень ложной, въ которой сильно почувствовалась вечерняя сырость, усиленная къ тому-же поднимавшимися испареніями отъ болота, снова стали подниматься на холмъ, или „мысок“, какъ называлъ его Ефимъ. Подъемъ былъ весьма крутъ, къ тому же ноги скользили по изсохшей прошлогодней травѣ, влажной отъ вечернихъ испареній. Схвативъ меня за руку своей могучей жилистой рукою. Ефимъ почти приподнялъ меня въ гору.

— Видать, братъ, што ты городской! смѣясь, произнесъ онъ, видя какъ я едва переводилъ духъ, опустившись на нень, отъ срубленной сосны.—Пеживи у насъ подолѣ, поправившись, ободрялъ онъ, стоя около меня и скручивая папиросу.—Мѣста у насъ хорошия, только нашему-то брату бѣжать изъ нихъ въ нору.

— Самъ-же говоришь, что и помѣщики-то голодаютъ у насъ.

— Тѣ отъ себя голодуютъ, а мы-то, братъ, по поволѣ. Привстанъ-ко, погляди на погостъ-то, пригласилъ онъ, указывая мнѣ на дальній холмъ, на вершинѣ котораго виднѣлась каменная церковь съ высокою колокольнею, золоченый крестъ которой ярко сіялъ въ голубомъ безоблачномъ небѣ.

Лучи закатывающагося солнца отражались въ длинномъ рядѣ оконъ высокаго двухъэтажнаго барскаго дома, отчего домъ казался какъ-будто залитъ огнями. Около дома тѣнились флигеля и другія пристройки, рѣзко выдѣлявшіяся на темномъ фонѣ обширнаго парка, примыкавшаго къ дому и терявшагося въ смѣющейся дали. Холмы, таившіеся террасами, покрытые лѣсами, а нѣкоторые изъ нихъ пашнями, были облиты теперь лучами закатывающагося солнца и топили въ мягкомъ синевато-дымчатомъ покровѣ. Я не могъ оторвать глазъ отъ этого пейзажа, поразившаго своимъ просторомъ, и напоминавшаго мнѣ далекую Сибирь и роскошныя предгорія Алтая съ его

тутними пастбищами и прихотливыми контурами горъ, покрытыхъ вѣчными снѣгами. Отдохнувъ, мы снова пустились въ путь. Тропинка, извившаяся среди мелкаго березника, ольхи и мѣстами ельника, привела насъ, наконецъ, къ довольно топкому болоту, и неbolѣе какъ черезъ часъ мы снова поднялись на гору, у подошвы которой лежала цѣль нашего путешествія, — озеро, называемое „Глухимъ“.

Мѣстность около озера была утрюмая, пустынная. Окаймленное со всѣхъ сторонъ горами, заросшими густымъ лѣсомъ, озеро лежало на днѣ глубокой долины, точно какъ зеркало отражая въ неподвижныхъ водахъ своихъ лѣпившіяся на кручѣ горъ высокія сосны и ели. Тонкій бѣлый паръ слегка растянулся надъ озеромъ, изрѣдка волнуясь, точно отъ прикосновения чьей-то руки, старавшейся приподнять эту прозрачную завѣсу.

— Зорьку-то ужъ пропустили; теперь закинь удочки да и гляди на нихъ до разсвѣта! ворчалъ Ефимъ, разматывая свои толстыя лесы и навязывая ихъ на длинныя удилица. Нажививъ на крючки червей и закинувъ уды въ озеро, онъ укрѣпилъ удилица въ тонкій берегъ, и мы вернулись къ подошвѣ горы. Выбравъ сухое мѣсто, Ефимъ наносилъ валежнику, и черезъ минуту мы сидѣли у яркаго костра, багровый отблескъ котораго, освѣщая росшія вблизи деревья, еще сильнѣе увеличивалъ окружающую насъ мглу ночи.

— Люблю я вотъ такъ-то, у огонька-то! говорилъ онъ, подбрасывая въ пылающій костеръ сухія смолистыя вѣтви. Чудной какой то норобъ у меня, Миколай Ивановичъ, скажу тебѣ: чего ни стрясись надо мной, какая хошь бѣда, сейчасъ это возьму я удочки и побѣгу, слышь, къ озеру на ночеву, и вотъ зѣ-то, у огонька-то, милый, ровно, слышь, всякое горе съ тебя рукой сыметъ, право! Тихо это кругомъ-то, хорошо, въ листвѣ-то это подъ вечеръ жужмя-жужжить. а мѣ зорькѣ-то и птахи стрекотъ поднимають... ну, словно, слышь, музыка гудеть кругомъ! Слушаешь, слушаешь да ровно и забудешься,

въ думу-то войдешь, размыслишь: одинъ ли ты, стало быть, горе-то на бѣломъ свѣтѣ терпишь; а? Вѣдь экихъ-то, какъ я, можетъ, тыщи тысячъ; такъ къ чему-жь моль это убиваться-то? И ободрись, вѣрь!.. А вѣдь ужъ какъ въ ину пору пристегнуть тебя, умерь-бы!.. Ну взяль-бы и померь!.. Убиваться, милый, это нѣсть паче грѣха, вѣрно-ль говорю?! наставительно произнесъ онъ.

— Вѣрно!

— Вѣрно повторилъ и онъ.— Жить, милый, переищива: худо тебѣ, — ну терпи, выбивайся, измышляй пути; а коли убился ты, распустилъ нюни, ну, пропащій ты человекъ,—ложись и помрай! Вѣрно-ли?

— Вѣрно!

— Такъ-то, братъ, вѣрно, што вѣрнѣй и не скажешь! Я тебѣ, другъ мой, Миколай Иванычъ, вотъ какую побасенку про себя скажу. Это было со мной испод до воли, когда мы подѣ господами жили. Баринъ-то, отецъ-то Максимъ а Яковлича, на оброкъ насъ пуцалъ, ну, и не тѣснилъ, слышь, оброкомъ, правду скажу... чего правда, такъ ужъ што напраслину говорить... не тѣснилъ! Отдай положенный оброкъ, и чего хошь тамъ—твори! Ну, только, маленько позапутался я въ тѣ поры и призапустилъ, слышь, уплату-то. Подходить, братецъ срокъ оброкъ вносить,—нѣту денегъ. Я и туды, и сюды метался, во всё, слышь, щели носъ соваль,—нѣтъ!.. Ахъ ты, горе! Ну, быть, думаю, бѣдѣ! Начешутъ спину!.. Упалъ, слышь, духомъ, ночь не спалъ; ну, забрезжилъ это свѣтъ, поднялся я, вдернулъ полушубокъ и пошелъ къ барину въ усадьбу. „Твори, моль, Господи волю свою! Смидуется ладно, нѣтъ—дери“... Иду! А дорога-то въ усадьбу идетъ отъ насъ по берегу Кривши; сѣвжокъ-то ужъ это стаялъ и ледь-то пронесло, вода-то это грязная въ рѣкѣ, муть; подошелъ я это къ одному омуту, а стрезью-то \*) его, въ водополье-то, весь, слышь, заволокло

\*) Стрель—бистрива.

корягами да сучьями. Дай, думаю, поужу, форель-то любить экая мѣста... Къ барину-то рано исно теперь,—спить... все равно сидѣть-то тамъ аль здѣсь! А ужь я тѣ говорилъ, што куды-бъ я ни шель, удочки и червякъ завсегда у меня въ карманѣ. Ну, оснастился, закинулъ уду; и только, слышь, закинулъ вотъ, до дна почестъ не дошла—клянуло... Вынулъ,—форель! Посадилъ свѣжаго червя, забросилъ, на лету почестъ поймалась! Штожь, братецъ мой, скажу тебѣ, а?! И двухъ часовъ не просидѣлъ я тутъ, какъ обложился рыбой. Полушубокъ съ себя снялъ, полнехонькой полушубокъ набуробидъ ее... Мало! Рубаху скинулъ,—рубаху-то полнымъ-полно наворочалъ рыбой; въ штаны-то ее сколь посовалъ, въ тряпки,—такъ голый и въ усадьбу пришелъ, да не то штобы промерзъ, аль-бо што въ поту! Въ потъ вдарило: вотъ сколь рыбы-то перъ на себѣ, даже задохся! Ну, доложили барину. Пришелъ онъ это на кувню, подивился только покойникъ экому счастью и всю, слышь, купилъ ее у меня, и оброкъ-то съ недоимкой весь покрыть за два года, да исно домой семь рублейъ принесть, а?! Вѣришь?

— Отъ чего-же не повѣрить, вѣрю!

— Не чудо-ль?.. Такъ вотъ, Николай Ивановичъ, я къ тому и говорю тебѣ, сколь она жизнь-то переменчива; сколь это, милый, не подобаеъ духомъ-то падать! Шель на стезжку, такъ и полагаеъ—стегать будутъ, ничего ужь болѣ и не оставалось, а тутъ, глядишь, случай-то и оброкъ заплатилъ да исно и домай съ деньгами я вернулся, а? Вотъ и падай духомъ-то! Теперьча, милый, я тебѣ такъ скажу: ежели нашему брату мужику да духомъ падать, то — умирай, не живи, потому такъ мы сжануты, милый, такъ сжануты, што и продухи тебѣ нѣтъ. Ужь какъ это Господь несетъ насъ, уму удивленье, а живемъ!

— Ну, какъ-же живете-то? прервалъ я.

— Живемъ-то? повторилъ онъ. — А какъ тебѣ, Николай



Иванычъ, сказать... ровно и не живемъ, а такъ во-снѣ быдто мечемся... право! Видѣль ты избу-то мою?...

— Видѣль и удивляюсь, какъ вы зимою живете въ ней?...

— Уму удивленье, и я-то говорю... а живемъ!.. Это, милый, чего я тебѣ скажу, слушай и подивись, сколь это у людей ума-то много. Болѣзть какую-то ждали, въ незапрошлую зиму въ губернію-то нашу; ну, и вышло, братецъ, распоряженье, штобы, значить, мужикамъ чистоту блюсти, безпремѣнно штобъ вольный духъ въ избахъ быть... Ну... слышимъ мы про этотъ распорядокъ и такъ будто сумлѣваемся, одвако, глядимъ, милый, становой это наѣхалъ и пошелъ избы оглядывать. Стало-быть, вѣрно!.. Приходить ко мнѣ, староста съ нимъ, фершалъ изъ больницы... Ладно... А я, слышь, не будь глупъ — вынь солому да тряпки изъ щелей въ потолокъ и въ полу, холодомъ-то и понесло-о, словно изъ прорвы, а я и спрашиваю, такъ-будто, на дурноватости: „достаточно-ли, моль, ване благородіе, вольнаго дуку въ моей избѣ?“ Поглядѣль онъ это на полъ, на потолокъ, покачалъ головой и отвѣчаетъ: „Достаточно, очень, говорить, даже достаточно!“ Махнулъ рукой да и былъ таковъ. Вотъ и суди теперь, — гдѣ-бы спросить: Тепло-ли жить мужику, сыто-ли? Не отъ голоду-ли да холоду болѣзть-то къ нему идетъ? Лѣску-бы на починку избы отпустить, а они вольный духъ въ избу ему напущать вздумали! Да у насъ, братъ, отъ вольнаго-то духу зубъ-на-зубъ не попадаетъ въ избѣ: въ каждую тебѣ щель вольный-то духъ преть, што на оборону-то отъ него и тряпья не хватаетъ, а они еще его напущать вздумали! Такъ-то вотъ и за все у насъ, Миколай Иванычъ... О-охъ, милый, говорить-то коли все тебѣ, такъ голова кругомъ поидеть! произнесъ онъ, отвернувшись отъ меня и, снявъ цилиндръ, почесалъ съ обычной нервною въ затылкѣ.—Да-ка, слышь, папересочку... Я запримѣтилъ, у тебя ихъ дужо напасено...

— А ты вынуть не хочешь-ли съ устатку-то?.. спросилъ я, подавая ему папиросу...

— О-о!.. Неужь у тебя есть?.. какъ-то особенно привѣтливо улыбнувшись, спросилъ онъ, положивъ папиросу за пазуху, вмѣсто того, чтобы закурить ее.

— Есть.

— У-у, какой-ты бывалый, погляжу я, запасливый! А я вѣдь, признаться, милый ты человекъ, сумку-то несъ твою, такъ слышалъ — чего-то въ ней булькаетъ. Чего это, думаю, такое у него плещется тутъ! А оно вотъ чего! Хе... Ну, это, братъ, охотка!.. Испо-бы вотъ рыбины на уху и-и-и... раскумились-бы мы съ тобой. Ну, да, вишь, къ зорькѣ-то не поспѣли! съ соболѣзвующимъ видомъ заключилъ онъ.

— Какъ-бы это раскумились? Что это слово-то значить? спросилъ я, доставая изъ саквояжа захваченный мною ужинъ, булку и бутылку съ виномъ.

— Подружились-бы будто! У насъ въ обиходѣ-то „раскумиться“ болѣе говорить, пояснилъ онъ. — Ты, Миколай Ивановичъ, покаживай къ намъ! говорилъ онъ, глядя, какъ я вынимаю провизию и приготавливаю ужинъ.—Я вѣдь, милый, бывалый парень-то! похвалился онъ.—Около баръ-то выросъ почетъ... до-о-шлые!

— Кто, баре-то?

— Ну... Сколь это баре-то разврату напущали въ насъ, стр-а-астъ!

— Какого-же?!

— Какого хошь, милый. Я вотъ, къ примѣру, тебѣ скажу побывальщину про себя: повадился я съ измальства, милый, на куфню къ барину нашему бѣгать, потому, какъ, значить, тетка моя, стало-быть, сродственница, въ страпкахъ у господъ-то была. А барыня-то, покойница Степанида Ефимовна, и запримѣть мена; какъ увидить, бывало, што я прибѣгъ, и подзоветъ меня сейчасъ въ покои къ себѣ и столь-то это привѣтливо заговорить: „Здравствуй, Ефимушка!“ по щекъ это потреплетъ, сласти какой-нибудь дастъ, пирогомъ аль такъ сдобниной какой ни на есть поподчуетъ и начнетъ, слышь, пытатъ

меня, вывѣдывать, стало-быть, у кого сколько коровъ, куриць, аль иной птицы, и какая корова сколько молока даетъ, и сколько куры кому яицъ нанесли, кто сколько холста наткала за зиму.

— Что-жь, это хорошо: она вникала значить въ вашу жизнь и въ нужды, сказала я.

— Слушай, хорошо-ли еще! почти крикнуть Ефимъ. — Ну, а я, съ малого-то разума, милый, — чего-жь, вѣдь дитя еще былъ,—и ну ей правду-то выворачивать; што у Степана да у Ивана масла-то въ постъ дюже де накоплено, ну и яицъ-то, моль, куры натаскали имъ почестъ по корыту... и болтаю да болтаю. А она,—посуди не вѣдьма-ль!—опосля этого призоветь мужиковъ-то, да и говорить: „вотъ у васъ постольку-то и масла и яицъ накоплено, а вы, говорить, обманомъ скрыли отъ меня!“ Накладетъ имъ оплеушинъ да и отберетъ почестъ все масло и яйца. Ну хорошо-ли это, скажи мнѣ теперь?

— Скверно...

— Вотъ и знай! Ну, мужики-то, милый, съ диву далась: отколь это знаетъ она все, что ни дѣется... И пронохали, што отъ Ефимки, отъ меня, стало-быть, весь сыр-боръ горить... Ну, и выпороли меня въ тѣ поры, и-и-и-и—родитель-то такъ остервенѣлъ, убить былъ радъ: „ты, говорить, за кусокъ пирога душу продаешь, а?“ Памятна мнѣ это, милый, наука была! Такъ съ тѣхъ поръ я шибко, слышь, господь-то остерегаюсь. Этакъ, вотъ, и съ тобой-то, Миколай Иванычъ, выцпешь да, пожалуй, разболтаешься, а ты опосля и того...

— Чего-жь? прервалъ я, удивленный такимъ неожиданнымъ оборотомъ разговора.

— Начальству скажешь аль господамъ-помѣщикамъ нашимъ, што вотъ, моль, Ефимка-то чего про васъ говорить, а? пытливо посмотрѣвъ на меня, спросилъ онъ.

— Ну, если боишься меня, что я передамъ кому-нибудь твои слова, такъ не пей и не разговаривай со мной...

— О-о! Не пить... Да рази можно не пить-то, а?

— Отчего-же, можно!

— Э-эхъ, другъ!.. Какое ты слово-то сказалъ: не нить! Да разе можно не нить-то? Да я тѣ, Миколѣй Иванычъ, вотъ чего скажу, понимай какъ знаешь! коли ты выпьешь-то, такъ ровно, слышь, у тебя праздникъ на душѣ-то, Христовъ, вѣрь!

— Ужь будто такъ хорошо?

— Преподобно, знай! Ну-ко, Госноди благослови, подвеси-ко, произнесъ онъ, сдержувъ съ себя цилиндръ и развязно расправляя усы.

— А если разболтаешься, а я начальству скажу или пошпицамъ, а?..

— Не скажешь!

— Да почему-же ты знаешь, что не скажу?

— Не скажешь, не изъ тѣхъ! Э-эхъ, Миколѣй Иванычъ, ты вотъ такъ и полагаешь, што мужикъ такъ и дуракъ? Нѣтъ, милый, жовги-то наши еще не шумны. Кто-бы ихъ выпупалъ испо—и на свѣтъ не произошелъ! Мы, вѣдь, тоже человѣка понимаемъ... Ты-то не скажешь, нѣ-ѣ-ѣтъ!

— Да почему-же ты знаешь?

— Знаемъ... Птицу-то, братъ, по полету видно... Знаемъ!.. Не скажешь!.. Ты похаживай-ка къ намъ, Миколѣй Иванычъ; мы, милый, душевные люди, похвалился онъ.

— Вѣрю?

— Полагайся, не выдадимъ! произнесъ онъ, дружески ударивъ меня по плечу и, мигнувъ мнѣ, разсмѣялся.

Наливъ въ граненый стаканчикъ водки, я подаль ему. Осѣнивъ себя крестнымъ знаменіемъ, Ефимъ принялъ стаканъ и, пожелавъ мнѣ всякаго благополучія, тихо, съ наслажденіемъ выпилъ его.

— И водка-то у него городекая, словно спиртъ! заключилъ онъ, тряхнувъ головой.

— А развѣ ты пиваль спиртъ? спросилъ я.

— Пиваль! Я вѣдьเสมอ баръ-то, Миколѣй Иванычъ, ко всему навывъ, говорилъ онъ, принимая отъ меня ломоть бѣлой сдобной булки и яйцо.—Эко хлѣбецъ-то какой! произнесъ онъ,

шуная булку.— Мы, слышь, и въ Христовъ день экаго не видимъ, вѣришь, а? Это я ужь ребятамъ возьму, полавомятся, хошь порадуются.

— Такъ ты возьми всю булку, предложи я.

— О-о! Пошто-жь обижать-то тебя!

— Чѣмъ-же ты меня обидишь? У меня еще черныи хлѣбъ есть, возьми.

— Аль взять, а? какъ-то нерѣшительно произнесъ онъ.— Запрыгаютъ ребята-то; у меня, вѣдь, восемь человекъ семья-то, милый... прокормись-ка! Экой-то хлѣбъ и въ Христовъ день не видимъ. Дядя у меня Антонъ Прокомычъ въ ниню время въ Питеръ на заработокъ ходять, такъ въ гостинцы, слышь, въ ину пору ситничку-то принесеть, такъ сколь это у ребятъ радости-то... Ну, возьму ужь эту булку у тебя, скажу, молъ, „нате гостинцы вамъ отъ барина!“ говорилъ онъ, завертывая булку и яйца въ бумагу и кладя ихъ за пазуху.

— Ты закуси-же самъ-то, не чинись, возьми еще яицъ.

— Снесу лучше!

— Снеси, это своимъ чередомъ, а все-таки и самъ-то закуси, вѣдь ты-же ѣсть ноги хочешь?

— Мужикъ завсе ѣсть хочетъ, Миколай Иванычъ; его вѣдь не накормишь, не хлопочи, отозвался Ефимъ;—а ты лучше, коли што, водицы-то поднеси-ко мнѣ: ужь больно она у тебя чудна.

— Что-жь ты только пьешь и не ѣшь ничего?

— Привышны! лаконически отвѣтилъ онъ, выпивая второй стаканъ, на этотъ разъ уже безъ крестнаго знаменія, и, густо посоливъ ломоть чернаго хлѣба, закусилъ имъ. — А, вѣдь, словно, слышь, теплѣй стало! не безъ ироніи замѣтилъ онъ, пожимая плечами. — Это вотъ, Миколай Иванычъ, къ слову скажу я тебѣ, даве ты спросилъ меня,—пиваль-ли я спиртъ? началъ Ефимъ, замѣтно сильно оживившійся и подкладывая сухіе сосновые сучья въ костеръ, и безъ того ярко пылавшій! Пиваль, столько, братъ, перелопаль виница всякаго, што дру-

гой бы и свихнулся, ну а я-то крѣпокъ! Чего вѣдь бывало, Миколай Иванычъ... Знаешь ты аль нѣтъ нашего писаря въ волости.

— Нѣтъ!

— Не зна-ашь? Такъ ты слушай чего я тѣ поскажу: помѣщикъ вѣдь былъ, богатей-то какой, и-и-и Господи! Бывало, къ отцу-то его, покойникъ теперь, въ домъ-то придешь, такъ не знаешь, въ который уголъ тебѣ креститься... Буклы этой, балясины-то, понаставлено было вездѣ, такъ диво! Не разберешь, бывало, икона аль кукла стоять, право! Экипажевъ этихъ сколъ на дворѣ было ка-аретъ, ко-олясокъ почестъ безъ счету; безъ фолетора, слышь, и не ѣздилъ. Ну, сынокъ-то его—Иванъ Васильичъ, писарь-то нашъ теперь, обучался-то, слышь, въ унтерахъ, въ пажее какомъ-то... гусарь, слышь, былъ. Это, какъ родитель-то померъ, онъ и прѣйдъ къ намъ, такъ мы, слышь, съ диву дались, глядя на него.

— Чему-же прерваль я.

— Узору его! Столь, слышь, это узорень онъ былъ весь-то... въ золотѣ, такъ и пышетъ отъ него, словно полымя, жаръ. Ну, какъ прѣйхалъ, слышь, и пошо-о-оль крутить... Крутиль, крутиль, да и докрутился: все, слышь, спустиль. Это, когда у него пированье-то шло, такъ, бывало, въ усадьбѣ отъ господь-то проходу не было: и дневали, и ночевали у него. Вотъ тутъ, милый, и я съ ними спотыкнулся!

— А ты-то какъ-же въ компанію къ нимъ попалъ?

— Попалъ-то? самодовольно спросилъ онъ. — А ты, Миколай Иванычъ, дакъсь мнѣ еще стаканчикъ, будто старое поминаючи, а? неожиданно произнесъ онъ.—Было вѣдь дѣловъ-то; вспомнать-то есть чего! Никакъ ужъ и все? говорилъ онъ, глядя на опустѣвшую бутылку, когда я подаль ему налитой стаканъ.—Ну, и будетъ; баловать-то тоже теперь не ко-время! заключилъ онъ, выпивая стаканъ и прожовывая хлѣбъ.—Попалъ я къ нимъ, Миколай Иванычъ, болѣ за об-

ходительность свою! начал онъ, разворачивая палкою, какъ щипцами, костеръ, чтобы вызвать больше пламя, которое ярко озаряло лицо его, замѣтно раскрасившееся. — Я тебѣ такъ скажу, Миколай Ивановичъ, про себя, што я, милый, не то што, какъ есть вотъ другіе изъ нашей братви, къ примѣру; мужики. Я мужи-и-икъ, да только, братъ, знаю, какъ къ какому человѣку подойти, — это у меня снаровка есть. Теперича хоша охоту возьмемъ и все прочее, — я могу услужить кому хошь, ну и любить меня! Иванъ-то Васильичъ сразу, слышь, какъ прѣхалъ, такъ на меня и напалъ. „Ну, говоритъ, Ефимка, на охоту ѣдемъ, кажи мѣста!“ „Изволь, моль, говорю, баринъ!“ Сейчасъ и прислужусь, ну и любилъ, любилъ меня! Понть, понть, бывало, меня на смерть: не могу ужъ пить, душа не примааетъ, а онъ кричить: „пей!“ „Не могу, говорю, ослобони.“ „Пей!“ кричить тебѣ, да што хошь? Однава, милый, разстрѣлялъ онъ было меня, на волосокъ отъ смерти былъ!

— Какъ-же это такъ произошло?

— Такой былъ человѣкъ блажной; теперя вѣдь только угомонился, какъ горя-то досыта похлебаль, а то и-и-и птица была! Присталъ вотъ такъ-же однава: „пей да пей“, а ужъ я вотъ какъ пьянъ былъ, смерточка подходитъ, а онъ кричить: „пей, а то разстрѣляю!“ „Стрѣлай, говорю, а пить не буду!“ А онъ, слышь, съ моего-то слова цапъ ружье со стѣны, да и бухъ въ меня! Какъ только Господь сохранилъ, диво? Такъ, слышь, дробь-то въ стѣну и влѣпилась, верхка на два выше головы-то, не болѣ. „Живъ ты, аль нѣтъ?“ кричить мнѣ, потому дымъ, и въ глазахъ-то ужъ темно у него, ничего не видать. „Живъ говорю!“ „Вонъ, говоритъ, такой-сякой! Вонъ отселева!“ А ужъ я, сердечный, и самъ-то за добра ума окарачъ ползу изъ хоромины-то: убьетъ думаю. Проспался это на утро, иду къ нему, говорю: „Какъ-же, моль, Иванъ Васильичъ, ты могъ это, а?“ А онъ хо-о-хочетъ только; вынулъ, слышь, пятьдесятъ рублей и говорить: „на, да впредь не

перечь мнѣ!“ Добрѣшею душою человекъ былъ, што сказать! неожиданно заключилъ онъ разсказъ свой. — Маленько вотъ только горе-то настигло его. До чего дошелъ вѣдь, Микозай Иванычъ! какъ прокурить-то все, изъ милости въ избѣ у меня жить, ни штановъ, ни рубахи на тѣлѣ, о сапогахъ и помышлять забылъ, а помѣщикъ!.. Срамота, милый, бывало, какъ по улицѣ-то идти: не глядѣль-бы. Ужъ на што бабы наши, ко всему навывинне—и тѣ прятались... срамота глядѣть! Бывало, дамъ ему какіе ни есть обноски: „на, молю, прикройся, Иванъ Василычъ, по-крайности женскій-то шоль не безславъ“. Возьметъ, и въ кабакъ, и сызнова, глядишь, придетъ къ тебѣ въ чемъ мать родила... што ты будешь дѣлать! Въ ину пору и скажешь ему, не стерпишь: „Иванъ Василычъ, што-жь, молю, ты это сердешный? Есть-ли, молю, стыдъ въ глазахъ у тебя? Кто ты будешь, скажи!..“ „Дворянинъ“, говоритъ. „Неужь, молю, дворянину-то экія качества подходят, што и нашъ братъ, мужикъ, и тотъ-бы со стыда осунулся! Опамятуйся, брось!“ Ну, и пойдешь ему эти резоны приводить. Слушаетъ, слушаетъ и заплачетъ, го-о-орько горько; разведешь только руками, бывало, глядя на него, да и купишь косушечку, штобъ, значить, утѣшить-то его, потому, видишь, што убивается человекъ. Ну, и разопьешь съ нимъ; оно будто и полетче станетъ, и отойдетъ это онъ. О-охъ, помаялись-таки мы съ нимъ, помаялись, што не рады стали! Теперича какая у насъ во крестьянству ѣда, суди! Есть хлѣбъ — и слава Богу, пожуешь; а еще, коли на квасокъ мучки хватить, такъ и... и панъ паномъ! Налилъ его въ чашку, покрошилъ лучку, да такъ-то ли сытъ, што ажно животь пучить... А у него душа не примать ѣды-то этой, потому къ разноседамъ привыкъ... Мало-ль онъ болѣлъ, сердешный, отъ яства-то нашего! Осунулся, што страхъ глядѣть было; думали, помретъ! Пойдетъ это къ кому нибудь изъ господъ: авось, думаетъ, не дадутъ-ли сладенькаго кусочка закусить, а тѣ отъ него на занорь, не примаютъ его, потому, одолѣлъ онъ ихъ.

— Чѣмъ-же онъ ихъ одолѣлъ-то?



— Вишай! Вишай-то, вѣдь, кипѣла на немъ, Миколай Иванычъ, што и намъ-то иной разъ претило. Вотъ до чего дошелъ человѣкъ! А вѣдь сколько добра-то было, и-и и Бо-о-о-же мой! Сколь лѣсовъ, земли, до-омъ какой; ужъ побываешь въ тѣхъ мѣстахъ,—полюбуйся.

— Что-же, онъ продалъ все это? Или за долги отобрали?

— Провалъ! съ какимъ-то неуловимымъ пресрѣніемъ въ голосѣ повтерилъ Ефимъ. — Кабы продалъ-то, все-жь-бы хоть дѣмгу получили, хоть-бы рубъ да получили, а то проигра-а-лъ, въ карты проигралъ!

— Кому-же?

— Своей-же братьи, дворянамъ. Подполтъ его, бывало, сердешнаго, да и пойдуть трепать: дача за дачей—только летить, бывало! Попользовались отъ него; дай имъ Богъ здоровья, а опосля и ворота отъ него на запоръ! Вишай, вишь, одоужмалъ ихъ, а кто вишай-то напустилъ на него; до вишай-то довелъ, а? Ну-ка, отвѣтъ! всмѣчивъ на ноги, взволнованнымъ отъ негодованія голосомъ спросилъ Ефимъ.

— Кто-же? спросилъ я.

— Они! рѣзко отвѣтилъ онъ.—А исподъ дворяне прозываются. Кто его опосля кормилъ и поилъ, когда ужъ общинали-то они его, а? Мы, мужики, што ни синь пороку отъ него не видали, а! Ну, што скажешь!

— Чего-же сказать-то!

— Хорошо мы дѣлали, аль нѣтъ, а?

— Конечно, хорошо.

— То и есть! Намъ-бы его вотъ дубьемъ надоть отъ себя-то гнать: коли, молъ, ты дворянинъ, такъ и знай свою дворянскую компанію, а въ наше поганое корыто съ благороднымъ рыломъ не лѣзь. А мы, вотъ, кормили его, одѣвали, обували, пршзрѣли; ну, это какъ не твоему! Худо, аль хорошо!

— Хорошо... доброе дѣло сдѣлали.

— Есть-ли, стало-быть, душа-то въ насъ?

— Безъ сомнѣнія, есть!

— А-а-а, есть... Такъ за што-же насъ поносятъ-то, а-а? Ну, ты вольный человекъ, городской, скажи ты мнѣ по душѣ, за што?

— Да кто-же поносятъ-то васъ?

— Помѣщики! Вотъ ты побалаяй-ко съ ними, чего они тебѣ скажутъ про насъ: и свины-то мы, и няницы, и лѣнтяи, и воры-то, и мошенники, и-и-и... какихъ только качествъ нѣтъ при насъ!.. А кто болѣ пьетъ, они аль мы, а-а? Ну-ко! Не онъ-ли, вотъ, свины-то настоящая, а? Онъ, вотъ, наноситъ свою-же братью, дворянина, въ карты его обыграетъ, пьянаго-то, да опосля его-же и въ шею отъ себя гонитъ, потому, говорить, вши на тебѣ много. А мы вотъ, свины-то, вшей-то его не погнушались, а призрили его! Мы-то, вотъ, отъ него и синь пороку не видали, окромя безобразій, а кормили его и поили, да мы-же вотъ, вишь, и свины по ихнему-то выходимъ, а? Э-эхъ, дворяне! произнесъ онъ, искоса обведя меня суровымъ взглядомъ.—Теперича, если разобрать по настоящему все-то, какъ-бы слѣдовало, такъ словъ-то не найдешь разговаривать, право, говорилъ онъ, снова присаживаясь къ костру. Теперича, если взять къ примѣру эту матерью: придиты къ какому ни есть изъ нашихъ господъ, посудачь ему, што нужда де тебѣ настигла, и послушай, чего онъ скажетъ, а! Попробуй-ка, вотъ, потолкуй съ ими, коли приведетъ Богъ, чего услышишь!

— А что-же они говорятъ?

— Въ одно слово, братъ трубить: лѣнтяи, да и на тебѣ! Мужики, вишь, лѣнтяи, потому и бѣдуютъ. А они вотъ рабочіе люди, а? Э-эхъ! произнесъ онъ, нервно почесавъ въ затылкъ.—Нѣтъ, братъ, Иванъ Васильичъ, какъ потрепало его горемъ-то, да извѣдалъ онъ нашей-то жизни да работы, сколь она скусна, такъ не то, братъ, теперь поетъ. Теперь у него, братъ, милѣй мужика человека нѣтъ, и женился-то на крестьянкѣ, да-а-а! Дворянки-то наши, когда онъ богатъ-то былъ, хвосты за нимъ обивали, чего, слышь, сказываютъ, дѣлали, штобъ приголубить-то его, смѣ-ѣ-ѣхъ! Знахарокъ-то всѣхъ подкунали,

ворожи! Слыхаль? А дворя-я-нки! Да хуже мужичекъ въ ворожбу-то вѣрують!

— Да правда-ли это? прервалъ я.

— Правда! Съ чего мнѣ врать-то? Да какъ ни ворожили, а вишь вотъ не выворожили. Судьбы-то, братъ, знать: не объѣдешъ. Ни одна въ тѣ поры не приглянулась ему; а когда онъ прокутился-то, да безъ штановъ-то ходилъ, такъ тогда ужъ на него и глядѣть-то не хотѣли. Мужичка-же вотъ не побрезговала, обмыла, да обчистила его и человѣкомъ сдѣлала. Какъ женился и словно, братъ, отрубилъ: вина-то въ ротъ теперь не беретъ, и фатерка у него таперича есть, и занавѣсочки-то вонъ на окна она ему повѣсила, и одѣть-то онъ не плошь людей. Мы-же вотъ мужики и мѣсто-то писаря ему дали; служить, и радѣтельный, радѣеть объ насъ! Э-эхъ, Миколай Иванычъ, то-ли-бы еще тебѣ посказать надо. Заходи уже къ намъ.

— Зайду!

— Заходи!.. Раскумимся, милый, всю тѣ подноготную выворотимъ, накипѣло, братъ, у насъ! вздохнувъ, произнесъ онъ.

— Чего-жъ накипѣло-то?..

— Ужо все узнашь; дай-ка папереску! Эту, што ты мнѣ даве далъ, я ужо дома покурю, пуцай баба-то понюхаешь хорошей вони. Вотъ, братъ, баба у меня, скажу тебѣ, ну, ба-аба!

— А что-же, хорошая женщина?

— Союзная!.. Даромъ што баба, братъ, а такъ скажу тебѣ: человѣкъ. Ей Богу! Ужъ мы-ли, братъ, не терпимъ? Вѣришь, Миколай Иванычъ, ино время перекусить нечего, ей-Богу! Хошь палку гложи, да и ту еще поди купи прежде. Горе, во-отъ какое горе! „Ну, што, говорю, баба?“ — „Чего, говорить, Ефимушка?“ — „Водицей, говорю, зубы-то, што-ли, пополощемъ, а?“ — „Пополощемъ, говорить, Ефимушка!“ Ей-Богу... и хошь-бы тѣ слово супротивное вымолвила, а въ работѣ, братъ, — звѣрь! Супротивъ ее ни одинъ мужикъ въ косьбѣ не угонится, о-огонь! А-ахъ, братъ, разгуляться-то только ей негдѣ!

— Какъ это разгуляться?

— Хоаиствовать-то! Теперича вотъ передъ весной коровку продать; взвыли, какъ повели ее со двора-то! А чего подблаещь? Сѣно, што было въ запасѣ, прекорми. Хлѣбъ-то, милый, восемнадцать рублей куль! Слыхальскую напасть? Гдѣ взять наскую прорву денегъ, а? Хошь помирай... Ну и продали! Солома была въ запасѣ, про коня берегли, вѣдь ужъ коня рѣшиться—последнее дѣло, а у меня-то восемь дунгъ! Прокорми-ко ихъ... поробь...

— Развѣ вы хлѣбъ-то покупаете? прервалъ я.

— Съ купи, все съ купи, изъ лавочки беремъ!

— Неужели вы сами-то не сѣете?

— Сѣемъ, обычай этотъ блюдемъ, какъ водится.

— Какъ обычай?

— Известно, мужикъ приставленъ на то, штобъ пахать, ну, и пашемъ, штобы, значить, порядокъ соблюсти, не отвыкнуть; а кормиться, братъ, съ нашей пашни и-и не думай! Вѣдь за пашенькой-то, милый, ходить надо. Подложишь-ты навозу на пашенку-то досыта, ну и хлѣбецъ будетъ у тебя, а гдѣ ты навозу-то возьмешь? Вѣдь прикопить-то его скотинка требуется, а много-ли ты отъ одной-то скотинки, какъ у меня, прикопишь его, а? Ну, сѣю... варогнешь коли зерно-то, да и посѣешь его, чтобы посѣяться было чѣмъ. Какой тѣ урожай будетъ, суди, коли ты сейчасъ вотъ снимешь хлѣбъ-то, вымолишь, да почестъ сыръемъ, тутъ-же его и сѣешь сѣизнова. О, да не разговаривай лучше! прованесъ онъ, махнувъ рукой.

— Такъ, значить, у васъ есть ксторонніе заработки, а?

— Заработки! усмѣхнувшись, повторилъ онъ. — Наши, братъ, заработки-то вотъ какіе, коли хошь ты знать... Въ позпрошлую зиму поѣхаль я на Б—скую чугунку дрова возить. Ну, поѣхаль... Хлѣба съ собой забралъ изъ дома, штобъ не харчиться безъ нути, на сторонѣ-то; овсеца лошадекъ, сѣна... рублей на семь изъ дому-то захватилъ съ собой, думаль выгадать, да и выгадалъ! Изъ дому-то увезъ на семь рублей, а въ домъ-то привезъ пять рублей, вотъ тѣ и заработалъ, поправился! Э! Да што, братъ,

не спрашивай про нашу жизнь, милый... А говорить пья-я-яницы... лѣнтяя!.. Ну, на што ты пить-то будешь, скажи—да какіе доходы? А тоже коряты! пья-я-яницы, говорятъ, мошенники, только-бы, говорятъ, обмануть кого, да стануть лишній пятакъ... все, видишь, мужики одни виноваты! Со всёхъ, видишь, пятаки, тянуть...

— Кто-же коритъ васъ такъ, объясни ты мнѣ? ..

— Да всё, кого ни возьми ты!

— Ну, кто-же, наприябрь, назови?

— Кто-о? Э-э, кто!.. повторилъ онъ, снова сдерживая цилиндръ съ головы и почесывая въ затылкѣ. — Да кого ни спроси: хошь купца спроси, хошь дворянина, хошь крылошанина... Первое тѣ слово скажетъ: мужикъ всему причина! Словно вотъ мужикъ всёхъ поперекъ дороги легъ. Это я тебѣ про твою барыню скажу, у коей ты на фатерѣ-то живешь. Тыщи у ней, братъ, въ банкѣ лежатъ, великія тыщи, а ужъ какаа, братъ, хвоць баба, ай-а-ай! претянулъ онъ, покачавъ головой. — Принеси ты въ усадьбу къ ней хошь яичекъ, къ примѣру, жильцамъ ея продать, — не допустить тебя до жильца ни за што, а сама скунить, скунить-то за полтину, а продасть тѣмъ-же жильцамъ за семь гривенъ! Слыхаль? А тыщи лежатъ въ банкѣ! А што мужикъ за грошемъ гонится, такъ видишь вотъ мошенникъ! А приди ты да спроси съ нее полишнюю цѣну въ чемъ-нибудь, и-и-и, не радъ будешь! Отъ крику это да отъ ругани одной оборони только Господи. А того вотъ не спросить, што коли я и запросилъ гдѣ полишнее, такъ, можетъ, горе заставило просить-то, можетъ дома-то семья не бѣвши сидить, сѣнца скотинкѣ нѣту, аль спина за податъ настегана, иѣ-ѣ-ѣтъ! Эного, братъ, никто не спросить, а всякъ только кричить, што мужика за пятакъ купишь, за пятакомъ только гонится! И гонянься, плачешь да гонянься! Суди по-Божья, Миколай Иванычъ, и назови какъ хошь меня, какимъ хошь мошенникомъ ввеличай, коли я не оправлюсь передъ тобой. Я вотъ за эту зиму-то, вѣришь-ли, милый, во-

семьдесят рублей на одномъ хлѣбѣ проѣль, а... Вѣдь надоть рдѣ-нибудь добыть экую прорву денегъ? А гдѣ ты добудешь-то, откодь эта добыча-то у насъ? И радъ бы ты запахать по-лишнее, да вѣдь силы надоть землю-то взять, а работники-то кто у меня: я да баба! И лошадку-то надо побережь, вѣдь коли надорвешь ее, такъ нѣшто она слуга тебѣ будетъ? Назмecu нѣтъ... Изъ-за зерна-то плачешься! Поди-ко вотъ ты, купи его, кто тѣ продасть-то еще? Всякому про свой обиходъ оно требуется. Вотъ ужъ добрые люди съ яровыми-то отсѣялись; а у меня ишо полоса-то гуляетъ, зерна ждетъ, а зерна те ты и въ околедкѣ не найдешь, надоть вонъ въ городъ за нимъ ѣхать купить, а у меня ни гроша за душой! Ну, чѣмъ чѣмъ ты вздымешься? Прокормишься-ли пашней-то, а? А заработокъ-то гдѣ, укажи! Вели ты мнѣ вотъ на дно озера нырять, да траву со дна вырывать зубами, — буду, милый! Буду нырять да рвать, только дай хошь какой ни есть заработокъ!

Въ голосѣ Ефима задрожали слезы. Признаюсь, мнѣ стало страшно, когда я слушалъ эту исповѣдь, которую диктовало мнѣ безысходное горе, — страшно за жизнь человѣка, до того опутаннаго нуждой, что всѣ его помыслы изо дня въ день направлены къ одной только мысли: просуществовать какъ-нибудь сегодня; а что будетъ завтра съ нимъ, онъ не знаетъ!

— Но гдѣ-же ты добылъ эти восемьдесятъ рублей, что на хлѣбѣ-то проѣль, скажи мнѣ, пожалуйста! спросилъ я, прерывая продолжительное молчаніе, во время котораго Ефимъ, сумрачно сидѣвшій у костра, ковырялъ въ немъ палкой, разгребая угли, да время отъ времени подбрасывая сухія вѣтки, наошенныя имъ.

— А не знаю, Миколай Иванычъ, какъ и сказать тебѣ, отвѣтилъ онъ какимъ-то унавшимъ, апатичнымъ голосомъ. — Побирался вотъ кой у кого подъ вешнюю работу; двое-то большевнкихъ сынковъ въ пастушкахъ лѣто-то ходили: по тридцати рублей за лѣто на всемъ харчѣ отъ хозяевъ выходили; ну, вотъ рыбки-то, когда Богъ пошлетъ, выудишь, продашь

кой-гдѣ по господамъ; не осени-то птичку стрѣляю: уточекъ да рябчиковъ... вотъ и колотяться кое-какъ. Думалъ и нынѣ зимой на Б—скую чугунку ѣхать, да хозяйка ужъ не пустила. „Болѣ, говорить, проѣшь, чѣмъ заработать, оставайся лучше; никто, говорить, какъ Богъ“... Ну, и остался. Такъ-то вотъ и проживаемъ, Миколай Иванычъ, и суди, суди по Божьи, сколь тебѣ это пятакъ-то дорогъ, сколь ты радъ, кабы гдѣ урвать-то его. А у людей ишо языкъ поднимается ругать тебя: пъя-я-яница-де, лѣнтяй! И кто-бы говорилъ-то, што мужикъ лѣнтяй!.. Кто, можетъ, тебѣ за всю-то жизнь налецъ о налецъ не ударить, а только на даровомъ хлѣбѣ брюхо растить! Ну, Миколай Иванычъ, ужъ коли ты хочь знать всю нашу вѣру, такъ знай, милый, ужъ скажу я тебѣ, коли хочь!

— Скажи!

— Сжануты мы, милый, такъ сжануты, што унаси Господи! Ну, далѣ жить такъ не можно... хень убей, — все единственно!

— Согласенъ, что трудно...

— Не можно! Теперя, милый, въ одно только и вѣру питаемъ: сказываютъ, скоро передѣль земли будетъ, правда-ли? Не слыхалъ ты?

— Не знаю, не слыхалъ!

— О-о! Не ужъ въ городу-то вѣсти нѣтъ объ этомъ, а?

— Можетъ быть и есть, но я не слыхалъ.

— Будеть, вѣрь, будетъ! Иначе жить намъ не можно; это ты какъ хошь суди! Силы нѣтъ терпѣть! заключилъ онъ вставая и, сдернувъ цилиндръ съ головы, почесалъ въ затылкѣ и, взглянувъ на небо, произнесъ: — О-о! Свѣтаеть ужъ. Вишь, какъ время-то въ разговорѣ бѣжить, а? И не примѣтили какъ ночь прошла! А вѣдь одинъ-то когда сидишь, такъ сколь это она длинно-то кажется, словно и конца ей нѣтъ! А не пойдемъ-ли, слышь, понавѣдаться на озеро, — не послалъ-ли чего намъ Богъ, а? произнесъ вдругъ онъ.

— Пойдемъ, отвѣтилъ я, вставая.

— Подойдешь-ка! поговорить онъ. — Эге, слышь, пришли бы мы; Миколай Ивановичъ, а тамъ форель сидитъ на крючкѣ-то, да воду буробать, а? Ну, што-бы ты одѣлалъ тогда? спросилъ онъ, уверевъ руки зъ бока:

— Вытащилъ-бы ее, чего-же больше дѣлать-то?

— Ну, а опосля-то того што-жъ-бы? Купить-бы ее у меня, а?

— Купить-бы.

— Э-эхъ! Какъ-бы ты меня уважилъ-то! говорилъ онъ, идя впереди меня по узенькой и тонкой тропинкѣ къ озеру. — Дать-бы пять рублевъ, а? По знакомству-бы будто! спросилъ онъ, оглянувшись и подмигнувъ мнѣ.

— Ну, ужъ это, братъ, дорого ровно, замѣтилъ я.

— О-о! По знакомству-то, да цѣну разбирать! съ ироніей произнесъ онъ, оглядываясь на меня. — А ты не рядись, Миколай Ивановичъ, тебѣ-то Богъ пошле-е-сть... а намъ-то онъ скупъ на посылочки, право! А я-бы, братъ, и-и на эти-то пять рублевъ чудесь-бы натворилъ! ...

— Какихъ-же чудесь-то? спросилъ я.

— Сейчасъ-бы, братецъ, въ городъ махнулъ, купилъ-бы мѣры двѣ овса, посылался-бъ, и словно-бы камень съ сердца свалилъ, право! съ ироніей, приправленной какою-то горечью, говорилъ онъ.

Но, увы! Мечты Ефима не сбылись. Подойдя къ озеру и осмотрѣвъ уды, мы увидѣли, что на нихъ даже не тронуть червь. Насунивъ брови, Ефимъ молча наживилъ новыхъ червей и, стоя почти по колено въ водѣ, напряженно слѣдилъ за поплавками. По небу все болѣе и болѣе разливался утренній разсвѣтъ. Въ воздухѣ потянуло свѣжестью, и съ поверхности озера постепенно сталъ подниматься прозрачный, какъ бѣлое газовое покрывало, паръ, такъ-что стоявшій отъ меня въ нѣсколькихъ шагахъ Ефимъ до половины почти исчезъ въ клубахъ его, и только цилиндръ, надѣтый на лохматой головѣ



его, да грудь отчетливо виднѣлась изъ покрывающаго его облака.

— Вишь, подлая! Вишь. Гляди-же, Миколой Иванычъ, гляди, а-а-а! весь встрепанувшись, закричалъ вдругъ Ефимъ, когда по срединѣ озера громко всплеснулась рыба, довольно крупная, судя по силѣ всплеска, и по видѣ ныряя огромные правильные круги. — Вотъ, завсегда, вѣдь, такъ подлая пощечется, какъ въ упатѣ ровно, а на крюкъ лѣздетъ, а? Ну, не подлая-ли? съ горечью въ галесѣ спросилъ онъ.

— Сыта вѣрно...

— Нажралась, о-о-о... гляди-но, гляди! снова вскрикнулъ онъ, когда не болѣе какъ въ сажени отъ того мѣста, гдѣ была закинута удочка, снова всплеснулась съ тѣмъ-же силой крупная рыба и отъ концентрическихъ круговъ, образовавшихся на озерѣ, вода стала волною набѣгать на берегъ. Въ это время поплавокъ у удочки Ефима быстро запырчалъ.

— Тяни! крикнулъ я. — У тебя клюеть.

— Хитри-и-ить! протянулъ онъ. — Ты думаешь, это она клюеть, а? спросилъ онъ.

— А что-же?

— То и есть, надуль ты ее какъ! Нѣтъ! Она, братъ, тебя трижды проведеть, а не ты ее. Это она ртомъ-то за лесу дергала, а не червя брала. Э-э, сколь, вѣдь, я скажу тебѣ, разуму въ этой твари, подивисься только! снова замѣтилъ онъ. — Вишь, вѣдь, вода-то въ озерѣ свѣтлая, родниковая; тутъ, вѣдь, братъ, кругомъ подземные ключи бѣгутъ въ него. Она и видить червя-то, да и лесу-то видить и пытается, дай-де за лесу потрогаю: коли потрогаю да увижу, што червякъ заходить, такъ, стало-быть, не бери его, опасно. Хи-и-итрая тварь! О-о-о! Вишь, вѣдь, какъ полоскаться-то пошла, а! говорилъ онъ, когда по озеру во всѣхъ почти мѣстахъ его стала поминутно всплескиваться рыба. — Ну, братъ, Миколой Иванычъ, сегодня намъ съ тобой не будетъ талану! неожиданно произнесъ Ефимъ, когда легкія перистыя облака, протянувшіяся на востокъ, оза-

рились лучами взошедшаго солнца; брызнувшаго яркими бликами по вершинамъ елей и сосенъ, покрывавшихъ горы, въ которыхъ было замкнуто озеро. — Теперь ужь, братъ, клеву не будетъ! категорически заявилъ Ефимъ.

— Отчего-же? А можеть, еще и будетъ клевать?

— Нѣ-ѣ-ѣтъ! Ужь солнце взошло, такъ не будетъ клевать: теперь она лесу-то во-о какъ видитъ, въ оба глаза... такъ ужь червя не возьметъ! Вотъ, кабы ненастьеце на наше счастье вдарило, ну, тогда былъ-бы клевъ.

— Почему-же она въ ненастье то клеуетъ?

— Э э! Почему?.. Въ ненастье-то вода завсегда мутная бываетъ; она лесу-то не видитъ и полагаетъ, что червя-то съ берега въ воду наноситъ, ну, и хватаетъ его... хи-и-итрая, вѣдь, тварь! закончилъ онъ, вынимая уду, на которой дѣйствительно червь былъ не тронуть.

— О-о-о! Ишь, вѣдь, подлая, какой плясъ подняла! говорилъ Ефимъ, когда уже мы пошли отъ озера, все еще оглядываясь назадъ на расходившуюся по озеру рыбу.—Вотъ и завсегда такъ, словно, слышь, дразнить почнетъ, ну, и тва-а-арь! Постой ужь, другъ, выужу я тѣ форельку! утѣшалъ онъ меня, когда мы шли въ обратный путь; когда-нибудь и намъ, вѣдь, зафортунить, Миколай Иванычъ, а? спросилъ онъ.

— Конечно! Вѣдь самъ-же ты говорилъ, что отчаяваться не слѣдуетъ.

— Вѣрно, милый! Ужь выужу, погоди! Ну, а нонѣ извини, што такъ подошло. Вишь, вѣдь, какая подлая тварь, ее не уноровишь?! Ну, хошь рыбы не добыли, такъ, по-крайности, раскумидись съ тобой. Заходи, слышь, къ намъ.

— Зайду, зайду!

— Заходи, другъ; у насъ народъ-то душе-е-евный, слышь! Заходи, покалякаемъ ужь. А теперь дай мнѣ напереску, будто на разставаньи.

Я отдалъ ему всѣ бывшія со мной папирсы.

— Буды ты столь много даешь-то ихъ мнѣ? Што ты, милый, оставь хошь себѣ-то, уговаривалъ онъ.

— Да вѣдь я скоро домой приду.

— О-о, такъ-то рази, ну, благодаримъ покорно. Это теперь я по деревнѣ-то куражу задамъ, съ папересой-то въ зубахъ, а? Знай-де нашихъ, господскимъ табачкомъ нагружаемся... Хе-е! съ ироніей говорилъ онъ.—И бабѣ то любо будетъ.

— А бабѣ-то отчего? Развѣ и она курить?

— Отчего? Хе, тоже, чать, поди, лестно, што ее-то Ефимка съ господской дудкой въ зубахъ въ прогуль вдарился! насмѣшливо замѣтилъ онъ.—Ну, прости, милый, началъ онъ, когда мы вышли на дорогу, съ которой ему слѣдовало своротить по тропинкѣ въ Стебню, а мнѣ по дорогѣ въ усадьбу, и, взявъ мою руку въ правую ладонь, онъ прихлопнулъ ее лѣвой рукой и сжалъ до того сильно, что у меня чуть не брызнули слезы.—Прости, душевный человекъ, приходи... удовольствуемъ тебя—то-есть, н-ну... чѣмъ хошь, все... ей-Богу! Э-хъ, Миколой Иванычъ, и мы вѣдь люди, качая головою, говорилъ онъ.—Спа-а-асибо тебѣ, што ты не брезгуешь мужикомъ, и мужикъ когда-нибудь тебя на своихъ плечахъ вытащить, вѣрь! Ну, прости, милый, будь здоровъ! Вотъ тѣ отъ сердца говорю.

И долго еще, поднимаясь по тропинкѣ въ гору, Ефимъ оглядывался на меня и, снимая цилиндръ съ головы, махалъ имъ въ воздухъ. Путь мой лежалъ густой сосновой рощей. Неторопливо идя, я съ наслажденіемъ вдыхалъ въ себя свѣжій, смолистый воздухъ и, несмотря на бессонную ночь и продолжительный путь, не только не чувствовалъ упадка силъ, но точно крѣпнулъ отъ живительнаго вліянія его. Возшедшее солнце ярко освѣщало теперь видѣвшіеся вдали холмы и разбросанныя по нимъ деревеньки. Въ воздухъ съ немолчнымъ чирканьемъ рѣяли ласточки; порою въ безоблачномъ небѣ, какъ точка, дрожалъ жаворонокъ, и вся проснувшаяся, окружавшая меня природа была полна какого-то ликующаго гула. Въ это время въ ближнемъ селѣ ударилъ колоколъ къ заутрени, и

дрезжащій звонъ его далеко, далеко прозвятился по окрестности, возвѣщая своимъ призывомъ къ молитвѣ о наступившемъ днѣ.

На другой день вечеромъ ко мнѣ пришла дочь Ефима, ребенокъ лѣтъ восьми, и, бережно вынувъ изъ подъ рубашки на груди четверо сложенный лоскутъ оуброй бумаги, подала мнѣ, говоря: „тятенька Ефимъ приелалъ!“ Не безъ удивленія развернулъ я адресованное мнѣ посланіе, какъ оказалось потомъ, писанное подъ диктовку Ефима старшимъ сыномъ его, обучавшимся въ мѣстной школѣ. Еще съ большимъ удивленіемъ прочелъ я слѣдующее: „Милосливъ осподинъ. Миколан Иваныча ваше балароде обващпаю ваше блароде ноне у мене быть урядникъ и пыталъ дюжа крепка мене кчиму пыталъ всиболя касаца бунтавшичекъ словъ а хона я палштофа ему выпаллъ и заступалси што засорныхъ словъ промежа насъ чинно было а пытаю милосливъ оспадинъ дай для ради быдто бога два вешный моелшникъ Ефимъ низающа“.

На другой день, по полученіи этого дословно приведеннаго мною посланія, въ мою квартиру заявился урядникъ и, даже не поздоровавшись съ мной, потребовалъ паспортъ. Удостоверившись въ моемъ званіи, онъ пристально осмотрѣлъ печать и подиси на аттестатѣ и многозначительно сообщилъ мнѣ, „что по новѣшимъ временахъ строго-де наказано слѣдить за людьми, не разбирая чинновъ“. Послѣ подобнаго внушительнаго заявленія представителя власти оставалось одно только: повориться печальной необходимости и прекратить на нѣкоторое время невинныя экскурсіи въ область крестьянской жизни.



## ОДИНЪ ИЗЪ СПОСОБОВЪ СБЛИЖЕНІЯ СЪ НАРОДОМЪ.

(ИСТИННОЕ ПРОИСПЕШЕСТВІЕ).

Иванъ Михайловичъ Мануйловъ былъ весьма красивый бри-  
нетъ лѣтъ тридцати съ небольшимъ и не смотря на такіа, срав-  
нительно молодые еще годы, занималъ уже постъ председателя  
уѣздной земской управы, съѣзда мировыхъ судей. Прежде, чѣмъ  
принять на себя бранды земской дѣятельности, Иванъ Михай-  
ловичъ служилъ поручикомъ въ какомъ-то пѣхотномъ полку,  
гдѣ, какъ говорили злые языки, отъ постоянной практики онъ  
развилъ до изумительнаго совершенства проворство въ паль-  
цахъ... которое съ уснѣхомъ примѣнялъ къ игрѣ... не на фор-  
тепьяно... нѣтъ... а ко всевозможнымъ коммерческимъ и не  
коммерческимъ играмъ... и благодаря подобному проворству,  
Иванъ Михайловичъ хотя и вынужденъ былъ покинуть... полкъ,  
но за то быстро поправилъ дѣла по имѣнію, запутанныя двумя  
предшествовавшими ему поколѣніями Мануйловыхъ и значи-  
тельно выдавался среди мѣстныхъ помѣщиковъ своею зажиточ-  
ностью. Устроивъ дѣла по имѣнію, Иванъ Михайловичъ обжа-  
велся красивою женою, очень скоро освоившеюся со взглядами  
своего супруга на практическую сторону жизни и благодаря  
такой рѣдкой въ супружествѣ солидарности, пользовался въ

семейной жизни завиднымъ счастиемъ. Памятные годы освобождения крестьянъ застали Ивана Михайловича вполне уже подготовленнымъ къ практической дѣятельности. „Новыя вѣянія“ того приснопамятнаго времени Иванъ Михайловичъ... напелъ очень выгоднымъ усвоить какъ можно скорѣе и обворожилъ не только свой уѣздъ, но даже губернію рѣчами, которыя производилъ на всевозможныхъ сѣздахъ. При всѣхъ этихъ качествахъ Иванъ Михайловичъ отличался еще рѣдкимъ искусствомъ подлаживаться подъ всякую среду, съ какою приводилось ему сталкиваться въ его гражданской и коммерческой дѣятельности. Съ помѣщиками всѣхъ возможныхъ мнѣній, съ мѣстными комерсантами, съ крестьянами преимущественно изъ кулаковъ — со всѣми умѣлъ онъ ладить и не брезгуя никакимъ обществомъ и средствами... подъ шумокъ громкихъ рѣчей обдѣлывалъ какъ нельзя лучше... всевозможныя темныя дѣлишки, сохраняя незапятнанной... репутацію... почтеннаго земскаго дѣятеля и человека...

Съ первыхъ же дней своей земской дѣятельности Иванъ Михайловичъ особенно упорно настаивалъ на сближеніе интеллигенціи съ народомъ, на необходимости идти съ нимъ рука въ руку въ интересахъ всего російскаго земства. Сначала прогрессивныхъ взглядовъ его многіе испугались, особенно когда увидѣли, какъ онъ дружески жаль руки гласнымъ изъ крестьянъ, приглашая нѣкоторыхъ изъ нихъ къ себѣ запросто откушать хлѣба-соли, но опасенія эти были непродолжительны... вскорѣ всѣ успокоились... увидѣвъ ловкость и находчивость Ивана Михайловича при разрѣшеніи нѣкоторыхъ земскихъ вопросовъ, когда интересы помѣщиковъ приходили въ столкновенія съ интересами крестьянъ. Пожатіе рукъ простодушныхъ гласныхъ и особенно приглашеніе... болѣе вліятельныхъ за просто откушать у него хлѣба-соли, превосходно помогали Ивану Михайловичу ограждать интересы своихъ недалъновидныхъ собратій, которые въ благодарность за то трижды почтили его избраніемъ въ долж-

ность предсѣдателя и жили за нимъ, по пословицѣ: „какъ за каменной стѣной“.

Было семь часовъ вечера. Въ обширной, со вкусомъ мебелированной столовой, въ деревенскомъ домѣ Ивана Михайловича за чайнымъ столомъ сидѣлъ Иванъ Михайловичъ и торгующій крестьянинъ Ѳедотъ Ивановичъ Губинъ, одинъ изъ тѣхъ гласныхъ, которыхъ Иванъ Михайловичъ удостоивалъ приглашеніемъ откушать хлѣба-соли. Ѳедотъ Ивановичъ былъ крупно-зажиточный мужичокъ, торговавшій преимущественно лѣсомъ и съумѣвшій сколотить копѣйку еще будучи крѣпостнымъ. Вскорѣ послѣ освобожденія крестьянъ Ѳедотъ Ивановичъ былъ избранъ въ старшины... и съ разу попалъ въ общество господъ мировыхъ посредниковъ, уважавшихъ не умъ и способности Ѳедота Ивановича, кѣ слову сказать, были у него крайне ограничены... а его карманъ. Попавъ въ среду дворянъ, усердно подпавивавшихъ его хересами и пуншами, Ѳедотъ Ивановичъ незамѣтно втянулся въ удовольствіе вести благородные игры съ ними въ стуколку, въ преферансъ и штось, хотя отъ этихъ невинныхъ въ сущности развлеченій ему приходилось иногда крѣпко почесывать затылокъ, но... но... одно сознаніе, что онъ игралъ съ высокоблагородными людьми съ лихвою окупало крупный проигрышъ.

— Много ты дровъ гонишь въ Питеръ, Ѳедотъ Ивановичъ? спросилъ его Иванъ Михайловичъ, покручивая свои красивыя усики

— Дровъ-то, ванескоблаг... началъ было Ѳедотъ Ивановичъ.

— Опять... а?... съ упрекомъ покачавъ головой, остановилъ его хозяинъ.

Ѳедотъ Ивановичъ посмотрѣлъ на него недоумѣвающимъ взглядомъ, какимъ обыкновенно смотритъ ученикъ, внезапно

установленный учитель на ползавшъ твердо-зученнаго урока, не понимая въ чемъ его ошибка.

— Брось ты это „ваше высокоблагородіе“... Ужь сколько разъ я тебѣ говорилъ, и-нѣтъ все свое...

— Какъ-же ты прикажешь величать тебя?..

— А что я тебѣ говорилъ-то? Забылъ нѣчто?..

— Оно точно, что былъ разговоръ!.. началъ, заминаясь. Ѳедотъ Ивановичъ.

— Да о чемъ, о чемъ разговоръ-то былъ, а?.. прервалъ его хозяинъ.

Ѳедотъ Ивановичъ вмѣсто отвѣта потянулся правою рукою въ затылокъ.

— Что-жь, забылъ, а?.. насмѣшливо спросилъ Мануйловъ.

— Не мучь, провались она эта память... Слова-то эти твои мудренныя, подь они къ Богу!..

— То-то вотъ, вздохнувъ и съ видомъ глубокаго раздумья заговорилъ Мануйловъ:—это все невѣжество ваше, исконное ваше невѣжество... Но на насъ, земскихъ дѣятеляхъ лежитъ теперь святая обязанность сравнять, сгладить... пропасть, отдѣляющую отъ насъ меньшихъ братій, смести всѣ слѣды барства и чиновничества. Ну какое я „ваше высокоблагородіе“, а?.. Я такой-же равный тебѣ человѣкъ... имѣю имя... отчество ну, и зови меня по имени и по отчеству, какъ я тебя зову. Понялъ?

— Ну будь по твоему, коли по чину не любишь, баринъ тоже запрещаетъ звать, такъ Иваномъ Михайловичемъ взвеличаемъ... А чудно это только, что нонѣ всѣ господа чины не влюбили и все это наровяютъ, чтобъ съ нашимъ братомъ мужикомъ сравняться... а до прежь-то давно-ли кажись...

Въ это время въ столовую вышла жена хозяина, молодая, довольно красивая женщина и сѣла къ столу разливать чай.

— Ему не полный стаканъ наливай... остановилъ ее Иванъ Михайловичъ указавъ на Ѳедота Ивановича. — Я ему ромпу



ремпу... любишь вѣдь? спросилъ онъ фамильярно похлопывая по плечу улыбающагося гостя.

— Чего не любить... Питье самое отменное...

— На долто къ намъ Федотъ Ивановичъ прїѣхали? спросилъ его жена Мануйлова, подавая ему стаканъ съ чаемъ.

— На денекъ... съ дровами связался, въ Питеръ пою, сказываютъ они ноябрь въ цѣнѣ будутъ.

— Въ цѣнѣ, согласишься, Иванъ Михайловичъ: — тысячи полторы, двѣ на худой конецъ, гляди, зашибешь.

— Надоть-бы... какъ уже Богъ то поможетъ!.. Теперь-то вотъ только въ деньгахъ, привалятся, скудажись!..

— Э... э... А я еще съ играться котѣль съ тобой; прерывай его Иванъ Михайловичъ, подливая ему въ чай рому; — а ты объ деньгахъ грустишь!

— Съигрался-то?.. переспросилъ его Губинъ.

— Что-жь, не разлюбилъ-ли ужь?

— Ну опосля ланского-то разу ой.. ой! Обсадили ты меня съ посредникомъ то съ Петромъ-то Силычемъ..

— Не стучи по одной... наука?

— Нау-у-ука!.. Это ты въ правду...

— Неужто боишься играть съ тѣхъ поръ а?

— Бо-о-оюсь!..

— А ты не храбрѣй будь..., трусость-то порожекъ...

— По храбрѣй-то?

— Вѣдь не все проигрышь... бываетъ и выигрышь.

— Выигрышь-то?.. какъ-бы съ сомнѣніемъ переспросилъ Губинъ...

— А карточки-то а?... новехонькія... за одинъ глянецъ рубль дашь... пощупай-жо?.. внезапно развернувъ передъ нимъ откуда-то взящуюся колоду картъ, шутилъ Иванъ Михайловичъ.

— И... и... грѣхотодникъ-же ты!.. смѣясь и покачивая головой произнесъ Федотъ Ивановичъ.

— Ты только пощупай... пощупай!.. шутиливо настаивалъ Мануйловъ.

— Ей Богу грѣховодникъ! Никакъ тѣ повитуха съ родинъ какой ни на есть снастью мазнула.. право!.. Не сердчай!.. шутиль и Ѳедотъ Ивановичъ находившійся уже подъ вліяніемъ пунша.—Объегоришь вѣдь ты меня а?.. А-а-ахъ, уѣздишь... сердце чуетъ продолжалъ онъ тѣмъ же тономъ вынимая одна-кожъ изъ колоды карту... Нну краля бубень... не будетъ пути, коли баба въ руку! заключилъ онъ:

— Не робѣй!.. утѣшилъ его Иванъ Михайловичъ, вставая и выходя въ сосѣднюю комнату распорядится о приготовленіи стола.

Игра кончилась только передъ разсвѣтомъ; по столу исписанному мѣломъ, и педь столомъ, валялась куча перегнутыхъ во всѣхъ направленіяхъ картъ, изъ которыхъ многіе были разорваны; видно, что бой былъ горячій. Опустѣвшіе-же бутылки и графины не менѣе краснорѣчиво говорили, что игроки щедро прибрѣгали къ возбуждательнымъ средствамъ.

Игра была дѣйствительно, бойкая. Сначала занялись стуколкой, въ которой приняла участіе и супруга Ивана Михайловича, Ольга Рафаиловна, мастерски изучившая телеграфическія знаки подаваемые ей супругомъ при помощи пальцевъ, располагавшихся разными способами, то на столѣ, то въ прикосновеніи къ волосамъ на головѣ, къ усамъ и проч. Послѣ стуковки Ольга Рафаиловна удалилась на покой, а проигравшійся Губинъ охотно принялъ предложеніе Ивана Михайловича отыграться въ штось, и кончилъ тѣмъ, что проигралъ всѣ бывшія при немъ наличныя деньги и когда Иванъ Михайловичъ забастовалъ, то за Губинымъ было записано болѣе трехсотъ рублей сверхъ проигрыша его въ стуколку.

— Ну какъ-же ты думаешь?.. спросилъ Иванъ Михайловичъ шагая изъ угла въ уголъ съ заложеными за спину руками, Ѳедота Ивановича, сидѣвшаго около стола съ помятою отъ душевнаго волненія физиономією.

— Твоя воля!.. отвѣтилъ онъ:—што было я все отдалъ болѣ у меня нѣтъ!.. Теперь значить и рабочіе останутся безъ расчета. Обсвѣсталъ ты меня дай-тѣ Богъ!..

— На то игра!.. внушительно отвѣтилъ Мануйловъ.

— Извѣстно!

— На то игра!.. повторилъ Мануйловъ тѣмъ-же тономъ: за науку и мы въ свое время платили...

— Урки-то дорогіе!..

— Не садись!..

— Не я напрашивался... ты тянулъ!

— Такъ я виноватъ по твоему, что ты проигрался а?.. вспыхнувъ и насупивъ брови спросилъ Мануйловъ остановившись противъ Губина:—а свой-то умъ у тебя гдѣ былъ а?..

— Не обидься, что я тебѣ молвлю. Кабы мужичій-то умъ не въ затылкѣ былъ, не видать-бы тебѣ сегодня мошкѣ денежекъ!

— А-а-а, вотъ какъ?

— Доподлинно, а за науку спасибо!..

— На здоровье!.. да это все однако пустые разговоры; а ты вотъ скажи, какъ мы рассчитаемся съ тобою?.. снова спросилъ Мануйловъ остановившись противъ него...

— Обожди... доведу!

— Въ долгій ящикъ значить отложимъ а?..

— У меня баринъ скажу тебѣ и самому-то большому ларю поларшина мѣра, понялъ?... рѣзко отвѣтилъ Губинъ. Родомъ-то я мужикъ, а совѣстью-то почище иной барской. Ты не серчай только; это я къ слову; а отъ долга не убѣгу.

— Понима-а-емъ!..

— Это твое дѣло, на то, ты и науки происходитъ раздраженно произнесъ Федотъ Ивановичъ въ отвѣтъ на слово: „понимаемъ“.

— Ты не горячись Федотъ; наше дѣло поллюбовное... болѣе сдержанно замѣтилъ ему Иванъ Михайловичъ.

— Я въ прохладѣ ничего...

— Росписку данъ мнѣ а?..

— Росписку-то?..

— Ты не бойся я беру ее единственно для усвоения... я вѣрю тебѣ, понимаешь, да все-же не ровень случай; вѣдь всѣ мы подъ Богомъ!..

— По коммерціи попать... такъ жми; по-о-онятно баринъ...

— Ну, ты того однакожь, не заговаривайся... ты помни... внушительно остановилъ его Иванъ Михайловичъ...

— Не бойся баринъ въ струнѣ будемъ; изволь будетъ по твоему коли вѣры намъ нѣтъ напишемъ... Научи, какъ писать-то, мы признаться по этой наукѣ-то не проказивались ишо да вотъ спознался съ бирами, такъ и привелъ Богъ...

Иванъ Михайловичъ не обративъ новидимому вниманія на колкое замѣчаніе его молча подаль Губину листъ бумаги, перо и чернила и сталъ диктовать:

— Пиши: я, нижеподписавшійся, взялъ заимообразно.

— А не проиграль...

— Нѣтъ...

— Выходить... проигрывать-то не порядокъ развѣ...

— Не порядокъ.

— Тэ-экъ... ну?

— Триста-двадцать шесть рублей...

— А сбавочки не будетъ... ась?..

— За что?..

— Потому, какъ въ затмѣніи...

— Какое такое затмѣніе?.. Ты кажется въ своемъ умѣ.

— А-а-ахъ, въ умѣ-то-бы былъ не то-бы и было; съ горечью въ голосѣ отвѣтилъ Губинъ:—въ затмѣніи, истинно, по христіански говорю тебѣ въ затмѣніи. Теперь вотъ только буд-то маменько очутился... Слѣдовало-бы по совѣсти сбавить-то; вѣдь деньги-то у меня трудовыя, не пальныя, другъ...

— Самому нужны, а то я-бы съ удовольствіемъ...

— Сбавь... вѣдь чай ты не татаринъ?.. Крестъ чай носишь на вороту?.. Аль тебѣ мало четырехъ-то сотенныхъ?..

Будь по снисходительнѣй, сдѣлай милость, разоренные вѣдь это и за непорядокъ-то все-жь полсотни-бы скинуть слѣдовало!.. Самъ вѣдь говоришь, что проигрывать-то не порядокъ.

— Ничего Ѳедотъ... впередъ наука тебѣ...

— Наука-то наука оно точно... а только больно ужъ накладно... урей-то твои дорогіе...

— Ну полно не ребачься... не маленький вѣдь?.. Пипи...

— А-а-ахъ, огрѣлъ... ну пошли тѣ Богъ... и, глубоко вздохнувъ Губинъ сталъ выводить буквы въ роспискѣ.

Когда росписка была окончена и подписана, Иванъ Михайловичъ, осторожно повертѣвъ ее надъ свѣчей, пока не засохла чернила, бережно сложилъ ее и опустил въ карманъ.

— Ты, Ѳедотъ, поди, серднись на меня а?... ласково обратился онъ къ нему:—а вѣдь это я съ нравственной цѣлью для тебя-же добро дѣлаю; теперь ужъ ты будешь остороженъ, не станешь въ игрѣ рисковать, понялъ... а?..

— Порадѣлъ ты обо мнѣ дай тебѣ Богъ!.. Теперь оно точно... избави Господи съ барами якшаться, потому все боги насчетъ грабежу только нарывать...

— Что-о?... произнесъ побагровѣвшій Иванъ Михайловичъ грабе-е-ежъ.

— Какъ есть...

— Такъ я грабитель а?..

— Ты не сердчай, мы того безъ чиновъ разговариваемъ-то.

— Такъ я грабитель а?.. наступалъ Мануйловъ на Губина гра-а-абитель... и ты... ты... мужикъ смѣлъ мнѣ это сказать... а... а?... ввонъ!.. осипшимъ отъ гнѣва голосомъ крикнуть онъ на растерявагося Ѳедота Ивановича безсознательно поднявагося со стула...

— Ну... ну... баринъ... вѣдь я пошутить... полно, бормоталъ онъ пятясь къ дверямъ...

— Вво-о-онъ... мерзавецъ! топая ногами, кричалъ вышедшій изъ себя Иванъ Михайловичъ.

— Уйду... уйду... ну... ну не сердчай!.. бормоталъ Губинъ,

выставивъ руки впередъ, какъ-бы защищаясь отъ своего разсвирѣпѣвшаго учителя и только быстро спустившись съ лѣстницы и вдохнувъ свѣжаго воздуха Федотъ Ивановичъ ободрился.

— Прочилъ... будетъ... а?... Накось, поди, вашимъ высокоблагородіемъ звать... не велить... потому другъ говорить... ну это точно, что другъ!.. Нѣтъ отъ экихъ-то друзей хорони карманы! Кричалъ онъ выходя въ растворенную калитку.

Но Иванъ Михайловичъ, захлопнувшій за нимъ дверь, не слышалъ уже его прощальныхъ словъ.

На другой-же день послѣ описанной сцены къ пристани на берегу Ловати, у самаго имѣнія Мануйлова остановились четыре барки съ дровами, принадлежавшія Федоту Ивановичу. Едва были закрѣплены причалы и рабочіе послѣ долговременнаго плаванія, вышли на берегъ по спущеннымъ сходнямъ, какъ нѣсколько человекъ сотскихъ, окруживъ ихъ, объявили имъ, что барки, по приказанію Мироваго Судьи Мануйлова арестованы.

Конецъ этой исторіи неожиданный Федотомъ Ивановичемъ надѣлалъ много шума и говора по С... округу. Иванъ Михайловичъ самъ истецъ и самъ судья, своею собственною властью отѣнивъ одну изъ барокъ, вмѣщавшую въ себѣ около 200 сажень дровъ, продалъ ее за сумму далеко превышавшую данную ему росписку употребивъ вырученныя деньги въ собственную пользу.

Взвылъ и горько взвылъ Федотъ Ивановичъ послѣ этой исторіи и на насмѣшки какими его преслѣдовали съ тѣхъ поръ относительно дружбы съ дѣятелями земства онъ похлопывая себя по бедрамъ говорилъ: „нну-у... новые-то съ почину никакъ хуже старыхъ, проучи-и-или... наука... нѣтъ-ѣтъ брать... мужику съ барами накладно дружбу водить... о-охъ на-акладно!“



## ФУРГОНЩИКЪ.

(РАЗСКАЗЪ).

---

Въ глубокую осень 186... года я ѣхалъ, или, вѣрнѣе, тащился на перекладныхъ въ городъ К—ъ, съ отрадной мыслью отдохнуть недѣлю-двѣ отъ непрерывныхъ разъѣздовъ по деревнямъ, по проселочнымъ дорогамъ, причинявшимъ, особенно осенью, невыносимое мученье; до города оставалось уже менѣе тридцати верстъ, когда я получилъ извѣстiе объ убiйствѣ, случившемся въ деревнѣ Ур—ѣ. Волей-неволей пришлось проститься съ мечтой объ отдыхѣ, повернуть назадъ и ѣхать почти безостановочно двѣсти верстъ по такимъ путямъ, воспоминанiе о которыхъ и теперь еще нерѣдко вызываетъ во мнѣ дрожь. Въ глухой деревнюшкѣ, имѣвшей не болѣе пятнадцати дворовъ и заселенной на половину инородцами, я долженъ былъ выжить болѣе недѣли, не имѣя ни чаю, ни сахару, ни табаку, а, главное, писчей бумаги, запасъ которой уже истощился у меня, вслѣдствiе чего остановилось и производство слѣдствiя; послать-же за бумагой въ ближайшую волость нарочнаго было невозможно, такъ какъ рѣки сплошь были покрыты массами льда, а наступившая оттепель не обѣщала скората рѣкостава. Такъ шель день за днемъ. Горевалъ и я отъ бесполезной траты времени и скуки, горевали

и крестьяне, желавшіе поскорѣе отдѣлаться отъ слѣдствія, которое, по всѣмъ даннымъ, обѣщало разростись въ объемистое дѣло.

Какъ теперь помню, однажды вечеромъ я сидѣлъ въ отведенной мнѣ избѣ у окошка, тоскливо поглядывая на поля, засыпанныя снѣгомъ и на чахлый обнаженный кустарникъ, тянувшійся неправильными линиями въ даль, подернутую густою синевой наступившихъ сумерекъ; въ воздухѣ порошили снѣжекъ, лѣниво волнуясь и падая на землю; въ деревенькѣ все было тихо, точно въ ней замерла всякая жизнь, и только однообразное карканье вороны, сидѣвшей гдѣ-нибудь на плетнѣ и собиравшейся отлетѣть на ночлегъ, нарушало навѣвающую уныніе тишину, какъ вдругъ дверь отворилась, и въ избу вошла хозяйка, пожилой, коренастый человекъ, на серьезномъ лицѣ котораго пресвѣчивало теперь что-то въ родѣ улыбки, и объявилъ мнѣ, что прѣхалъ фургонщикъ.

— Какой фургонщикъ? съ удивленіемъ спросилъ я...

— Фургонщикъ! повторилъ онъ. Вотъ што съ товаромъ ѣздить: у него все, слышь, есть. Ты вотъ о бумагахъ скажешь, штоль...

— Да... да...

— И бумага есть у него, сколь хошь этой бумаги найдешь у него. Чего хошь, все есть. Позвать штоль, спросилъ онъ...

— Зови, зови! отвѣтилъ я, обрадованный этимъ извѣстіемъ, на которое въ другое время не обратилъ-бы вѣроятно вниманія. Мелочной торговецъ, развѣзжающій по деревнямъ съ своими грошовыми товарами, или „фургонщикъ“, какъ назвалъ его хозяйка отведенной мнѣ квартиры, являлся теперь для меня избавителемъ, существомъ, посланнымъ свыше. Дѣйствительно, положеніе мое было болѣе, чѣмъ печальное. За неимѣніемъ бумаги, я долженъ былъ сидѣть, сложа руки, и держать подъ арестомъ людей, на которыхъ падало подозрѣніе въ убійствѣ. Лица, призванныя въ качествѣ свидѣтелей, которыхъ,



можетъ быть, необходимо было уѣхать куда нибудь по дѣламъ, волей-неволей должны были отложить всякія занятія въ ожиданіи допроса. А вдругъ эта оттепель, отрѣзавшая насъ отъ всего остальнаго міра, продлится съ мѣсяць, невольно задавалъ я себѣ вопросъ. И это цѣлый мѣсяць я долженъ буду жить въ глуши, безъ всякаго дѣла, не имѣя подъ рукой никакой книги, и, главное, томить людей можетъ быть ни въ чемъ неповинныхъ. Да, фургонщикъ являлся для меня неотчужденнымъ человѣкомъ, и я благословлялъ судьбу, занесшую его въ эту глухую деревеньку.

Не прошло и десяти минутъ, какъ хозяинъ ввелъ ко мнѣ въ комнату человѣка лѣтъ тридцати пяти на видъ, высокаго роста, съ красивыми и симпатичными чертами лица, одѣтаго въ татарскій бешметъ чернаго тонкаго сукна, подбитый и опушенный бѣлою мерлушкой, въ высокихъ смазныхъ сапогахъ, сверхъ которыхъ надѣты были глубокія равнинныя галоши. Помолвившись на иконы, онъ вѣжливо раскланялся со мной и спросилъ: желаете что купить?

— Писчая бумага есть у васъ? спросилъ я, прервавъ его.

— Имѣется всякихъ даже сортовъ, отвѣтилъ онъ, — сопровождая по привычкѣ, усвоенной прикащиками, каждое свое слово легкимъ наклоненіемъ головы.

— А чай и сахаръ?

— Чаемъ, признаться, не торгуюсь-сь, для себя-то, въ разъѣздахъ, конечно, имѣемъ, и, въ случаѣ надобности, полфунтика можемъ пожертвовать и сахаромъ снабдить, — конечно, по малости, ужъ извините... отвѣтилъ онъ, кланяясь.

— А табакъ есть у васъ?

— Самолучшій, можно сказать, вакштафъ держимъ.

— Такъ сдѣлайте одолженіе — принесите мнѣ теперь же бумаги, табаку и, если будете такъ добры, чаю и сахару.

— Слушаю-сь, съ великимъ даже удовольствіемъ доставимъ-сь, отвѣтилъ онъ, кланяясь. А можетъ, еще чего не желаете-ли купить, спросилъ онъ.

— Больше-то мнѣ ничего не нужно.

— Чернила; можетъ, не потребуется-ли, превосходнѣйшія есть: ализаринъ, перья и сургучъ, карандаши, резина, буде наволите взять, кожи перочинныя завьяловскіе перваго качества, худыхъ не продадимъ-съ.

— Ну, хорошо, принесите, посмотрю, отвѣтилъ я.

— Сейчас доставимъ-съ, полотна имѣемъ голландскія, фуфайки, можетъ, не требуются-ли, перчатки пуховыя-съ.

— Не нужно, вы бумаги-то несите поскорѣе.

— Сейчас доставимъ-съ, слушаю-съ; товары у насъ господскіе, сударь, перваго качества, теперича муштучки-съ для папирось янтарныя-съ, запанки перламутовыя, сапоги, буде надобность имѣете, хорошіе сапоги.

— Не нужно, не нужно!

— Мы ихъ изъ аршавскихъ магазиновъ имѣемъ-съ, цѣпочки золотыя-съ, буде и часы желаете...

— Несите мнѣ бумаги-то, чаю и табаку, слова попросилъ я.

— Слушаю-съ, доставимъ-съ. Табакъ у насъ господскій, будете довольны-съ, и ежели бы теперича полотна пожелали или чулковъ шерстяныхъ, или чего касается какой надобности...

— Не нужно мнѣ больше, ничего любезнѣйшій. Слышите?

— Слышимъ-съ... Покорнѣйше благодаримъ, ежели бы потребовались, то мы бы для васъ первѣйшихъ сортовъ могли отпустить. Сколько господъ у насъ берутъ по городамъ товару и очень даже похваляютъ, а ужъ для вашей милости мы бы супротивъ другихъ очень уважили. Теперича если взять шапки, то мы-бы вамъ крымскихъ барашковъ могли шапку доставить, какъ пухъ шерсть-то на ней. Прикажете-съ.

— Я ужъ сказалъ вамъ, что мнѣ больше ничего не нужно, снова повторилъ я.

— Слушаю-съ, доставимъ-съ, будьте въ эфтомъ спокойны-съ. Такъ принести прикажете.

— Да, да, вѣдь я-же объ этомъ и прошу васъ.

— Слушаю-сь! Поворачивайтесь благодарить-сь. Сею даже минуто доставимъ, промашеся онъ и, поклонившись, вынелъ въ дверь, но затѣмъ снова приотворилъ ее и, не входя въ комнату, спросилъ: а те, сударь, у меня есть халатикъ бѣлицей—мигъ-то онъ признаться по случаю пошалъ,—господская вещь, и вашей милости теперича-бы даже въ самую пору, не пожелате-ли-сь? За цѣной я бы не постоялъ-сь.

— Несите, пожалуйста, бумаги и чаю, что просилъ я; болѣе мнѣ ничего не нужно, отвѣтилъ я, начиная терять терпѣніе и невольно припоминая при этомъ сцену съ халатами изъ повѣсти „Тарангасъ“ графа Соллогуба.

— Какъ угодно-сь, а что касается бумаги, сейчасъ же доставимъ! отвѣтилъ онъ, запирая дверь.

— Отъ него, братъ, не скоро отвязеешься, промашеся хозяинъ, все время нашего разговора стоявшій молча. Ужь такъ и говоришь ему ино время: отвязись, молъ, ты, нечистая сила, не надоть, молъ, мнѣ ничего, уходи, нѣ-ѣ-ѣтъ, насканетъ тебѣ это съ три короба и купишь, и не надоть бы вотъ тебѣ, совсѣмъ не надоть, вещь-то хоть брось, а купишь... о-охъ ты, ѣшь тебя песь, закончилъ онъ, выходя въ слѣдъ почти за нимъ въ дверь.

Черезъ полчаса, фургонщикъ снова явился ко мнѣ, и слѣдомъ за нимъ въ избу вошелъ молодой парень лѣтъ шестнадцати, неся на спинѣ огромный ящикъ. Опустившись на колена, парень осторожно спустилъ ящикъ съ плечъ на лавку и вздохнувъ всей грудью, снялъ шапку съ головы и, вынувъ изъ нея клѣтчатый платокъ, отеръ имъ вспотѣвшіе лобъ и лицо. Молча развязавъ ремни ящика, фургонщикъ открылъ крышку, и глазамъ моимъ представился самый разнообразный складъ товаровъ. Тутъ было нѣсколько стопъ писчей бумаги и коробки со стальными перьями, и сургучъ, и завьяловскіе ножи, и двѣ пары сапогъ, выписанныхъ изъ аршавскихъ магазиновъ, принесенныхъ, видимо, для моего саблзана, и полупуховыя перчатки, и

только не было бѣличьяго халатика, и то по всей вѣроятности, потому, что объемъ ящика, наполненнаго всей этой мелочью, не вмѣстилъ въ себя такой крупной сравнительно съ другими вещи.

Купивъ все, что было необходимо для меня, я приобрѣлъ, благодаря уже обязательности фургонщика, полфунта чаю и два фунта сахару, обязательности впрочемъ очень чувствительной, такъ какъ за полфунта чаю онъ взялъ почти втрое, чѣмъ бы стоилъ весь фунтъ, и заручился табакомъ Мусатовской фабрики, который, хотя и считался, по словамъ фургонщика, наилучшимъ господскимъ вакшафомъ, но аромать его похожій на аромать, происходящій отъ сжженныхъ таракановъ, выдавалъ самое низменное качество его. Въ такомъ положеніи, въ какомъ находился я въ то время, разбирать было нечего, я былъ радъ и этому табаку и чаю и скорѣе уже изъ чувства благодарности, чѣмъ по необходимости, купилъ полупуховыя перчатки и завьялевскій перочинный ножъ изъ первыхъ качествъ, сломавшійся черезъ два дня. Когда я расчитался съ нимъ, и онъ, тщательнo уложивъ товаръ, снова закрылъ ящикъ и, перевязавъ его ремнями, помогъ парню взвалить его на плечи и пройти съ нимъ въ узенькую дверь избы,—я спросилъ его, давно-ли онъ ѣздитъ по деревнямъ.

— Годовъ съ десятокъ ужъ будетъ, отвѣтилъ онъ, вынувъ изъ боковаго кармана бешмета шелковый пестрый фуляръ и отеръ лобъ и лицо.

— Вы російскій уроженецъ, или сибирякъ?

— Россійскіе.

— Давно выѣхали изъ Россіи?

— Годовъ съ пятнадцать, пожалуй, будетъ время, мы то собственно не по своей охотѣ выѣхали, сударь, продолжалъ онъ послѣ непродолжительнаго молчанія, изъ ссыльныхъ будемъ-съ.

— Такъ вы ссыльно-поселенецъ?

— Такъ точно-съ. А теперича приписались къ мѣщанскому сословію города Б—а. Торгуемъ-съ.

— За что же вы сосланы, полюбопытствовать я.

— За поджоги, собственно, судились-то, вдохнувъ, отбѣчалъ онъ. Оно такъ сказать надо, сударь, што по глупости болѣе все это дѣло стряслось. Человѣкъ-то молодой былъ, неопытный, въ головѣ-то вѣтеръ свистѣлъ. Ну, при офтакихъ качествахъ, долго-ль до грѣха, снова глубоко вдохнувъ, отбѣтилъ онъ, смотря въ упоръ на меня большими сѣрыми глазами, какъ бы желая подмѣтеть впечатлѣніе, производимое его словами.

— Садитесь, пожалуйста, предложилъ я, замѣтивъ, что онъ не прочь побесѣдовать.

— Покорнѣйше благодаримъ-съ!.. отбѣтилъ онъ, кланяясь. Хопа, признаться, и не устали, могли-бы постоять, а все же день то настанетъ—немного посидишь, говорилъ онъ, присаживаясь на лавку: то туда, то сюда надоть, безъ своего глаза вѣдь ничего не сдѣлается. Счастье-то человѣка, сударь, не узнано, и самъ не знаешь, гдѣ его найдешь, гдѣ потеряешь, заговорилъ онъ, снова вынувъ фуляръ и обтирая имъ лицо, такъ какъ въ избѣ было довольно жарко, да и теплый бешметъ, повидимому, давалъ себя чувствовать. Когда ссылка-то намъ по рѣшенью вышла, такъ сколько это слезъ было, Господи! Отчужденности даже предавались: такъ и полагали въ тѣ поры, ну-у гибъ, моль, теперь пропадай голова, Сибирь—што могила, все одно. А теперича-то на повѣрку, сударь, вышло, что и очень даже довольны судьбой и благодаримъ Господа за всѣ его милости, набожно произнесъ онъ, взглянувъ на икону и перекрестившись. Въ Москвѣ-то коли бы мы жили, что бы было? трепались бы, можетъ, въ прикащикахъ изъ гроша въ грошъ, да и то ишо слава-бы Богу, а теперича—сами хозяева, живемъ безъ нужды, а такъ, даже сказать надоть, не таясь, въ избыткахъ: добрые люди честятъ насъ. Живемъ безобидно, и слава тебѣ, Господи! Не урекнемъ Создателя.

— Вы съ самаго начала, какъ пришли въ Сибирь, такъ и занялись подобной торговлей, прервалъ я потокъ его набожныхъ размышленій.

— Нѣ-ѣтъ, сударь, какъ можно. Фортуны тоже сразу не

найдешь. Не она, сударь, за человекомъ-то ходить, а человекъ за ней! Съ самоначалу-то, по приходѣ, намъ даже вотъ какъ солоно жить-то было. Ну известно, поселщикъ, ужь сами знаете какое званіе,—всѣ остерегались, не питали довѣрія, капиталовъ мы тоже не имѣли. Горя и слезъ приняли не мало, короче сказать вамъ. Пытались было и въ сидѣльцы наниматься въ кабаки. Ну, видимъ, не по насъ линія. Въ приказики къ краснорядцамъ пытались идти, какъ дѣло стало быть знакомое, потому мы и въ Москвѣ при этомъ дѣлѣ стояли, никто не примаешь, потому поселщикъ. Ну, что дѣлать, а пить—ѣсть охота; и годы-то не ушли еще, да и по себѣ-то смѣкаешь, что ничемъ мы ровно не хуже другихъ. Какъ быть?—подумать, подумать, и пошелъ въ черную работу на приски. Ну, проходя по деревнямъ-то, когда и примѣчаль, сударь, и видѣлъ, гдѣ чего нѣтъ, и слишкомъ два года проробить, сударь, на прискахъ-то, и въ холодѣ, и въ голодѣ, и во всякой нуждѣ. Ну крѣпился, стро-о-ого держалъ себя, другіе это въ гульбу ударятся, въ запой, бывало, а я баловство это откинулъ отъ себя, ни-и-ни, и вынесъ, сказать вамъ, за два-то года ни мало, ни много, какъ восемьсотъ рублей. Съ этихъ денегъ, сударь, и пошелъ жить. Купилъ лошадеу, товарцу, какой болѣ употребительнѣй мужику, и поѣхалъ, да такъ вотъ и ѣзжу до сей поры.

— И выгодна эта торговля?

— Колотимся... Большихъ выгодъ нѣтъ, сударь, да, вѣдь, еурочка и по зернушку клюетъ, да сыта бываетъ... Фатеры намъ держать не требуется, куда не прійдешь, вездѣ принимаютъ съ полнымъ даже удовольствіемъ. Теперича, мы держимъ четверку лошадей, содержаніе которыхъ намъ, почестъ, ничего не стоитъ, и овсеца, и сѣна на каждой фатерѣ дадутъ, да и платы еще не принимаютъ, ни за наши харчи, ни за ихніе. Ну ужь такъ, будто изъ благодарности, въ иномъ мѣстѣ пожертвуешь хозяйкѣ платъ какой-нибудь; а если она помоложе, то перстенежъ, али сережки, изъ простенькихъ, и

очень даже довольны остаются, а болѣе все лекарствомъ снабдишь.

— Лекарствомъ? съ удивленіемъ прервалъ я, какимъ же?

— Александринскаго листу даемъ, ревеню, дорогой травы, шалфейцу. Ужь это мы всегда про запасъ для мужиковъ держимъ. Поскучаетъ иной животомъ, ну и дашь ему Александрійскаго листу. И очень благодарны бываютъ. Помогаетъ, сказываютъ.

— Такъ вы еще и лекаръ?

— Нельзя-съ, наше дѣло такое, что по малости всѣмъ промышляемъ съ улыбкой произнесъ онъ. Въ городу-бы, сударь, торговать не въ примѣръ убыточнѣй, а здѣсь на всякомъ шагу копѣйка въ карманъ обжигитъ: кто наперсточекъ, кто иглочку купить, а ужъ все купятъ, все копѣйка есть.

— И всегда на деньги?

— Дозволяемъ и кредитъ. Безъ кредита, сударь, торговли не бываетъ. Конечно, случается—и пропадаетъ за иными. Только малость офтихъ случаевъ, не пожалуюсь. А главное требуется—по чести дѣло вести.

— То-есть какъ это?

— Безъ обмѣру, фальши чтобы этой не было, ну и товаръ, чтобъ качествомъ бралъ.

— И вы ужъ строго наблюдаете это?

— Блюде-мъ-съ!.. Можно сказать, даже въ убытокъ себѣ. Въ нашемъ ремеслѣ, сударь, первѣй всего требуется: покупателя залучить, довѣріе внушить къ себѣ. Это первѣй всего-съ. А мужикъ, сударь, такой человѣкъ: коли онъ вотъ узналъ, что я, Игнатъ Петровъ Луковкинъ, торгую безъ фальшу, отпускаю товаръ лицомъ, то хоть тыщи народу съ товарами наѣзжай къ нему, не смѣнитъ тебя на нихъ. Мы ихъ норовъ тоже въ тонкости постигли, ну и соблюдаемъ ужъ себя, что чести нашей не коснись; вѣрьте-съ, безъ обману говорю, все болѣе и болѣе одушевляясь, говорилъ онъ. Вѣдь ужъ мы,

сударь, по этому дѣлу, почитай, съ измалѣтства нашихъ дней навькли-сь. Примѣры видали всякіе-сь.

— Гдѣ же это, въ Москвѣ?

— Такъ точно-сь. Вѣдь мы, сударь, прикащикомъ были, можно сказать, возросли за прилавкомъ, такъ ужъ намъ всѣ эти обычаи въ чистотѣ привиты.

— Вы къ какому же сословію принадлежали тамъ? Мѣщанинъ были?

— Нѣ-ѣ-ѣтъ-сь. Мы — урожденные крестьяне.

— Какже вы за прилавокъ-то попали?

— А въ нашихъ мѣстахъ, сударь, это легчай всего бываетъ. Тятенька-то мой, покойная головушка, изъ крѣпостныхъ былъ, ну и, значить, еще до воли этой откупился отъ господь. Человѣкъ былъ мастеровой, жили бы хорошо за нимъ, да виномъ загубился: какъ вышелъ это на волю и началъ первѣй всего пить,—пилъ, сударь, до того, что матушка-то покойница, бывало, за-мертво изъ кабаковъ выносила. Ну, какіе при такомъ радѣньи достатки въ дому? Старшій-то братъ мой также кузнечнымъ дѣломъ занялся, а мнѣ въ ту пору десятой годокъ еще шоль. А въ эту пору и наѣдъ къ намъ въ село въ побывку братъ матушки — дядя мой; проживаль онъ въ Москвѣ въ дворникахъ, ну и приступи это къ родителямъ: отпусти-де Игнашку со мной. Такимъ это манеромъ я и попалъ въ Москву-сь, по десятому году. Съ первоначатія-то онъ меня отдалъ въ обученье въ овощенную лавку, такъ же къ знакомому человѣку. Тамъ, я почестъ, пять годовъ выжилъ. Горя этого, слезъ,—принялъ, сударь, и сказать даже невозможно... Только и слышишь бывало: Игнашка такой, сякой, и туды бѣги, и сюды бѣги, и въ это мѣсто поспѣй. Незнашь, бывало, куды рванутся; а не туда коли нога ступила, то что есть у хозяина въ рукахъ, такъ тебя этимъ и хряснетъ, бывало, по головѣ-ль, по другому-ли чему: ужъ это твое дѣло знать да шупать, а не его... Каторга, а не жизнь была. И яви бы, сударь, за жалованье всю эту муку терпѣль, а то



единственно из-за хлеба да обуви. Ну ужь тутъ-то, какъ въ возрастъ сталъ входить, я и самъ началъ помышлять, какъ-бы, значить, устроиться поговѣй. Мало-ли, много-ли время прошло, только также, чрезъ свояка, нашего же деревенскаго парня, устроился я въ прислугу, сначала при лавкѣ, къ краснорядцу, купцу Петрову. Хотя и тутъ съ первоначалу-то, пока не обвыкъ, несладко тоже было. Но ужь побой энтихъ не видалъ, а ужь коли и ковырнуть, бывало, порой, то ужь все какъ будто легче сносилось. Ну здѣсь-то около молодцовъ я и грамотѣ приобвыкъ; будто; хопя оно и не такъ шобы бойко, а все-жъ читаю...

— И пишете, прервалъ я.

— Пишемъ-то болѣе для себя-сь, будто для памяти, а такъ шобы для нестороннихъ людей не рѣшаемся, сударь. Ну тутъ ужь года черезъ два, мало-по-малости, извѣстно ужь неусыпно трудясь, попалъ я въ очень даже большую милость къ хозяину. Человѣкъ онъ былъ, сударь, сказать не тая, крутой; вѣры энтай строго держался. И добрый былъ, не похожъ его, ну только въ какую минуту угодишь... Бывало, сударь, покупатель пондравится ему, такъ, вѣдь, чего-сь дѣливалъ старикъ? Товаръ, примѣрно, рублевъ тридцать стоитъ, а онъ говорить: бери за пять; только не торгуйся съ нимъ, — даромъ отдасть, только не сбивай его съ цѣны, а едва ты разинулъ ротъ и сказалъ „дорого“ — и бѣда... А-а, говорить, коли не хошь моей цѣны, такъ итъ и товару, пошоль вонъ изъ лавки! и хопя ты ему въ три-дорога давай опосля, не уважить: поди, говорить, вонъ, одно тебѣ слово. А то ино время въ сердце впадетъ; такъ, вѣрите ли сударь, покупатели-то валять, бывало, въ лавку. — дверь не постоитъ, а онъ кричить: итъ у меня товару, пошли вонъ; да тутъ же это порой и расхохочется самъ: ну, иди, иди, говорить, покупай, только допрежь кажи, сколько денегъ у тебя. Ну иные ужь знали его, возьмутъ, да и покажутъ какую ни на есть малость. Э-э-эхъ-ты! говорить, покупатель — горе на мотовилѣ. Чего съ тебя и брать-то? от-

рѣжь ему, ребята, пуцай идетъ съ Богомъ. Много народу пользовалось его этимъ поровомъ: И не то, чтобы статейный онъ былъ, а такъ средственной руки человекъ, а слава-то про него по всей Москвѣ шла. Сдѣлать онъ меня первымъ прикащикомъ и даже ключи довѣрялъ. И жизнь мнѣ пошла, што сказать, очень бы хорошая. Ну, случалъ грѣхъ сударь. Пришлась мнѣ ужь очень по душѣ его дочь, Фелицата Яковлевна: дѣвица была степенная, тѣльная изъ себя,—и даже, такъ сказать, лнѣя имѣла сладчайшій, и стала я, сударь, примѣчать, что и она какъ будто—не супротивна-бы нашимъ чувствамъ... А по купечеству это, доложить вамъ, дѣвицъ строго содержать, съ глазу это не спущаютъ, и хошь мы жили—въ одномъ домѣ, а только словомъ перемолвиться и помышлять было нечело. Хорошо-съ; идетъ это время въ эфтакихъ перемешкахъ; настало лѣто-съ. Домъ-то у Петрова былъ деревянный, съ пристройками кругомъ: самъ-то онъ жилъ въ большомъ домѣ, а мы, молодцы-то, во флигелькѣ, низенькій такой былъ флигелькъ, во дворѣ стоялъ... При домѣ-то былъ садикъ, и уголь-то его, какъ, разъ, почестъ, къ флигельку подходилъ, но былъ—этакъ отгороженъ досчатымъ заборчикомъ. Однава это, — въ полдень дѣло, — хозяинъ-то, Яковъ Анфимычъ былъ въ лавкѣ, съ молодцами, а меня пошли изъ лавки домой принести книги, куды вносился товаръ, принимаемый съ фабрикъ... Прибѣгъ я это домой, взялъ книги, да и заверни во флигелькъ-то къ себѣ напиться, только глянулъ черезъ заборчикъ-то, въ садъ, а тамъ Фелицата Яковлевна, одна единешенька обираетъ крыжовникъ на варенье... Ну, такъ это я въ тѣ поры дрогнулъ, какъ увидѣлъ ее; ровно, опустился весь и не помню ужь, какъ это выговоришь „Фелицата Яковлевна“... Она это сначала тоже будто стѣснилась, но увидала это меня, утихла, оглянулась кругомъ и говорить... „Это ты, Игнаша“, а сама это такъ, ровно вотъ жаромъ подернулась...

— Я, говорю, Фелицата Яковлевна.

— Что, говорить, тебѣ надо? а сама это въ землю потупилась.

— Ахъ, говорю, Фелицата Яковлевна: ни орелъ я — ни соколь, а мелкая птишка, но и мелкой птишкѣ, говорю, не заказано въ сердцѣ любовь питать, — особливо, къ этой дѣвицѣ, какъ вы.

— Полно, говорить, Игнаша: нѣтъ ты это, какъ тебѣ не стыдно, а сама такъ и пыхаетъ лицомъ-то и глазъ не поднимаетъ, словно вотъ врѣла ихъ въ землю-то.

— Ахъ, говорю Фелицата Яковлевна: жисть, говорю, отдамъ на терзаніе, но только участливьте, молвите, любѣ ли я вамъ.

— Што ты, говорить это, Игнаша: какъ это можно, я говорить, дѣвица честная.

— И сумнѣнія, говорю, не питаемъ, только участливьте, а то у-убьюсь, говорю, потому никакъ не можно взирать болѣе на красоту вашу, измыль; — въ неволю, говорю, пойду за васъ, въ терзаніе, а самъ это — тѣмъ временемъ перемахнуль черезъ заборчикъ-то, да къ ней. И отюдь это смѣлости взялось въ тѣ поры, уму непостижно. Обнялъ это я ее. Прижалась ко мнѣ. Я и разъ поцѣловалъ, и два. А она шепчетъ: „любый ты мой, желанный мой!“ Ну, ужъ тутъ, сударь, я и не помню, какъ изъ саду выбрался и въ лавку пришелъ. Иду это, доложить вамъ, а земли подъ содъ собой не слышу и словно, сударь, на что ни гляну, — все-то это ухмыляется, все то это веселый видъ имѣеть... Вотъ прибѣгъ въ лавку; подалъ книгъ; ну, извѣстно, за свое дѣло принимаюсь, и словно, сударь, кипитъ все въ моихъ рукахъ, такъ-бы вотъ, кажись, кабы подвернулось, и гору своротилъ. Вижу и хозяинъ въ духѣ ходить это по лавкѣ, поглядываетъ на всѣхъ да посмѣивается. Взглянулъ это на меня и говорить: „Ты что, говорить, это, кобель, десны-то мнѣ у зубовъ показывашъ, а?“ Ничего, говорю, Яковъ Анфимычъ, ужъ больно день-то, говорю, пріятный!...

— Женю, говорить, вотъ я тебя, подлеца, такъ засмѣбься другимъ голосомъ отъ пріятства-то.

— Штожь, говорю, Яковъ Анфимычъ: ежели судьба настоящая, такъ и очень-бы даже рады...

— А-а! радъ, говорить, ну постой ужю, женю—такъ погляжу, на которую ногу запрыгаешь.

Все время, значить, шутилъ онъ эфтакимъ манеромъ. Заперли лавку къ вечеру, онъ-то домой поѣхалъ на лошади, а мы-то пѣшкомъ — иду я, да и раздумываю: Фелипатъ Яковлевнѣ я любь, чувство воимъ сердцемъ ко мнѣ питають, и Яковъ Анфимычъ очень даже расположенъ и шутки шутить со мной—равно-бы, въ нашу линію, равно-бы намеки дасть. А што, думаю, ежели-бы въ ноги къ нему: такъ и такъ молъ, вѣкъ молъ, слуга вашъ буду и изъ почитанья не выйду. Мало-ли этихъ примѣровъ, што статейные купцы дочерей своихъ за прикащикова выдаютъ. Думаль, думаль это сударь, да пришелъ домой, одѣлся это почище, помолился значить предъ иконою—и шастъ къ Якову Анфимычу. Прихожу, сидитъ, чай пьетъ. „Што, говорить, тебѣ надоть. Игнашь?“

— Къ вашей милости, говорю, Яковъ Анфимычъ—дозвольте слово сказать...

— Какое, говорить, слово?

— Чести, говорю, вашей не въ поношенье, а единственно, говорю, какъ сердцемъ я очень преклоненъ къ вамъ, и даже такъ скажу, что душу за васъ и ваше добро готовъ положить, то снизойдите: ужъ жизнь мнѣ будетъ не въ жизнь, ежели не судьба мнѣ будетъ Фелипата Яковлевна, а самъ тое-жь минуту на колѣни палъ и свою—ну ни живъ ни мертвъ сударь. Ну, вижу это, насупилъ онъ брови, сидитъ, да вдругъ это и крикветъ супругу стою: Марья, подь-ка сюда. Видѣла, говорить, жениха къ Фелипатъ, а-а?—и указываетъ на меня. „Примай, говорить, чествуй хлѣбомъ да солью... Экой-то еще выищется-ль по Москвѣ?.. А-а-ахъ, ты говорить, крѣпостное охвостье, а-а... Это я бы съ тобой родниться сталь, а-а?... Это всякій лапот-

никъ, стадо бытъ, будетъ къ моеѣ дочери въ мужья себя пригонять? Во-о-онъ, говорить, такой-сякой, штобы и духу твоего въ домѣ не было, допрежъ, говорить, грязь да вшу съ себя смой, да ужь потомъ свата-то шли... Во-о-онъ, кричать, и въ истое бѣшенство впалъ, сударь... Не успѣлъ я въ себя прійдти и подняться, а онъ налетѣлъ на меня, да какъ долбанетъ въ шею, я такъ и вылетѣлъ на крыльцо... Сколько было сраму, сударь, и-и, Боже мой... Выскочилъ это онъ на крыльцо за мной, кричить: „Ва-а-аська, чествуй, говорить, жениха кнута-виной со двора, бей!“ Кучеръ это Васька, наши-то молодцы высыпали на дворъ: срамъ, сущій срамъ былъ, сударь... Ужь такъ-то мнѣ было обидно въ тѣ поры, што, и сказать вамъ не могу: и горе-то душить, и стыдъ на людей глазъ не даетъ поднять, и злобы этой отколь на сердце взялось, — и сказать не могу. Ну, съ этой минуты, сударь, и потерялъ я себя...

— Какъ это потеряли?..

-- Запилъ, горькую запилъ... Сосеть, сударь, горе и очнута, што есть, не даетъ; бывало, хочу это разсвѣяться, забѣяться, а не могу-съ. Такъ вотъ ровно Фелицата Яковлевна и стоитъ предо мною: и тѣло ея бѣлое, и глаза лазоревые, и ликъ это сладчайшій, словно-бы вотъ въ явѣ, ежесекундно, можно сказать, удручаетъ меня... Горькими плакивать, бывало, вѣрте-съ... Ну крутить пришлось не долго-съ, потому денегъ большихъ не было-съ... Тутъ-то, вотъ въ отчаянности этой мнѣ и впало въ умъ, сударь, въ этомъ-то, можно сказать, растерянномъ положеніи выместить свое сердце и обиду Якову Анфимчу... И такъ это, сударь, засѣла мнѣ въ голову энта пагуба, што и сна, и пици рѣшился... Ну, знамо, парень былъ молодой, сердце-то кипить, рассулку-то этого въ тѣ поры еще не нагулено было... А тутъ еще, сударь, и смѣшки, што, почестъ, повсюду сыпались на меня, словно подливали масло въ огонь... Ну, выбралъ это ночью потемнѣй да и подпалилъ, другой-бы, можетъ, послѣ этого убѣгъ и ници его, а я это не шелохнулся: на-де, гляди да и знай меня... Ну, когда уже

пошло пламя-то драть, охватило ужь и службы, и флигель, народъ это рветъ и мечетъ, спасаютъ изъ дому, что можно, — влѣску, и Яковъ Анфимычъ тутъ стоитъ, убивается, увидаль это: меня и ко мнѣ: „Это ты, ты, говоритъ, поджогъ, злодѣй, ты!..“

— Я, говорю, Яковъ Анфимычъ — знай!.. И я тебя не забуду во вѣкъ, и ты меня до гроба попомнишь... Служить, говорю, я тебѣ вѣрой и правдой, поношенья твоей чести не нанесъ, что полюбилась мнѣ дочь твоя, а ты говорю, меня, на вѣкъ обездолил. Хошь я и лапотникъ, говорю, и крѣпостное охвостье, а все, говорю, человекъ, и порочить такъ меня не слѣдь было.

Ну, што, сударь, далѣ-то рассказывать? Взяли меня, — и въ острогъ — пошло слѣдствіе да судъ. Ну и попалъ въ Сибирь, а послѣ ужь я, какъ въ разумъ-то вошелъ, и покался въ горячности своей, — да ужь поздно: локтя-то не укусишь, закончили онъ.

— А что-же съ Фелицатой Яковлевной, — вы такъ и не встрѣчались съ тѣхъ поръ, какъ свидѣлись съ ней въ саду, спросиль я.

— Встрѣтился, сударь.

— Гдѣ-же?

— А ужь здѣсь, въ Сибири.

— Въ Сибири?.. съ удивленіемъ прервалъ я его.

— Такъ точно-съ. Пословица-то въ правду говоритъ: „гора съ горою только не сходятся“, а человекъ съ человекомъ всегда-съ. Нужно сказать вамъ, что ужь послѣ рѣшенья, почестъ, когда я еще въ острогѣ сидѣлъ, одна меня вызвали къ воротамъ острога. Подхожу и вижу это, сударь, куфарку, что въ домѣ Якова Анфимыча жила: добрѣющая была старушка. Подала она мнѣ, сударь, калачъ и три рубля денегъ. Вотъ, говоритъ, тебѣ, злосчастный Игнатушка, Фелицата Яковлевна прислала: „прими да не поминай ее зломъ — ни въ чемъ, говорить, она не повинна и сказала, што вѣкъ тебя будетъ пом-

нить!“ И так мнѣ это доброе слово, сударь, въ пору пришло, што ровно даже жизнь мнѣ дало. Истинно говорю. Ну, поплакалъ я тогда въ волю, поплакалъ и зашилъ эти три рубля въ ладонку къ кресту, словно андельское благословенье, и въ Сибирь ихъ принесъ. Какъ иной разъ было горько, какой нужды не испытать, а не коснулся ихъ: они и по сейчасъ цѣлы даже!.. Ну, пришелъ, сударь, въ Сибирь. Нужды, ужъ какъ докладывать вамъ, мною вынесъ. Конечно, въ предметъ, можно сказать; завсегда мы Фелицату Яковлевну держали, да вѣдь ужъ противъ рожна не пойдешь. Отъ родины ужъ отрѣзанный ломоть: не вернешься. Скучалъ, скучалъ, да всему время. Началъ ужъ это расторговываться, и лѣта ужъ подходить... Сталъ подумывать: хорошо-бы и домикъ свой имѣть, и хозяйшккой обзавестись... Невѣсты, сударь, такъ сказать, сами навязывались, потому какъ уречнуть насъ ни въ чемъ невозможно... Жизнь ведемъ трудовую, степенную, капиталовъ большихъ, конечно, не имѣемъ, но на нашъ вѣкъ при умѣ да бережи хватить, а въ это время намъ и стали присватывать дочь одного купца въ Б...ѣ. Не изъ бѣдныхъ, и одна дочь, — ну, дѣло, какъись, подходящее; только нѣтъ, поглядѣлъ я поглядѣлъ: ликомъ не вышла, такъ и выкинулъ это баловство изъ ума... А тѣмъ временемъ, — это въ позапрошломъ году было, сударь — понадобилъ мнѣ товаръ... Торговля-то моя ужъ по шире пошла. Товаровъ-то, што я въ Б...ѣ брать у купцовъ, не доставало, да и не всякой былъ у нихъ... семъ, думаю, съѣзжу въ Т—ъ. Тамъ, покрайности, изъ первыхъ рукъ возьму и колъ потеряю на провозѣ, такъ зато, можетъ, дешевле закуплю... Ну, такъ и рѣшилъ; прѣхалъ въ Т—ъ, извѣстно, прежде всего распросилъ, гдѣ, какъ, што, прицѣнился и тутъ и тамъ: вижу, што выгоднѣй всѣхъ брать у Стифѣева: и купецъ ботатый, три лавки имѣетъ, и товаръ изъ первыхъ рукъ отъ Московскихъ фабрикантовъ получаетъ... Ознакомилъ я съ нимъ, человекъ уступчивый, ну и ударили по рукамъ... Закупилъ я у него тыщи на три... Стали

ужь это товаръ упаковывать, надоть расчесть свести... Онъ и говорить мнѣ: приходи ужь ко мнѣ на домъ для знакомства, чайку попить; тамъ, говорить, ужь и счесть сведемъ... Хорошо-съ, благодаримъ покорно, говорю, прибудемъ... Придѣлся это почище, такъ какъ хорошее платье мы завсегда про занась держимъ... Ну и купецъ то статейный, изъ первыхъ почестъ въ городѣ: въ бешметѣ не придешь; вижу, домъ богатѣющій, и въ дому, видать, полная чаша... Подали чаю намъ, сударь, покончили, конечно, расчесть промежь себя, все это благородно, чинно... Слово за слово,—разговорились; смотрю, и закуска появилась. Только въ это время, сударь, въ комнату, гдѣ сидѣли мы, и входитъ дама, глянулъ я, и, такъ даже сказать, растерялся, обомлѣлъ совсѣмъ—Фелицата Яковлевна. И она глянула на меня, и словно вотъ холстъ побѣлѣла. Стоит не шелохнется... Мужъ-то этого, видать, не примѣтилъ. Смотрю я: куды еще краше стала она, чѣмъ была... Ну, оправившись, съла. Сначала это по малости рѣчь повели... Я и говорю: ровно, моль, сударыня, я будто примѣчалъ васъ въ Москвѣ; не дочка-ли вы будете Якова Анфимыча Петрова.

— А вы, говорить, развѣ знали его, мужъ-то спрашиваетъ...

— Очень, говорю, даже подробно... Ну и обсказываю, что проживалъ-де въ Москвѣ, по прикащикамъ, и его видаль, а о томъ, что промежь насъ было, ни слова, политично держу себя, потому примѣтилъ, что едва я рѣчь повелъ, такъ Фелицата Яковлевна ровно сполыхнулась...

— Дочь, дочь,—мужъ-то говорить. Ну и обсказываетъ. А я и сужу по словамъ его, что вскорѣ, почестъ, послѣ моего рѣшенья зайхалъ онъ въ Москву, ознакомился съ Яковомъ Анфимычемъ и высваталъ дочку-то за себя. „Померъ, говорить, старикъ-то, года два ужь какъ померъ“...

— Жаль, говорю, добрый человекъ былъ...

— Ну, будьте знакомы, говорить, земляки вѣдь съ женой-то будете, не обходите дома, коли здѣсь приведется быть, — заговорилъ онъ, когда ужь я прощаться началъ. И она-то при-



молвила, Фелицата Яковлевна, и такъ, сударь, посмотрѣла на меня, что ровно дрожь по мнѣ пошла, точь въ точь какъ въ саду тогда. Не забыла, голубушка... Хоть и не судьба выпала, а видать, сударь, что въ сердце разъ запало, такъ ужь не выронишь изъ него.

— Что-жъ вы часто видитесь съ ней?

— Не скажу, чтобъ часто, сударь, время-то не допускаетъ. А тянетъ въ Т—ъ и частенько потягиваетъ, не жатаюсь... И такая тоска иное время нападаетъ, что жизни не радъ... Кабы не характеръ только, — давно бы, кажись, сыанова потерялъ себя... Ну, крѣплюсь... Супротивъ судьбы не пойдешь!... закончилъ онъ, снова вынимая фуляръ и отирая имъ вспотѣвшіе лобъ и лицо.

Въ это время мнѣ подали самоваръ, и какъ я ни приглашала фургонщика напиться со мной чаю, — онъ отозвался недосугомъ и, извинившись предо мной, что заговорился, вѣжливо раскланялся и вышелъ изъ комнаты.

Спустя два дня, когда всѣ свидѣтели были спрошены и распущены по домамъ, мнѣ оставалось только произвести „повальный обыскъ“ о поведеніи лицъ, на которыхъ падало подозрѣніе въ убійствѣ. Пославъ еще съ вечера нарочнаго за священникомъ въ ближайшее село, я сидѣлъ въ ожиданіи его пріѣзда. Подлежащій допросу народъ давно былъ собранъ, и часть его толкалась на дворѣ, а большинство сидѣло въ избѣ, у хозяина моей квартиры. Черезъ узенькія темныя сѣни, отдѣлявшія мою комнату отъ избы, до меня поминутно долетали дружные взрывы хохота, происходившаго, какъ объяснила мнѣ хозяйка, растапливавшая въ это время печь въ моей комнатѣ, отъ прибаутокъ фургонщика. Поди, потѣшься, батюшка! пригласила она и вызвалась провести меня въ закутокъ, то есть въ небольшой теплый чуланъ, въ родѣ темной комнаты, отгороженной отъ избы досчатою перегородкой, откуда я могъ все

видѣть и слышать, оставаясь въ то же время незамѣченнымъ и, слѣдовательно никого не стѣсняя своимъ присутствіемъ. Услышанный мною разговоръ и рассказы фургонщика, какихъ вѣроятно мнѣ никогда не удалось бы услышать въ моемъ положеніи, вполне вознаградили меня за неудобство помѣщенія въ темномъ закуткѣ, пропитанномъ какимъ то особеннымъ затхлымъ запахомъ.

Небольшая изба была буквально набита народомъ, причѣмъ стоявшіе свади, для того, чтобы лучше видѣть и слышать, тѣснились на скамьяхъ у приступокъ русской печи, а многіе забились даже на печь и на полаты, свѣсивъ внизъ головы; у стола, на которомъ были разложены Суздальской живописи иконы и различныя литографированныя картины, сидѣлъ фургонщикъ, бешметъ его былъ разстегнутъ, и изъ-подъ него виднѣлась красная кумачная рубаха, на шеѣ былъ повязанъ желтый шелковый платокъ; раскраснѣвшееся отъ духоты лицо его было оживлено, и пряди волосъ прилипли къ вспотѣвшему лбу.

— Вы энтаго генерала покупайте, уговариваль онъ стоявшихъ передъ нимъ крестьянъ, показывая имъ литографированный и раскрашенный портретъ какого-то генерала. Это, братцы, генераль-то, коли поскзать вамъ всю подноготную про него, звѣ-ѣ-ѣрь. Ну однимъ только брать: къ нашему брату страсть былъ доберь.

— А-а-а, къ мужикамъ-то—будто! раздалися голоса среди окружающихъ его, и десятки рукъ потянулись за литографіей, изображавшей генерала.

— Ну, ну, негляди, братцы, што генераль, а къ мужику даже очень былъ доступень; ну ежели кольми паче попадалъ ему на зубы чиновникъ,—и-и-и, Боже мой, какую остратку ниталь онъ къ нимъ.

— А-а-а-а-ха! къ чиновниками-то это? снова прервали его нѣсколько голосовъ.

— И-и-и, не доведи Господи, все болѣе и болѣе вооду-

шевясь, продолжалъ фургонщикъ. Ежели чиновникъ да про-  
штрафилса передь нимъ—и не разговаривай...

— А-а-аха-ха-а, разразились въ толпѣ, при картинномъ  
описави батальныхъ подвиговъ изображеннаго на портретѣ  
генерала.

Отъ взрыва смѣха, мнѣ показалось даже, дрогнули стѣны.

— Ну это, братъ, видать, што форменный енараль.

— Кабы поболѣ, слышь, этихъ-то было, жить-е-е-бъ! по-  
неслось въ толпѣ, когда смѣхъ утихъ и только изрѣдка слы-  
шался еще гдѣ-нибудь на печи или на полатяхъ.

— Вотъ къ намъ-бы этого: и-и-и-и!

— Наши, братъ, чиновники всякаго енарала оплетутъ:  
здѣсь вѣдь Сиби-и-и-рь, крикнулъ какой то скептикъ, слова  
котораго были встрѣчены не менѣе дружнымъ хохотомъ.

— Покупайте и этотъ: вѣдь Сибирскаго генерала-то графа  
Муравьева Амурскаго слышали, можетъ? заговорилъ, возвышая  
голосъ фургонщикъ: по крайности у васъ память будетъ, хо-  
рошій былъ генераль, и всего-то я съ васъ четвертакъ буду  
братъ за него. А этого генерала по правдѣ то сказать и за  
рубь-бы не грѣхъ продавать: потому мужику-то очень льстиль.

— О-о, четвертакъ! и гривны-то много! снова прервали его.

— Гривну-то можно, и то за то будто, што до чиновни-  
ковъ былъ лють.

— Ну, Микита, по пятаку съ рыла на енарала спустимъ.

— Живе-е-емъ и безъ него.

— Сердешный, слышь, рассказываютъ, былъ; развязывай  
кошель-то.

— О-о, сердешный. Малоль чего тѣ Игнашка-то на ска-  
жетъ, слушай. „Сердешный“... въ коемъ мѣстѣ сердце-то у  
него было: спроси-ка, вотъ.

— Говорю вамъ, къ мужику все сердце класть, загорячился  
фургонщикъ. Ужь я, милые, всѣхъ генераловъ знаю: ужь кто  
чего стоитъ, не утаю. Ужь это былъ такой генераль, што,  
коли ты чиновникъ званьемъ, то держи ухо востро, ей-Богу.

Здо-о-орово пробираль ихняго брата. Поэтому самому ужь никакъ его за гривну-то невозможно продавать. На экого генерала ишо найдутся охотники, куцять. А ужь я вамъ по знакомству, на память будто, за четвертакъ его жертвую, потому коли экого генерала, што чиновниковъ въ трепетъ содержаль, нашему брату не чтить, такъ ужь это, милые, послѣднее дѣло. Я вонъ за гривну Бебутова, продаю, а ужь графа Амурскаго никакъ невозможно за экую цѣну.

— А это у тебя ишо какіе генералы? снова прервали его окружающіе.

— Всякіе есть, какихъ хонгъ, и дорогіе, и дешевые.

— Кажи.

— Вотъ, къ примѣру, Паскевичъ — князь есть, говорилъ онъ, вынимая изъ свертка литографированный портретъ его. Сколько городовъ побралъ, сколько этого народу уложилъ и крещенаго и нехристей, стра-а-астъ! Ну какъ ты этого генерала дешево продашь, развѣ можно? али теперича если Кутузова ваять: меньше семи гривенъ развѣ продашь его? Онъ вотъ Росею спасъ.

— А-а-а... Кутузовъ-то? Покажь-ка, какой онъ, отъ турки штоль отбоарилъ насъ, со смѣхомъ говорили въ толпѣ, по рукавъ которой пошли портреты Паскевича и Кутузова.

— Отъ турокъ? вы слушайте, а не гогочите, што кряква въ камышѣ, заговорилъ фургонщикъ. Турки што-о-о, съ туркой-то намъ воевать съ полугоря, а отъ француза. Французъ-то этотъ въ двѣнадцатомъ году съ несмѣтной силой-ратью на Росею-то навалилъ: въ полонъ хотѣлъ ее взять. Слышали—а-а?..

— Ишь, беззубый, Росею хотѣлъ сглонуть, со смѣхомъ пронеслось въ толпѣ.

— Ну, ну... И хите-е-ерь это былъ. Вы послушайте-ка, чего я вамъ скажу. Это исторья: каковъ онъ Кутузовъ-то генераль, да только мотрите, съ потретомъ-то повѣжливый, не разорвите, продолжалъ онъ, поглядывая искоса на портреты,

переходившіе изъ рукъ въ руки. Французъ-то этотъ допрежь, чѣмъ въ пушки-то по Росси палить, Кутузова-то, этого самого князя, въ гости къ себѣ зазвалъ, такъ это будто по-пріятельски въ компанію. Ну и тотъ это, сказать вамъ, Кутузовъ-то, старичекъ этакій сѣденькій, тоже себѣ на умѣ былъ, немощнымъ прикинулся.

— Ахъ, екуня, тоже видать схитрилъ.

— Ну, ну, де-е-енный тоже былъ... Ладно. Вотъ французъ-то передъ нимъ такъ и сякъ фінтитъ, зачалъ, извѣстно, нехристь винами, закусками всякими подчивать, пье-е-еть.

— Кутузовъ-то?

— Ну, пьеть, да похваливаетъ. А вина онъ этого страсть сколь взять могъ, утробистый былъ старичекъ, ну пьеть, дивуетъ только французъ, на него глядя: другаго, стало быть, давно бы съ ногъ свалило, а у него ни въ глазу, а старичекъ.

— Аха-ха, какъ бы нашъ Сафронъ къ слову, хошь ковшь, хошь ведро поднеси, ужъ не оторвешь! прерывали слушатели.

— Ну, хорошо, только французъ и говорить ему: такъ и такъ, ваше сіятельство, много, говорить, у меня силы-рати несмѣтной, а казны и того болѣ, но теперь, говорить, какъ мнѣ очень прискорбно кровь человѣчью лить, то позвольте, говорить, съ вами разговоръ держать по-пріятельски: продайте, говорить, мнѣ Россею...

— А-а-а, воскликнули удивленные слушатели, окружившіе его густою толпой и видимо сильно заинтересованные разговоромъ.

— Слушай! съ неудовольствіемъ остановилъ ихъ фургонщикъ. Ну продайте, говорить, мнѣ Россею. Извольте, говорить, ваша милость, не постою, — Кутузовъ-то отвѣтъ ему держитъ.

— А-а-а! Съ одного слова въ измѣнщики вдарился, снова прервали разговоръ его нѣсколько голосовъ.

— Вы слушайте, чего далѣе то будетъ, да молчите, съ сердцемъ остановилъ ихъ фургончикъ: ну извольте, говорить, ваша милость, продамъ, если пожалуете мнѣ пятьдесятъ возовъ серебра, да пятьдесятъ возовъ кованнаго золота — и по рукамъ изъ поды въ полу.

— Вотъ такъ казна-а-а! прервали его, неутерпѣвшіе, слушатели.

— Оно, говорить, признаться сказать, и дорогонько, французъ-то въ отвѣтъ ему держать на это, но если, говорить, теперича взять въ примѣръ, што земли подъ васъ столь отвоевано, што хошь десять лѣтъ верстой мѣряй-необмѣришь, а у меня, говорить, оной въ самомъ масштабѣ, а вторительное дѣло, говорить, у васъ и народъ смиренію обучень, холодь ли, голодь ли, все терпять, только въ кулакъ подуваешь, не то, што, говорить, мой все бунтуется, то я, говорить, безъ слова отсыплю эту казну—извольте. Ну и ударили по рукамъ. Только Кутузовъ теперича старичекъ и говорить ему: такъ и такъ, говорить, ваша милость, вы, говорить, теперича, стало быть, самъ себѣ господинъ, а мое, говорить, дѣло подначальное, такъ чтобъ мнѣ, говорить, въ отвѣтъ не впасть, мы учинимъ, говорить, промежь себя примѣрную баталію, такъ штобы, говорить, ваша рать всю мою рать перебила, и будто бы у меня силы не стало воевать съ вами. Хорошо: какъ сказано, такъ и сдѣлано—отвалилъ это французъ серебра и золота, какъ требовалось, и хихикаетъ, што оплелъ старичка, за дешево Росею-матушку купилъ со всей землей и народомъ. А Кутузовъ этотъ самый старичекъ, скажу вамъ сейчасъ, это, значить, принялъ казну всю счетомъ и предоставилъ къ Царю. „Бью, говорить, Вашему Императорскому Величеству челомъ своимъ и казной супостатской“. А Царь ему и отписываетъ: „Благодарю, говорить, свѣтлѣйшій рабъ Кутузовъ“. И Кутузовъ-старичекъ сейчасъ это, значить, съ этого самаго разрѣшенія далъ знать французу: ставъ, говорить, свою рать насупротивъ моей рати, и пали, говорить, што есть силы въ моихъ сол-

дать, а я, говорить, своимъ заказу не шелохнуться, будто бы, говорить, пороху нѣтъ. Поставилъ французъ по его слову рать и пошелъ жарить по русскимъ солдатамъ: и въ пушки, и въ ружья жарить, што земля дрожить. Но только, хватъ похватъ, французы, што мухи, валятся, а у русскихъ кошъ бы одинъ упалъ, а рускіе не палятъ, стоять какъ пни, да въ носу поковыриваютъ.

— О-о!.. вотъ диво-то...

— Ди-и-иво!.. И такъ это, братцы, энта баталья французу солоно приплась, што взвыль. Попалилъ, попалилъ, видить неустойка, валятся солдаты, што мухи, а рускіе стоять, да посвистываютъ, и вдарился въ бѣгъ, на уте-е-екъ, стало быть... да такъ, милые, бѣжалъ, што земля стонала; по этому и празднуется, изъ вѣки въ вѣковъ, изгнаніе галловъ и двенадцать языкъ въ день Рождества Христова, слыхали, можетъ...

— Темное дѣло-то, гдѣ слыхивать, отъ стариковъ-то быть сказъ, што французъ-то Москву палилъ...

— Это ужъ онъ опосля, милые, жогъ-то ее, когда ужъ Кутузова-то смертнѣй часъ постигъ, потому Кутузовъ-то старичокъ слово этакое зналъ, што вражьи пули заговаривалъ. Французъ-то, стало быть, пальнетъ, а пуля-то отъ русскаго отскочить, да во француза и шаркнетъ. Французъ то валится, а русскій стоитъ себѣ и ухомъ не ведеть... Ну при Кутузовѣ то онъ и не могъ съ Россіей-то совладѣть.

— Ужъ гдѣ экого генерала покорить...

— Не могъ; это, братцы, такой генералъ былъ, што ему изъ самоцѣннаго золота памятникъ въ Санпитебурхѣ вылить...

— О-о, изъ золота...

— Изъ червоннаго... Потому Россію спасъ и казнѣй французской снабдилъ; экого генерала милые надоть покупать, кабы не онъ, такъ мы можетъ теперя во французской-бы вѣрѣ были и все бы бунтовались... А онъ вотъ не попустилъ, смирен-

хонько живемъ по старымъ завѣтамъ: это тоже чего нибудь стоить. Семь-то гривенъ не велики деньги, а у васъ все-же память объ немъ будетъ... Покупайте, всего два портрета и осталось, экого-то героя и въ складчину-бы можно.

Мнѣ не довелось дослушать этой сцены до конца, такъ какъ въ это время пріѣхалъ священникъ, и послѣ приведенія къ присягѣ крестьянъ я приступилъ къ опросу ихъ.

Вскорѣ послѣ этой встрѣчи съ фургонщикомъ, я былъ переведенъ на службу въ другой округъ, и съ той поры потерялъ его изъ виду. Года три уже спустя, мнѣ пришлось заѣхать по дѣламъ службы въ городъ Т—ъ. Я рассчитывалъ пробыть не болѣе двухъ дней, но дѣла задержали меня почти цѣлый мѣсяцъ. Въ городѣ у меня не было никого знакомыхъ, у кого бы я могъ пользоваться книгами и газетами, такъ какъ не во всѣхъ сибирскихъ городахъ существуютъ библіотеки, да и то эта роскошь начинаетъ вводиться только въ послѣднее время. Отъ скуки я уходилъ обыкновенно съ утра и обходилъ чуть не весь городъ и даже всѣ окрестности его. Однажды, какъ теперь помню, въ воскресенье, возвращаясь уже домой, усталый, я проходилъ мимо собора. Прилежавшая къ нему узенькая улица была вся запружена каретами. Соборъ былъ ярко освѣщенъ, и изъ открытыхъ дверей его до меня доносилось стройное пѣніе. Чья это свадьба, спросилъ я у одного изъ кучеровъ. „Купца Луковнина!“ отвѣчалъ онъ. Я вошелъ въ соборъ, съ трудомъ, протискавшись сквозь толпу, и прошелъ къ правому клиросу, взглянувъ на новобрачныхъ, стоявшихъ у наоя уже въ вѣнцахъ, я положительно не повѣрилъ своимъ глазамъ.

Подъ вѣнцомъ стоялъ, одѣтый во фракъ, сшитый по послѣдней модѣ, въ бѣломъ жилетѣ и галстухѣ съ изящнымъ бантомъ, знакомый мнѣ фургонщикъ, когда-то выручившій меня изъ неприятнаго положенія. Русая бородака его была расче-



сама на-двоя, волосы на головѣ были завиты въ мелкія кольца, онъ выглядывалъ положительно красавцемъ. Невѣста, полная, весьма красивая женщина, хотя и не первой уже молодости, блистала брилліантами и перстнями; густая толпа дамъ, въ пышныхъ нарядахъ, увѣшанныхъ драгоценностями, и мужчинъ съ медалями, а нѣкоторые и съ орденами, окружали ихъ.

— Скажите, пожалуйста, кого это вѣнчаютъ? спросилъ я стоявшаго рядомъ со мной пожилаго человѣка, съ сѣдою окладистой бородой, тоже повидимому купца. Мнѣ ужасно хотѣлось узнать, кто невѣста, и не конецъ ли это романа, приведшаго фургонщика въ Сибирь.

— А вы развѣ не здѣшній, спросилъ тотъ въ свою очередь, предварительно пристально осмотрѣвъ меня.

— Пріѣзжій...

— Такъ-съ, пріѣзжій... Это Луковнинъ купецъ женится, невѣста-то тоже купчиха, вдова Стифеева. Въ прошломъ году только еще овдовѣла-съ, ногамъ-то у мужа остыть не дала-съ, а ужъ вѣнчается. Вы откуда-жъ будете, спросилъ онъ.

Я сказалъ ему.

— Кажется, и могилки-то у мужа еще путемъ не оправилъ, креста-то никакъ нѣтъ на ней, а ужъ замужъ вышла, снова заговорилъ онъ. „О-охъ, дѣла, дѣла“, полушопотомъ произнесъ онъ, глубоко вздохнувъ. Муженекъ-то капиталу-то оставилъ ей, слава тебѣ Господи, есть чѣмъ помянуть, тысячь за двѣсти считаютъ наличными, домъ каменный, да три лавки съ товаромъ. А, вишь, кому все досталось кабы зналъ, да вѣдалъ покойникъ-то, въ чьи руки все его добро пойдеть-съ...

— А что женихъ-то богатый?

— Изъ средственныхъ-съ, мелочной торговецъ былъ, по деревнямъ все съ товаромъ ѣздилъ, ну да-тоже, говорятъ, тысячь за тридцать капиталу имѣеть, а теперь-то ужъ поиде-е-еть въ гору. Теперь-то ужъ до него и рукой не достанешь. Богатѣ-ѣ-ѣй... Вотъ наше-то купецкое дѣло сударь, копи, копи,

	р.	к.
Владиміровой Новая русская азбука, 1880 г. . . . .	1	—
Галкинъ. Этнографическіе матеріалы по Средней Азій, 1869 г. . . . .	3	50
Глаголевскій. Синтаксисъ языка Русскихъ пословицъ, 1874 г. . . . .	—	35
Грибертъ. Терминологическій медицинскій словарь, 1864 г.	6	—
Грибоѣдовъ. Горе отъ ума, 1879 г. . . . .	—	15
>    Горе отъ ума, съ примѣчаніями Гарусова, 1873 г. . . . .	—	25
Журналъ для дѣтей. Чистякова за 1864 и 1855 гг., цѣна за каждый годъ . . . . .	5	—
Жюль-Вернь. Докторъ Оксъ, 1881 г. . . . .	1	—
Записки иностранцевъ о Россіи въ XVIII столѣтіи, т. I «Письма Леди Рондо», 1874 г. . . . .	2	—
Записки иностранцевъ о Россіи въ XVIII столѣтіи, т. 2. Записки фельдмаршала Графа Миниха, 1874 г. . . . .	2	—
Записки лазутчика во время усмиренія мятежа въ Польшѣ въ 1863 году, 1868 г. . . . .	—	75
Зуевъ. Историческій атласъ, ч. 1-я Древняя исторія 1867 г.	2	50
Ильинскій. Пять популярно-гигіеническихъ лекцій, 1864 г.	—	50
Карелинъ. Катина книжка, 1864 г. . . . .	—	60
Кожевниковъ. Практическій курсъ анатоміи 1871 г. . . . .	6	—
Кристанъ. Новая Зеландія и остальные острова южнаго океана, 2 т. въ перепл. . . . .	3	50
Макаровой. Деревня. Разказы для дѣтей, 1874 г. . . . .	1	50
Мастерсъ. Основанія Ботаники, 1873 г. . . . .	—	75
Межовъ. Каталогъ за 1875—1876 гг. . . . .	2	50
>    >    за 1877—1878 гг. . . . .	2	50
Минаевъ. Всѣмъ сестрамъ по серьгамъ, юмористич. сбор- никъ . . . . .	1	—
>    Людодѣды, или люди шестидесятыхъ годовъ . . . . .	1	—
Паруновъ. Кольцовъ и его пѣсни. . . . .	—	10
Петтенкоффъ. Общедоступныя чтенія, 1873 г. . . . .	1	25
Полъновъ. «Лѣто въ Царскомъ Селѣ», изд. 1881 г. . . . .	1	50
Пушкннъ. Евгений Онегинъ, 1880 г. . . . .	1	—
>    Каменный гость, 1872 г. . . . .	—	11
>    Капитанская дочка, 1880 г. . . . .	—	51

75

50

50

60

50

50

73

50

50

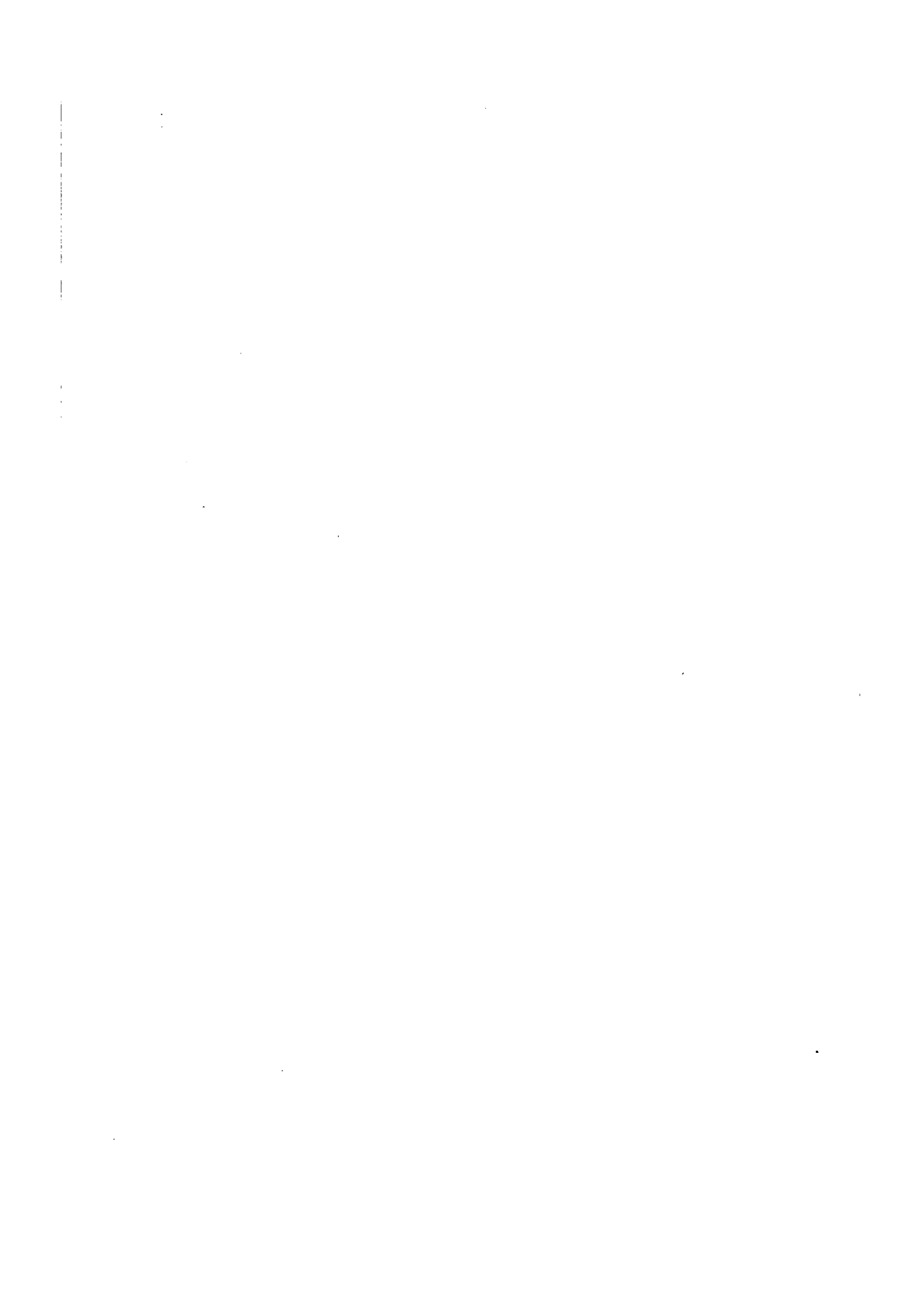
10

23

50

13

50



PG 3467 .N26 V2 1982  
V zabytom kraju

C.1

Stanford University Libraries



3 6105 039 836 759

DATE DUE			

**STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES**  
**STANFORD, CALIFORNIA 94305**

